

# ШЕДЕВРЫ В ОДНОМ TOME

МЕМУАРЫ  
ДЬЯВОЛА



ФРЕДЕРИК  
СУЛЬЕ

Шедевры в одном томе

Фредерик Сулье  
**Мемуары Дьявола**

«Издательство АСТ»

1838

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4Фра)-44

**Сулье Ф.**

Мемуары Дьявола / Ф. Сулье — «Издательство АСТ»,  
1838 — (Шедевры в одном томе)

ISBN 978-5-17-138116-5

Вот уже не одно столетие наследники баронского рода де Луицци заключают необычный договор с Дьяволом, согласно которому тот поступает к ним в услужение сроком на десять лет. Именно столько времени нужно, чтобы доказать Сатане, что обрел счастье, – и навсегда избавить свой род от проклятия. Настал черед молодого барона Франсуа Армана заключать сделку с Дьяволом. Теперь для достижения своих желаний ему стоит лишь позвонить в колокольчик – и перед ним явится Князь Тьмы, готовый рассказать о самых сокровенных тайнах других людей, а может, даже оказать услугу, назначив за нее свою цену... В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-138116-5

© Сулье Ф., 1838

© Издательство АСТ, 1838

# Содержание

Том первый	6
I	6
II	14
III	25
IV	32
V	44
VI	55
VII	63
VIII	92
Том второй	95
I	95
II	99
III	103
IV	124
V	130
VI	133
VII	136
VIII	140
IX	149
Конец ознакомительного фрагмента.	159

# Фредерик Сулье

## Мемуары Дьявола

© Перевод. Е. Трынкина, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

\* \* \*

Фредерик Сулье (1800–1847) – поэт и переводчик, прозаик и драматург – за свою довольно короткую жизнь успел внести значительный вклад в развитие французского романтизма. Его историко-приключенческие и авантюрные романы пользовались неизменным успехом у современников, пьесы не сходили с лучших сцен Европы, а одно из его стихотворений положил на музыку сам Бетховен.

Особенно популярен был его роман-фельетон «Мемуары Дьявола», оказавшие немалое влияние на раннее творчество Достоевского.

## Том первый

### I

## ЗАМОК РОНКЕРОЛЬ

Первого января 181... года барон Франсуа Арман де Луицци сидел у камина в своем замке Ронкероль. Уже лет двадцать я не видел замка, но помню его прекрасно. В отличие от большинства феодальных цитаделей он располагался на дне долины; угловые башни соединяли расположенные квадратом строения; над башнями и строениями возвышались острые шиферные крыши, что весьма редко встречается на Пиренеях.

Из-за этих крыш, когда вы смотрели на замок с высоты окружающих холмов, он казался городком XVI или XVII века, ничем не напоминая крепость, возведенную в 1327 году.

Ребенком я частенько навещал замок; никогда не забуду, какое восхищение вызвали во мне широкие плиты, устилавшие чердачные помещения, где мы играли. В ту пору, когда Ронкероль служил крепостью, эти массивные плиты, жалким подобием которых были полы в моем собственном доме, покрывали плоскую крышу; позднее, не тронув первоначального здания, над ними надстроили островерхую кровлю, подобно той, что можно увидеть над Венсенскими воротами.

Века почти не тронули замок, и, поскольку сегодня нам известно, что из всех прочных материалов железо наименее долговечно, не стану утверждать, что Ронкероль казался выстроенным из железа, но повторяю, что огромный этот замок был действительно в превосходном состоянии. Создавалось впечатление, что некий богатый любитель готики по внезапному капризу только вчера возвел его нетронутые стены, где не раскрошился ни один камень, и разрисовал их цветными арабесками, где не пострадала ни одна линия, ни одна деталь. А меж тем на памяти людей никто никогда не проводил работ по ремонту или поддержанию в порядке стен и помещений замка.

Ронкероль все же претерпел некоторые изменения; самое странное из них бросалось в глаза, если подойти к замку с полуденной стороны. Ни одно из шести окон южного фасада не походило на другое. Первое слева, если стоять лицом к замку, было стрельчатым; тяжелый каменный крест с резко очерченными гранями разделял окно на четыре покрытых витражами проема. Соседнее походило на первое, за исключением витражей, замененных чистыми стеклами со свинцовой решеткой в виде ромбов, заключенных в железные распахивающиеся рамы. У третьего уже не было ни стрельчатого свода, ни каменного креста. Свод, казалось, замуровали, а солидное столярное сооружение с передвижным переплетом, которое мы позднее окрепили фрамугой, заняло место витража с железными рамками. Четвертое окно защищалось не только двумя переплетами с внутренней и внешней стороны, маленькими стеклами и задвижками, но и выкрашенным красной краской ставнем. Пятое имело один переплет с крупными проемами и зеленую решетку. И наконец, в шестом окне сверкало огромное стекло без зеркальной амальгамы, а за ним виднелись шторы самых ярких цветов. К тому же это окно прикрывалось плотными ставнями. Дальше шла глухая стена. Последнее, шестое, окно явилось взорам обитателей Ронкероля первого января 181... года, на следующее утро после смерти барона Уго Франсуа де Луицци, отца барона Армана Франсуа де Луицци. Никто не видел, кто пробил это окно и отделял именно таким образом.

Местные предания утверждали, будто все окна появлялись подобным же образом и при похожих обстоятельствах, то есть неизменно на следующее утро после смерти очередного владельца замка, и никто не замечал, чтобы кто-то выполнял хоть малейшую работу. Что несо-

мненно – каждое из этих окон принадлежало спальню комнате, закрывавшейся навсегда в тот момент, когда ее хозяин отходил в мир иной.

Вероятно, если бы владельцы замка жили в нем постоянно, все эти странности весьма возбуждали бы жителей Ронкероля; но уже в течение двух веков каждый новый наследник Луицци появлялся в родовом поместье только на сутки, уезжая затем навсегда. Так поступил когда-то барон Уго Франсуа; и его сын Франсуа Арман, приехавший первого января 181... года, назначил отъезд на следующее утро.

Привратник узнал о визите хозяина, только увидев его на пороге замка; удивление доброго малого перешло в ужас, когда, вместо того чтобы приказать подготовить покои, новопривыкший уверенно направился к коридору, где располагались таинственные комнаты, о которых мы говорили выше, и, преспокойно вытянув из кармана ключ, открыл им дверь, о существовании которой привратник и не подозревал; она возникла во внутреннем коридоре одновременно с оконным проемом на южном фасаде здания. Двери в коридоре являли такое же разнообразие стилей, как и окна. Последняя была выполнена из палисандра, инкрустированного медью. За ней тянулась глухая стена точно такая же, как снаружи, там, где заканчивались окна. Между этими двумя голыми непроницаемыми стенами находились, наверное, еще комнаты, предназначенные несомненно будущим отпрыскам Луицци. Они, как и грядущее, которому принадлежали, были закрыты и недостижимы. Помещения, которые мы назовем покоями прошлого, оставались запертыми и недоступными, но сохранили отверстия, через которые когда-то в них проникали люди. Только новая спальня, так сказать, комната настоящего, была открыта; и первого января в течение целого дня все желающие заходили в нее без помех.

Этот коридор, который, по правде говоря, выглядел некой аллегорией, не внушил Арману де Луицци ничего, кроме ощущения холода и сырости, а потому он приказал развести добрый огонь в беломраморном камине, украшавшем его новую спальню. Он провел здесь весь день, приводя в порядок дела поместья Ронкероль. Счетоводство не отняло у барона много времени: доходы и расходы по Ронкеролю равнялись нулю. Но Арман де Луицци владел в округе несколькими фермами, сроки аренды которых истекли, а потому назрела необходимость в продлении арендных договоров.

Если бы кто-нибудь, помимо фермеров, приглашенных к барону, увидел комнату Армана, то его несомненно поразила бы ее элегантность во вкусе «новых». Спальня была обставлена целиком в стиле Людовика XV, то есть весьма гротескной и неудобной мебелью. Хотя несколько старых окрестных домов сохранили оригинальные образчики той эпохи, случилось, что новшества элегантного Луицци казались старомодной ветошью нашей славной деревенщине, ценившей изысканно-жеманное рококо новой комнаты Ронкероля куда ниже комода и секретера из красного дерева, которые украшали гостиную супруги местного нотариуса.

Итак, весь день прошел в обсуждении и заключении новых договоров, и только глубоким вечером Арман де Луицци остался один. Как уже было сказано, он сидел в углу у камина; стол, на котором горела единственная свеча, стоял рядом с его креслом. Пока Арман предавался размышлениям, часы пробили полночь, затем половину первого, час и, наконец, половину второго. При последнем ударе часов Луицци встал и начал беспокойно ходить по комнате. Арман был мужчиной высокого роста; непринужденные движения его тела выдавали физическую силу, а решительное выражение лица говорило о силе характера. Меж тем его лихорадило от возбуждения, возраставшего по мере того, как стрелки близились к двум часам. Несколько раз он останавливался, прислушиваясь к чему-то, но ничто пока не нарушало окружавшей его мертвой тишины. Наконец Арман ясно услышал тихий шелчок анкерного спуска, который предшествует бою часов. Лицо барона покрыла мертвенная бледность; он застыл в неподвижности и закрыл глаза, словно ему стало плохо. В этот момент тишину разрезал первый удар, казалось унявший минутную слабость Армана; и, прежде чем часы пробили второй раз, барон

схватил маленький серебряный колокольчик, стоявший на столе, сильно потряс им и вымолвил одно-единственное слово: «ПРИДИ!»

Кто угодно может завести себе серебряный колокольчик, кто угодно может потрясти им в свое удовольствие хотя бы и в два часа ночи, произнося слово «ПРИДИ!», но, скорее всего, ни с кем не случится того, что произошло с бароном Арманом де Луицци. Колокольчик, которым он тряс изо всех сил, тихо звякнул, издав один-единственный слабый звук, печальный и глухой. В слово «ПРИДИ!» Арман вложил всю свою энергию, как человек, который хочет, чтобы его услышали издалека, и тем не менее его голос, с силой вырвавшийся из груди, не прозвучал с той решительностью и повелительностью, какие барон хотел ему придать; казалось, он произнес только робкую мольбу, едва сорвавшуюся с губ. Результат поразил его самого: на том месте, с которого он только что сошел, появилось некое существо; вполне возможно, то был мужчина, если судить по его уверенному виду; но возможно, и женщина – настолько нежными и изящными казались черты его лица и тело; но, безусловно, то был сам Дьявол, так как он ниоткуда не пришел, а просто явился из воздуха. Одеванием Дьяволу служил халат со спущенными рукавами, ничего не говоривший про пол его обладателя.

Арман де Луицци безмолвно взирал на сей странный персонаж, пока тот удобно устраивался в вольтеровском кресле рядом с камином. Вновь прибывший небрежно откинулся на спинку, протянул к огню указательный и большой пальцы белой утонченной руки; пальцы вытянулись до бесконечной длины и словно пинцетом выхватили из камина уголек, и Дьявол, а то был Дьявол собственной персоной, раскурил сигару, которую взял на столе. Едва сделав одну затяжку, он с отвращением отбросил сигару:

– Ну и дрянь же вы курите! У вас что, нет нормальных контрабандных сигар?

Арман промолчал.

– Так отведайте моего табачку, – предложил Дьявол.

Он вытянул из кармана халата небольшой портсигар изысканной работы, достал из него две сигары, прикурил одну из них от уголька, который продолжал держать в руке, и протянул Луицци. Арман жестом отказался, на что Дьявол произнес самым непринужденным тоном:

– А! Так вы у нас брезгливы... Ну-ну...

И, откинувшись на спинку кресла, он принялся дымить в свое удовольствие и насвистывать танцевальный мотивчик, безо всякого стеснения покачивая в такт головой...

Луицци неподвижно застыл, глядя на диковинного черта. Наконец, вооружившись проныжковенным отрывистым тоном, словно взятым из речитатива одной из современных трагедий, он решился прервать молчание:

– Исчадие ада, я призвал тебя...

– Во-первых, мой дорогой, – перебил его Дьявол, – не знаю, отчего вы мне тыкаете, но явно не от хорошего воспитания. Сия дурная привычка в ходу у тех, кого вы зовете артистами; это знак лживого дружеского расположения, не мешающий, однако, завидовать друг другу, ненавидеть и презирать себе подобных. Такой язык применяют ваши романисты и драматурги для выражения якобы самых высоких страстей, но благородным людям он не подобает. Вы не литератор, не артист, а потому я буду вам чрезвычайно обязан, если вы будете говорить со мной как со случайным встречным, что куда более прилично. Хочу заметить также, что, назвав меня исчадием ада, вы повторяете одну из тех глупостей, что распространена во всех известных мне языках. Я точно так же не исчадие ада, как вы – не порождение комнаты, в которой сейчас находитесь.

– Ты тот, кого я звал, – упорствовал Арман, возвысив голос до великой трагической мощи.

Дьявол смерил барона взглядом и с ярко выраженным превосходством протянул:

– А вы наглец. Или вы думаете, что разговариваете со своим лакеем?



– Я обращаюсь к тому, кого считаю своим рабом! – воскликнул Луицци, дотронувшись до колокольчика, стоявшего прямо перед ним.

– Как вам будет угодно, господин барон, – усмехнулся Дьявол. – Право слово, вы типичный современный молодой человек, напыщенный и нелепый. Раз уж вы уверены, что я вам подчинюсь, то могли бы обращаться ко мне повежливее – это же сущий пустяк. Подобные манеры подошли бы новоявленному богачу, неотесанному выскочке, не представляющему, как глупо он выглядит, когда с важным видом восседает в своей шикарной коляске и воображает, что никто не понимает, кто он есть на самом деле. Но вы, вы же родом из древней фамилии, носите доброе имя, прекрасно выглядите, так не стоит выставлять себя на смех, чтоб вас заметили.

– Дьявол читает мне нравоучения! Странно и...

– Не пытайтесь вести дискуссию, как пастор, и приписывать мне глупости, чтобы затем с блеском их опровергнуть. Я никого не учу добродетели – это развлечение я оставляю мошенникам и неверным женам; я ненавижу и порицаю тех, кто смешон. Если бы Небо наградило меня детьми, я скорее согласился бы наделить их двумя пороками, чем придать хоть одну смешотворную черту.

– Уж ты-то знаешь в этом толк!

– Ну не больше, чем самый добродетельный парижский обыватель. Использовать пороки – не значит их иметь. Утверждать, что Дьявол сам страдает от пороков, было бы равносильно предположению, что врач, живущий за счет ваших недугов, и сам болен, адвокат, который жиреет на ваших тяжбах, сам вечно судится, а судья, получающий деньги за наказание преступников, – убийца.

Во время этого диалога ни сверхъестественное существо, ни Арман де Луицци не сдвинулись с места. Луицци изо всех сил пытался скрыть свою растерянность и никак не мог перейти к тому, чего, собственно, хотел. Но постепенно он справился с волнением и удивлением, вызванным видом и манерами собеседника, и решил перевести разговор на, несомненно, более важную для него тему. Передвинув второе кресло, он уселся по другую сторону от камина и внимательно всмотрелся в лицо Дьявола. Теперь Арман сполна оценил тонкие черты и изящество сложения своего гостя. Тем не менее если бы он не знал, что перед ним Сатана, то не сумел бы определить, принадлежит ли этот бледный прекрасный лик и хрупкое тело восемнадцатилетнему юноше, которого сжигают неведомые желания, или искушенной в наслаждениях женщине тридцати лет. Голос мог бы показаться слишком низким для женщины, если бы мы не изобрели когда-то контральто, так сказать, женский бас, обещающий куда больше, чем дающий. Взгляд, который обыкновенно выдает наши помыслы, если только не служит орудием проникновения в чужие мысли, был нем. Глаза Дьявола не говорили ничего – они примечали. Арман молча закончил осмотр и, убедившись, что состязание в остроумии с этим необъяснимым созданием не принесет ему успеха, взялся за серебряный колокольчик и звякнул им еще раз.

Услышав приказ (а то был именно он), Дьявол встал и застыл перед бароном в позе слуги, ожидающего повелений хозяина. Это движение произошло в долю секунды, но полностью переменило облик и костюм нечистого. Фантастическое существо исчезло; на его месте стоял посиневший от беспробудного пьянства дюжий верзила в ливрее и красном жилете, со здоровенными кривыми ручищами в простых белых перчатках и грубыми ножищами в больших башмаках на босу ногу.

– А вот и я-с, – представился новый персонаж.

– Кто ты такой? – возмутился Арман, уязвленный его дерзким и подлым видом, характерным для французской прислуги.

– Я не лакей Сатаны и не совершаю ничего сверх того, что приказано, но исполняю все, что велено.

– Какого черта ты делаешь здесь?

– Жду приказаний-с.

- Ты знаешь, для чего я тебя вызвал?
- Нет-с.
- Ты лжешь!
- Да-с.
- Как тебя зовут?
- Как вам будет угодно-с.
- Тебе что, не дали имени при крещении?

Дьявол не шелохнулся; но весь замок, от флюгера до подземелий, казалось, захохотал самым неприличным образом. Арману стало страшно, и, чтобы скрыть свой испуг, он пришел в ярость – способ столь же известный, как и пение.

- Так отвечай же наконец, есть у тебя имя или нет?

– У меня их столько, сколько пожелаете. Я могу служить под любым именем. Один аристократ в эмиграции, приняв меня на службу в тысяча восемьсот четырнадцатом году, назвал меня Брутом, лишь бы в моем лице вволю поливать бранью Республику. Затем я попал к одному академику, переделавшему мое прежнее имя Пьер в более литературное «Кремень». И пока господин в салоне занимался чтением вслух, меня изгоняли спать в прихожую. Биржевой маклер, нанявший меня после того, от всей души нарек меня Жюлем только потому, что так звали любовника его жены; этому рогоносцу доставляло неопишное удовольствие кричать при своей ненаглядной женушке что-нибудь вроде: «А! Этот тупорылый хряк Жюль! Этот грязный ублюдок Жюль!» Я ушел от него по собственной воле, устав терпеть незаслуженные, так сказать, фидеикомиссы, оскорбления. И я поступил в услужение к танцовщице, содержавшей пэра Франции.

- Ты хочешь сказать, к пэру Франции, содержавшему танцовщицу?

– Я хочу сказать только то, что сказал. Это довольно малоизвестная история; я вам расскажу ее как-нибудь на досуге, если вы решите написать трактат о человеческих добродетелях.

- Ты опять взялся за нравоучения?

– В качестве слуги я делаю минимум того, что могу.

- Так ты мой слуга?

– Пришлось. Я пробовал явиться перед вами в другом звании; так вы разговаривали со мной как с лакеем. Мне не удалось убедить вас быть более учтивым, и вот я перед вами в том скотском виде, какого вы, безусловно, желали. Вы что-то хотели мне приказать, милсдарь?

- Да-да, в самом деле... Но я хотел бы также спросить совета.

– Позвольте вам заметить, хозяин, что советоваться с прислугой – это что-то из комедии семнадцатого века.

- Ты-то откуда знаешь?

– Из журнальных статей...

- Ты читал их? Прекрасно! И что ты о них думаешь?

– Почему это я должен что-то думать о людях, которые не умеют думать?

Луици вновь умолк, вдруг обнаружив, что и с этим типом, как с его предшественником, ему не удалось ни на йоту приблизиться к своей цели. Он дотронулся до колокольчика, но, прежде чем позвонить, предупредил:

– Хотя ты и сохраняешь силу ума в разных обликах, мне не по вкусу обсуждать с тобой желанную мне тему, пока ты пребываешь в таком виде. Ты можешь сменить его?

- Я весь к вашим услугам, милсдарь.

– Вернись к первоначальному облику!

– При одном маленьком условии: если вы дадите мне монетку из той мошны, что перед вами...

Арман взглянул на стол и увидел не замеченный им до сих пор кошелек. Он открыл его и достал одну монету. На бесценном металле сияла надпись: *ОДИН МЕСЯЦ ЖИЗНИ БАРОНА*

**ФРАНСУА АРМАНА ДЕ ЛУИЦЦИ.** Арман тут же понял тайну необычной денежной единицы и бросил монету обратно в кошелек, который показался ему довольно тяжелым, а потому вызвал невольную улыбку.

– Я не могу так дорого платить за какой-то каприз.

– Что это вдруг вы стали таким скрягой?

– Почему «вдруг»?

– А потому что вы бросались горстями этих монет, чтобы достичь меньшего, чем просите сейчас.

– Что-то я такого не припомню.

– Если бы вы позволили представить вам счет, то увидели бы, что ни одного месяца вашей жизни не потратили на что-либо разумное.

– Очень даже может быть, но я хоть жил...

– Это смотря какой смысл вкладывать в слово «жить».

– А разве есть несколько?

– Их два; и они диаметрально противоположны. Для большинства людей жить – значит приспособливаться к требованиям окружающей среды. И того, кто живет таким образом, в детстве зовут «милым дитятей»; когда он достигает зрелости – «славыным малым», а когда состарится – просто «добряком». Все эти три прозвища имеют один общий синоним: глупец.

– По-твоему, я жил как глупец?

– Да-с; и вы считаете, по-видимому, точно так же, ибо прибыли в этот замок, чтобы сменить образ жизни, чтобы вложить в нее новый смысл...

– И какой же? Ты можешь описать его поточнее?

– Это и есть предмет предстоящей нам сделки...

– Нам? Ну нет! – прервал Арман Дьявола. – Не хочу никаких сделок с такой образиной. Мне в высшей степени отвратительна твоя мерзкая рожа...

– Что ж, это вам на руку – кто мало нравится, с тем редко соглашаются. Король, заключающий договор с приятным ему послом, делает опасные уступки; женщина, обговаривающая условия своего падения с симпатичным ей мужчиной, забывает о половине своих обычных условий; папаша, обсуждающий брачный контракт дочери с зятем, который ему по душе, оставляет ему, как правило, возможность впоследствии разорить свою жену. Чтобы не попасть впро-сак, нужно делать дела с неприятными людьми. В таком случае отвращение служит разуму.

– А в данном случае оно послужит твоему изгнанию, – заявил Арман, позвонив магическим колокольчиком, подчинявшим Дьявола.

Тотчас воплощение Дьявола в ливрее исчезло, как и первое двуполое существо, и Арман узрел на его месте миловидного юношу. Он явно принадлежал к тем людям, кого каждую четверть века называют по-разному, а в наши дни – фешенебельными. Натянутый, как лук, между подтяжками и штрипками белых панталон, юноша сидел в кресле Армана, положив ноги в лакированных сапогах со шпорами на каминный бордюр. К тому же аккуратнейшие перчатки, манжеты с блестящими пуговицами, завернутые на лацканы фрака, монокль в глазу, трость с золотым набалдашником – словом, будто близкий приятель заглянул к барону де Луицци на чашку кофе.

Иллюзия была настолько полной, что Арману почудилось, будто юноша ему знаком.

– Кажется, мы где-то встречались?

– Никогда! Я туда не хожу.

– Видимо, я видел вас на конной прогулке...

– Быть того не может! Я предпочитаю бег трусцой.

– Тогда я видел вас в коляске...

– Ну нет! Я обычно сам правлю.

– А! Черт возьми! Я уверен, мы играли на пару у госпожи...

- Держу пари, что нет!
- Вы еще все время вальсировали с ней...
- Да что вы! Я умею только брыкаться!
- И вы за ней не ухаживали?
- Никогда! Я ухаживаю только за собой.

Луицци почувствовал острое желание вышибить чем-нибудь тяжелым упрямяство из этого господина. Но на помощь пришел здравый смысл, и Арман начал понимать, что никогда не достигнет желанной цели, если будет продолжать пререкаться с Дьяволом, какое бы обличье тот ни принял. И барон решил покончить с этим типом точно так же, как и с предыдущими, и, звякнув еще раз колокольчиком, крикнул:

- Сатана! Слушай меня и повинуйся!

Едва он произнес эти слова, как потустороннее существо, вызванное Арманом, явилось во всей своей зловещей красоте.

Определенно, то был он – падший ангел из поэтических грез. Он обладал болезненной красотой, иссушенной ненавистью, испорченной разгулом страстей, красотой, которая в неподвижности еще сохраняла печать небесного происхождения; однако стоило демону заговорить, как черты лица выдали жизнь, полную пороков и дурных страстей. Среди всех отталкивающих чувств, мелькавших на его лице, преобладало глубокое отвращение. И вместо того, чтобы почтительно подождать, пока барон обратится к нему, Сатана начал первым:

– Я здесь, чтобы выполнить договор, заключенный с твоим родом, согласно которому я должен дать каждому барону де Луицци все, что тот попросит; думаю, ты знаешь условия этого договора.

– Да, – подтвердил Арман. – В обмен на твои услуги каждый из нас принадлежит тебе, если только он не докажет, что был счастлив хотя бы десять лет своей жизни.

– И все твои предки, – добавил Сатана, – чтобы ускользнуть от меня в час расплаты, просили меня о том, в чем, как они считали, состояло их счастье.

- И все ошиблись, не так ли?

– Конечно. Они желали денег, славы, знаний, власти; но и власть, и знания, и слава, и деньги сделали их несчастными.

- Значит, этот договор только в твою пользу; могу ли я отказаться?

- Можешь.

- И нет ничего, о чем я бы мог тебя попросить и что может сделать человека счастливым?

- Есть.

- Знаю, ты не можешь мне подсказывать; но открой хотя бы, известно ли мне это?

– Да, известно; ты часто сталкиваешься с этим в своей жизни, это проявляется во всех поступках, редко в твоих собственных, довольно часто в чужих; и я утверждаю, что большинство людей может обрести эту возможность счастья без всякой моей помощи.

- Это какое-то нравственное качество? Или что-то материальное?

– Ты задаешь слишком много вопросов. Сделал ли ты свой выбор? Говори же: у меня мало времени.

- Совсем недавно ты никуда не спешил.

– Потому что тогда я был в одном из тысячи своих обличий, в которых я прячусь от самого себя и которые делают мое настоящее более или менее сносным. Я заключаю свое существо в презренную и порочную человеческую оболочку и чувствую, что иду в ногу с веком, и не страдаю от жалкой роли, которую мне приходится играть. Один представитель рода человеческого, став государем маленького королевства Сардиния, из глупого тщеславия стал подписываться еще и титулом царя Кипра и Иерусалима. Да, тщеславие может довольствоваться громкими словами, но гордыня требует великих дел, и ты знаешь, что именно она стала причиной моего низвержения; но никогда еще мое достоинство не подвергалось столь тяжким испыта-

ниям. После битвы с Всевышним, после того, как я обвел вокруг пальца столько великих мира сего, вызвал столько страстей, столько катаклизмов, я унился до постыдного ничтожества грязных интриг и мелких притязаний современной эпохи. Я прячусь от себя самого, чтобы забыть, насколько возможно, чем я стал. Поэтому форма, в которую ты заставил меня воплотиться, мне отвратительна и невыносима. Торопись же; говори, чего ты хочешь.

– Пока не знаю; я рассчитывал на твою помощь.

– Я уже сказал, что это недопустимо.

– Однако ты вправе сделать то, что делал для моих предков; ты можешь обнажить передо мной страсти других людей, их надежды, радости, страдания, тайны бытия; и этот урок послужит мне путеводной нитью.

– Все верно; но знай, что твои предки согласились принадлежать мне прежде, чем я начал свои рассказы. Посмотри на этот документ: я пропустил в нем строчку, предназначенную для твоих пожеланий; подпишись внизу, а после того, как выслушаешь меня, вставишь, кем хочешь стать или что хочешь иметь.

Арман поставил свою подпись и сказал:

– Что ж, я слушаю. Начинай.

– Нет, не так. Величие, к которому меня обязывает теперешний мой вид, скоро наскучит твоему легкомыслию. Вмешиваясь в человеческую жизнь, я принимаю в ней куда большее участие, чем думают люди. Приготовься: я изложу тебе мою историю, а точнее – историю их жизни.

– Сгораю от любопытства.

– Сбереги это чувство – ибо, вызвав меня на откровенность, тебе придется выслушивать все, до самого конца. Или же отказаться, но ценой монеты из кошелька...

– Хорошо, но если мне придется для этого пребывать все время в одном определенном месте...

– Можешь ехать куда тебе заблагорассудится; как только ты меня позовешь, я тут же явлюсь, где бы ты ни был. Но лишь здесь, в замке, ты имеешь право видеть мое подлинное лицо.

– Вправе ли я изложить на бумаге все, что ты мне расскажешь?

– Да.

– И раскрыть твои тайны?

– Сколько угодно.

– Издать их?

– Они будут изданы.

– Подписать твоим именем?

– Да, на обложке будет мое имя.

– Так когда мы начнем?

– Когда ты позвонишь в колокольчик, в любом месте, в любое время, по какому бы то ни было поводу. Но запомни, начиная с этого дня, у тебя есть десять лет, чтобы сделать свой выбор.

Часы пробили трижды, и Дьявол исчез. Арман остался один. Кошелек с днями его жизни лежал на столе. Барон хотел было сосчитать монеты, но не смог развязать узел и лег спать, бережно спрятав кошелек под подушку.

## II ТРИ ВИЗИТА

На следующее утро Луицци покинул Ронкероль. Хотя Дьявол и дал ему довольно долгий срок на поиски путей к счастью, он действовал как человек, у которого есть неотложные планы, и торопился попасть в Тулузу, чтобы затем немедленно отбыть в Париж. Париж – огромная ловушка для тех, кто считает, что жить надо в свое удовольствие. Париж – словно дырявая бочка Данаид; люди отдают ему заблуждения юности, надежды зрелых лет и сожаления седых волос; он поглощает все, не отдавая ничего. О юноши, которых судьба еще не привела в его ненасытную утробу, если вашему живому воображению необходимы дни веры и тишины, любовные грезы, устремленные к небу; если вам кажется, что самое прекрасное на свете – привязаться всей душой к возлюбленной, чтобы с обожанием следовать за ней всю жизнь; ах! не приезжайте в Париж! – так как красавица введет вашу душу в великосветский ад, где ваши соперники будут давать оскорбительные клятвы в верности, нагло усмехаясь в лицо той, на которую вы взираете с колен, и ведя с ней легкомысленные, беззаботные беседы, вызывающие у нее улыбку, тогда как вы трепещете, едва осмеливаясь вымолвить слово.

Нет, не приезжайте в Париж, если в вашем сердце звучит гармония вечной песни ангелов; не рассыпайте перед толпой секреты исступленного вдохновения, в котором душа оплакивает радости, о которых она только мечтает, зная, что они возможны только на небе; вы отдадитесь на суд критиков, которые откусят вам руки, протянутые ввысь, и читателей, которые насмеются над недоступным им полетом вашей мысли!

Нет, тысячу раз нет, и не думайте о Париже, если вас мучит жажда святой славы! Спротивляйтесь изо всех сил этому соблазну; вы потеряете больше чем упования – вы утратите чистоту и целомудрие разума.

Ибо ваш разум стремится лишь к возвышенным заботам гения, к чистому священному гимну прекрасному, к искреннему и торжественному возвеличиванию истины; ошибка, молодые люди, ошибка! После первой пробы пера вы будете ждать внимания публики к ладному и честному слову, но вместо этого увидите, что ее привлекают непристойные анекдоты пошлых писак, истерические бредни бумагомарак, страшные истории из криминальной хроники; вы услышите, как публика, эта старая развратница, смеется над невинностью вашей музыки и, осквернив ее распутным поцелуем, велит: «Ну-с, куртизанка, убирайся или же развлекай; давай что-нибудь остренькое и жгучее, оживи мои притупившиеся ощущения; расскажи о жутких кровосмешениях и чудовищных изменах, об ужасающих вакханалиях страстей и преступлениях; говори же, я уделю тебе часок – за это время твое едкое ядовитое перо должно разбудить мои огрубевшую или загнившую чувственность; а иначе – умолкни, умри в нищете и неизвестности».

Слышите, молодые люди: нищета и неизвестность. Нищета – порок, наказуемый презрением, и пытка неизвестностью, то есть ссылкой подальше от солнца, а ведь вы из тех, кто так нуждается в его тепле, чтобы душа не покрылась ледяной коркой. Мрак нищеты и неизвестности – не хотите ли, молодые люди? Нет? Тогда берите перо, лист бумаги, пишите заголовок: «Мемуары Дьявола» и крикните своему веку: «А! Так ты хотел чего-нибудь соленого, чтобы поразвлечься? Да будет так, милостивый государь, вот кусочек твоей истории».

Да хранит нас Бог от двух вещей, за которые извинило бы нас общество, но не простили бы себе мы сами; упаси нас, Боже, от лжи и безнравственности! К чему обман? Разве действительность не смешнее и порочнее наших выдумок? Сильные и слабые мира сего наслаждаются безнравственностью во мраке одиночества; великосветские дамы и гризетки одинаково млеют от аморальных книжонок, только одна прячет их в будуаре, а другая – на чердаке; и, когда их совесть вместе с книгой скрывается под шелковой подушкой или в соломенном тюфяке, они

ругают и презирают того, кто поболтал с ними минутку об их сладчайшем позоре. Все женщины поступают с безнравственным сочинением, как маркиза из «Опасных связей» с Преваном; они отдаются всей душой... а потом звонят слугам, чтобы те спустили с лестницы дерзкого мерзавца, который хотел их изнасиловать. Да убережет нас Господь если не от греха, то от лжи! Остаться в дураках – последняя глупость в эпоху, когда успех является первой рекомендацией. И повесть наша будет правдивой и нравственной, и не наша вина, если она одним не польстит, а иных и оскорбит.

Увы! Когда несчастный Луицци пересказал нам все откровенные признания Дьявола, дабы они послужили уроком тем, кого природа сотворила столь же доверчивым и слабым, как и он, опустошающие разочарования все еще не убили в нем веру и надежду, и, вовсе не усомнившись в добродетели, он заподозрил Дьявола в неискренности. Дьявол завлекал его, стремясь убедить. Чтобы нам не пойти по пути Луицци, мы сразу свидетельствуем, что все, о чем Сатана пожелал рассказать нашему другу, было чистой правдой.

Несмотря на намерения барона, рассказы его раба начались раньше, чем он предполагал.

Горе тому, кто получает от потусторонних сил возможность сорвать завесу тайны с человеческих поступков; не будет ему покоя, пока он не закончит опасный эксперимент. И двойное горе тому, кто уже уступил однажды такому соблазну – чем больше пьешь из этого кубка, тем больше хочется. Как замечательно и искренне высказался об этой ничем не истребимой потребности один изрядно налакавшийся пьяница, которому я предложил шутки ради ответить еще бордо:

– С удовольствием; ибо нет ничего более возбуждающего жажду, чем бутылочка вина.

Однако вовсе не жгучее желание толкнуло Луицци к просьбе о первом глотке губительного зелья, отпущенного ему впоследствии Дьяволом в изобилии. Никак не предвиденное им обстоятельство раньше времени возбудило казавшееся ему безопасным любопытство, которое завело его так далеко.

Луицци происходил из знатного рода и обладал большим состоянием; первые люди Тулузы, где так много аристократических семейств, искали с ним сближения, а преуспевающие коммерсанты стремились наладить деловые отношения. Отдаленное родство связывало Армана с господином маркизом дю Вальем. Это имя, которое кажется столь буржуазным, если написать его без благородной частицы «дю», принадлежало одной из боковых ветвей древней княжеской фамилии. Постепенно первородное имя перестало использоваться, и ветви обширного семейства сохранили только как отчество – обозначение, которое поначалу отличало их от других ветвей. Но когда возникала необходимость засвидетельствовать благородное происхождение, в договоры заносилось эта почти забытая фамилия; и, несмотря на вроде бы купеческие прозвища, господа дю Валь, дю Мон, дю Буа чувствовали себя более высокородными, чем маркизы и графы, гордящиеся именами своих родовых земель и замков.

В то же время Луицци связывали деловые отношения с негоциантом Дилуа, торговавшим шерстью, тем самым Дилуа, который обычно скупал весь настриг с многоголовых стад холеных мериносов, взращивавшихся во владениях барона. Прежде чем поручить ведение дел управляющему, Луицци хотел лично познакомиться с человеком, который каждый год становился его должником на значительную сумму, и сразу по прибытии в Тулузу отправился к нему.

В три часа дня Арман вышел на улицу де ля Помм, где жил Дилуа; найдя нужный дом, он через ворота попал в прямоугольный двор, окруженный довольно высокими зданиями. Первый этаж по трем сторонам двора целиком занимали склады; в том корпусе, что выходил на улицу, размещались конторы: через железные решетки в узких проемах высоких окон виднелись отблески медных корешков и красные ярлычки бухгалтерских книг. Поверх первого этажа тянулась выступающая галерея с перилами на обточенных стойках; все двери жилых помещений выходили в эту галерею. Крыша полностью прикрывала этот внешний коридор, доходя до самого его края.

Луицци, входя во двор, увидел на галерее молодую женщину. Несмотря на холод, на ней было только шелковое платье; черные локоны волос окаймляли лицо; она смотрела в записную книжку, в то время как внизу пять или шесть грузчиков перекидывали тюки с товаром, подбадривая друг друга веселыми криками, в которые обычно вкладывается половина южного темперамента. При таком шуме никто ничего не слышал и никто не заметил Армана: грузчики были полностью поглощены работой, а женщина сосредоточилась на своих записях; юный белокурый красавец, стоявший во дворе, устремил свой взгляд на нее. Луицци остановился, молча наблюдая за этой сценой. Госпожа Дилуа, а то была она, встрепенулась, и молодой человек, внимательно следивший за каждым ее движением, весьма своеобразно прокричал:

– Эге-ау!

Грузчики остановились; и в глубокой тишине послышался нежный и чистый голос женщины:

– Тюки с шелком сто семь и сто восемь.

– На склад номер один? – громко уточнил юноша.

– Нет, сегодня вечером на мойку, – тихо поправила его госпожа Дилуа.

– Шелк сто семь и сто восемь на мойку! – скомандовал юноша.

Молодая женщина опять принялась за чтение; приказчик остался на месте, по-прежнему не спуская с нее глаз, а грузчики принялись выполнять полученные указания, то и дело покрывая друг на друга.

Минуту спустя госпожа Дилуа вновь оторвалась от книжки.

– Эге-ау! – воскликнул приказчик.

Вновь, как по волшебству, установилась тишина, и изящная женщина мирно произнесла звонким голоском:

– Возьмите сто пятьдесят килограммов короткой шерсти на седьмом складе и отправьте на прядильню в де Ла Рок.

Приказчик громко повторил распоряжение. Затем, подойдя к одному из решетчатых окон, щелкнул пальцем по стеклу; открылась маленькая форточка, и Луицци увидел юную белокурую головку; приказчик повторил, но уже боязливым голосом:

– Накладную в Ла Рок на сто пятьдесят кило.

– Я слышала; разорались на весь двор, – проворчал детский голосок.

Форточка захлопнулась, и Луицци, подняв глаза на госпожу Дилуа, увидел, как она внимательно смотрит на это окошко, и легкая печальная улыбка, несомненно, адресованная милому личику, мелькнувшему за стеклом, застыла на ее губах.

В эту минуту госпожа Дилуа и приказчик обнаружили Луицци. Юноша двинулся было, намереваясь подойти к незнакомцу, но, взглянув на хозяйку, вернулся на свой пост под галереей. Госпожа Дилуа еще раз посмотрела в книжку, затем, закрыв ее, положила в карман передника и облокотилась на перила, подав неуловимый знак приказчику. Юноша моментально вскарабкался наверх по тюкам с товарами и оказался рядом с госпожой Дилуа, так что мог теперь слышать ее, несмотря на возню и крики рабочих. Она что-то сказала ему совсем тихо. Приказчик кивнул и обернулся, чтобы выполнить распоряжение, но госпожа Дилуа остановила его и добавила несколько слов, покосившись на Луицци. Приказчик опять ответил ей без слов и прямо с высоты груды тюков крикнул:

– Триста кило шерсти с мериносов Луицци на перевалочную базу в Кастр!

Рабочие встали, и один из них, с грубой физиономией, резко возразил:

– Взвешивайте его сами, господин Шарль, я за это не возьмусь; с этой дьявольской шерстью вечно что-нибудь не так; мы отправляем сто килограммов, а на место прибывает девяносто.

– Мелешь черт знает что! – возмутился приказчик. – Взвешивай как следует, и все будет как надо! Понятно?



– Взвесьте ее сами, господин Шарль, – вмешалась госпожа Дилуа, увидев, как возмутился рабочий и с какой угрозой посмотрел на него приказчик. Юноша согласился все тем же знаком послушания, который, видимо, являлся основным языком общения между ним и хозяйкой; госпожа Дилуа опять показала взглядом на Луицци, и приказчик, ловко спрыгнув прямо на землю, подошел к барону и вежливо спросил, что тому угодно.

– Я хотел бы поговорить с господином Дилуа, – ответил Луицци.

– Его не будет здесь еще неделю, сударь. Но если речь идет о делах, то соблаговолите пройти в контору; бухгалтер ответит на все ваши вопросы.

– Да, действительно, речь идет о делах; но поскольку я хотел сделать ему весьма интересное предложение, то желательно было бы обсудить его с ним лично.

– В таком случае, – предложил приказчик, – может, вас выслушает госпожа Дилуа?

Он указал Луицци на хозяйку, которая, увидев, что говорят о ней, поторопилась спуститься и грациозно приблизилась к барону.

– Что вы желаете, сударь? – поинтересовалась она.

– Я хотел бы предложить, сударыня, продлить договор, который я нахожу еще более интересным, поскольку могу обсудить его с вами.

Госпожа Дилуа благожелательно улыбнулась, а приказчик, услышав последние слова барона, нахмурил брови. Женщина знаком велела ему отойти подальше и весьма живо спросила:

– С кем имею честь?

– Барон де Луицци, сударыня.

При этом имени она отступила на шаг, а юный красавец Шарль всмотрелся в Армана с боязливым и неприязненным любопытством.

Это продолжалось не дольше мгновения, и госпожа Дилуа указала Луицци на дверь конторы:

– Соблаговолите войти, господин барон; я к вашим услугам.

Луицци вошел; Шарль последовал за ним, пододвинул кресло к огромной печке, отапливавшей весь первый этаж, и занял место у письменного стола, где его ожидала дневная корреспонденция. Арман осмотрелся кругом и обнаружил за другим столом милую девчушку, которую он заметил раньше в окне; она старательно что-то писала; от роду ей могло быть лет девять-десять, и она так походила на госпожу Дилуа, что не оставалось сомнений, чья это дочь. Несмотря на красоту, что-то грустное и отрешенное старило ее симпатичное личико. «Госпожа Дилуа слишком строга? – подумал Луицци. – Вряд ли, в ее глазах светилась явная любовь к дочурке.» В это время ребенок оторвал глаза от бумаги, но лишь затем, чтобы спросить у пожилого писца, работавшего в другом углу:

– По какой цене шерсть отправлена в Ла Рок?

– Как всегда, по два франка...

– Ладно, – резко оборвал их Шарль, – дайте мне накладную, я сам проставлю цену.

Если бы при этом присутствовал Дьявол, он объяснил бы Луицци тайный смысл разыгравшейся перед ним сцены. Арман предположил здесь только приступ раздражительности. Красавчик Шарль, столь беспрекословно повиновавшийся малейшим движениям госпожи Дилуа, являлся, как решил Арман, любовником хозяйки или по меньшей мере ее поклонником; появление элегантного барона должно было его встревожить, и Луицци приписывал внезапный гнев, который он вроде бы услышал в словах приказчика, опасению, вызванному его присутствием. Луицци ошибался: в этой реплике прозвучал лишь крик купеческой души. Перед человеком, пришедшим договариваться насчет шерсти, незачем оглашать цену, по которой ее продавали, – вот что беспокоило Шарля.

Вскоре вошла госпожа Дилуа, и Луицци смог рассмотреть ее поближе: она была очаровательным созданием, а окружавшая ее обстановка еще больше подчеркивала редкие достоинства женщины. Высокая, гибкая и стройная, с томными глазами, прикрытыми сладострастной

завесой удлинённых смуглых век: казалось, только неумная сила гнева способна распахнуть их полностью. Ее открытые точеные ножки и белокожие ручки с розовыми ноготками радовали глаз. Она выглядела такой чужой среди грубых физиономий грузчиков и протокольных лиц ее служащих, что Луицци имел все основания предположить, что госпожа Дилуа родилась в обедневшей дворянской семье, которую обстоятельства вынудили отдать дочь богатому торговцу. Вот почему он разговаривал с ней как с ровней, что в глазах тщеславного барона являлось искуснейшей лестью.

Заменив оборотистой улыбкой общепринятые учтивые фразы, госпожа Дилуа пригласила барона следовать за ней. Вытянув ключ из передника, она открыла дверь и прошла вместе с ним в отдельную комнату. Внешность и движения этой женщины были столь томными и привлекательными, что барон ожидал увидеть благоухающий голубой будуар, скрытый в поясе пыльных контор, как тайные любовные желания в череде скучных повседневных забот. Но вместо будуара барон попал в рабочий кабинет. Здесь царил полумрак. Свет с трудом пробивался сквозь пыльные стекла, за которыми едва просматривались железные решетки, защищавшие оконный проем. Черный письменный стол, железная касса с тройными засовами, сафьяновое конторское кресло, шкафчик для хранения бумаг – таковой оказалась меблировка кельи, которую Луицци представлял себе пленительно таинственной. Конечно, обстановка несколько расстроила сладкие фантазии барона; но и вне храма богиня продолжала будоражить его воображение: госпожа Дилуа, мягко опустившаяся в кресло, положившая белые ручки на исписанные страницы раскрытой книжки, застенчиво поставившая ножки на холодный и сырой кирпичный пол, показалась Луицци изгнанным ангелом, прекрасным цветком, затерянным в колючем кустарнике. У него возникло чувство, похожее на то, что он испытал однажды к покрытой шипами белой розе, выставленной сапожником на окне между глиняными горшками с базиликом и пыреем. Луицци тогда купил эту розу, приказал поставить ее в фарфоровую вазу на столик с выгнутыми ножками в своей гостиной. Роза погибла, но погибла достойно. Луицци же завоевал в некотором роде рыцарскую репутацию.

Однако в данном случае барон не имел возможности купить находившийся перед ним цветок; так, может, ему удастся его сорвать? (Прошу великодушно извинить за подобную идею и выражение: ведь Луицци вырос при Империи.) Он приписал женщине фантазию или, скорее, желание, что он – звездочка в сумрачном небе ее бытия, единственное светлое воспоминание, что останется с ней в холодных сумерках будущего. Луицци знал, что он пригож и молод; любовные интонации звучали в его речи; он не был слишком рассудителен, чтобы оставаться бессердечным, и слишком сентиментальным, чтобы терять рассудок, – словом, он принадлежал к тем мужчинам, что пользуются большим успехом у женщин. Эти мужчины страстны, но осторожны; они задушевные и в то же время благовоспитанны; они любят, но не компрометируют. А Луицци столько раз соблюдал эту предпочтительную в самых лестных любовных связях середину, что считал себя искусным обольстителем. Самолюбие мужчин, как известно, обычно является искаженным отражением уступчивости женщин.

Итак, Луицци продолжал столь пристально рассматривать сидевшую перед ним женщину, что она смущенно потупила взор и мягко проговорила:

– Господин барон, вы пришли, я думаю, чтобы предложить мне какую-то сделку насчет шерсти?

– Вам? Ну что вы, сударыня, – возразил Луицци. – Я пришел к господину Дилуа; с ним я бы охотно поговорил о ценах и котировках, хотя мало в них смыслу; но боюсь, что с вами подобная...

– Я уполномочена моим мужем, – быстро заверила его госпожа Дилуа и с улыбкой закончила фразу Луицци: – Сделка будет выгодной.

– Для кого, сударыня?

– Для нас обоих, надеюсь... – Она на мгновение запнулась, но продолжила, ласково глядя на барона: – Если вы плохо разбираетесь в бизнесе, то я... я порядочный человек и постараюсь оформить все по справедливости.

– Это будет непростым делом для вас, сударыня, и, вероятно, я кое-что потеряю при сделке.

– Но почему же?

– Не смею сказать; но вы можете и сами догадаться.

– Говорите, господин барон, не стесняйтесь; коммерсантам не привыкать к самым причудливым условиям.

– Условие, которое я хочу обговорить, – вы сами его предложили.

– Я? Я еще ничего не предлагала...

– И тем не менее я согласен; это условие позволит мне вспоминать вас как самую очаровательную женщину, что я когда-либо встречал, и в то же время даст мне возможность оставить о себе не менее приятные воспоминания.

Госпожа Дилуа стыдливо покраснела и с взволнованным оживлением промолвила:

– Муж не давал мне полномочия на что-либо подобное, и я не торгуюсь на сей предмет.

– Вы слишком скромны и послушны... – упорствовал Луицци.

– Я всего-навсего честный человек, – оборвала его госпожа Дилуа довольно сурово, дабы покончить с этой темой.

Она открыла папку, нашла нужную пачку бумаг, раскрепила ее, вытянула один лист и смущенно предъявила его Луицци, будто прося прощения за только что допущенную суровость.

– Вот, – сказала госпожа Дилуа, – договор, заключенный шесть лет назад с господином бароном, вашим отцом; если у вас нет намерений улучшить породу ваших овец или, тем более, ухудшить качество шерсти, то, я считаю, вы можете утвердить сумму этого договора. Вот, посмотрите: здесь стоит подпись его милости.

– Он обсуждал договор с вами? – не унимался Луицци. – Если это так, то я бы на него не положился.

– Успокойтесь же, сударь! – В раздражении госпожа Дилуа слегка прикусила верхнюю губу и показала барону ослепительно-белые зубки. – Успокойтесь, я вышла замуж меньше шести лет назад.

Она еще не закончила фразу, как дверь приоткрылась, и детский голос робко произнес:

– Мапочка, господин Лукас непременно хочет поговорить с вами.

Это была та самая десятилетняя девочка, которую Луицци заметил в конторе.

Ее появление именно в тот момент, когда госпожа Дилуа сообщила, что вышла замуж не больше шести лет назад, явилось откровением для Луицци. Услышав обращение «мапочка» к госпоже Дилуа, которая естественно могла бы объяснить, была ли девочка ребенком господина Дилуа, Луицци живо обернулся к прелестной купчихе: та покраснела до корней волос и потупила взор.

– Так это ваша дочь, сударыня, – молвил Луицци.

– Да, сударь, – простодушно подтвердила госпожа Дилуа и обратилась к девочке: – Каролина, я приму господина Лукаса; оставьте нас.

Госпожа Дилуа полностью пришла в себя и протянула Луицци бумаги:

– Возьмите договор, господин барон, посмотрите его как-нибудь на досуге. Мой муж возвратится через неделю и почтет за честь встретиться с вами.

– Я уезжаю раньше; но и оставшегося времени более чем достаточно, чтобы тщательно изучить договор. Впрочем, я подписал бы его немедленно, если бы предлагаемая вами отсрочка не давала мне права еще раз увидеть вас.

Мадам Дилуа вновь обрела уверенно-кокетливый вид и сообщила:

- Я всегда на месте.
- Какое время вам удобно?
- Любое, какое пожелаете.

После этих слов она сделала один из тех учтивых реверансов, с помощью которых женщины ясно и недвусмысленно требуют: «Сделайте одолжение – подите вон, пожалуйста». Луицци вышел. В первой конторе все оставались на своих местах. Проводив гостя, госпожа Дилуа протянула руку стоявшему рядом с печкой высокому мужлану, который весело поздоровался с ней:

– Добрый день, госпожа Дилуа.

– Добрый день, Лукас, – ответила она с той самой приветливой улыбкой, что так очаровала Луицци. Барон заметил ее, когда обернулся, чтобы окончательно попрощаться, и был чувствительно задет.

Выйдя из дома Дилуа, Луицци направился к маркизу дю Валью. Хозяина дома не оказалось. Тогда Луицци спросил маркизу дю Валь. Слуга ответил, что не знает, может ли госпожа его принять.

– Так потрудитесь доложить! – вспыхнул Луицци, давая лакею понять, что он не привык, чтобы ему перечили. – Скажите, – добавил Арман, – что барон де Луицци желает ее видеть.

Лакей застыл на какой-то момент в нерешительности, казалось, обдумывая, как ему лучше доложить. Появилась горничная; слуга подбежал к ней и быстро что-то зашептал, как бы обрадовавшись возможности переложить на чужие плечи порученное ему дело. Горничная нагло уставилась на барона и переспросила язвительным тоном:

– Как, бишь, зовут этого господина?

– Мое имя совершенно не относится к делу, барышня... Я хочу поговорить с госпожой дю Валь и хочу знать, может ли она сейчас принять.

– Ну что ж, пожалуйста: не может.

Это было уже слишком – чтобы Луицци отступил по прихоти лакеев, от которых зависит, видите ли, его визит! И он резко заявил:

– Тогда я доложу о себе сам.

Барон направился прямо к открытой двери гостиной. Слуга отошел в сторону, но горничная встала перед дверью, как скала:

– Сударь, я же сказала, вы не можете ее сейчас видеть! Странно, вам говорят, а вы...

– Прошу вас, оставьте ваши дерзости при себе и предупредите хозяйку.

– Что там за шум? – донесся в это время голос из дальнего угла гостиной.

– Люси, – громко спросил барон, – в какой час вам можно нанести визит?

– Ах! Это вы, Арман, – удивленно воскликнула госпожа дю Валь и, плотно прикрыв за собой дверь комнаты, из которой только что вышла, пошла навстречу барону.

Арман приблизился к маркизе, ласково расцеловал ей руки, после чего оба сели у камина. Люси с изумленным восхищением и в то же время покровительственно разглядывала барона. Мадам дю Валь было тридцать лет, Луицци – двадцать пять, а потому подобная манера изучения была позволительна ей как женщине, которая видела когда-то резвого подростка четырнадцати лет, превратившегося теперь в блестящего молодого человека. После молчаливого обследования лицо госпожи дю Валь внезапно омрачилось; невольные слезы набежали на глаза.

Луицци ошибся, решив, что понял причину ее грусти.

– Вы сожалеете, конечно, как и я, – заговорил он, – что наше свидание происходит по столь печальному поводу и что смерть моего отца...

– Не в этом дело, Арман, – прервала его маркиза. – Я едва знала вашего отца, да и вы сами были далеки от него в течение последних десяти лет, так что навряд ли при известии о его смерти вы горевали, как при потере горячо любимого и близкого человека.

Луицци промолчал, и маркиза после некоторой заминки повторила:

– Нет, не в этом дело; просто ваш визит состоялся в... весьма своеобразную пору.

Грустная улыбка показалась на губах Люси, и словно оживившись от этой улыбки, она продолжала:

– По правде говоря, Арман, жизнь – весьма странный роман. Вы надолго в Тулузе?

– На неделю.

– Возвращаетесь в Париж?

– Да.

– Вы увидите там моего мужа.

– Как? Его избрали депутатом всего неделю назад, и он уже в дороге? Сессия начнется не раньше чем через месяц. Я думал, вы поедете вместе.

– О нет, я остаюсь. Мне слишком нравится Тулуза.

– Но вы совсем не знаете Парижа.

– Я знаю достаточно, чтобы не желать туда ехать.

– За что же вы его так не любите?

– О! У меня есть свои причины. Я не настолько молода, чтобы блистать в салонах, и не настолько стара, чтобы заниматься политическими интригами.

– Вы достаточно умны и прекрасны, чтобы преуспеть где бы то ни было.

Маркиза вяло покачала головой:

– Вы не верите ни одному своему слову, барон. Я очень стара, мой бедный Арман, главное, стара душой.

Арман осторожно наклонился к кухне и промолвил, понизив голос:

– Вы несчастны, Люси?

Взглянув украдкой на дверь своей комнаты, она вместо ответа быстро и очень тихо предложила:

– Приходите часов в восемь на ужин, мы поболтаем. – Коротким кивком маркиза попросила его удалиться; он взял ее за руку, и она сильным судорожным движением сжала его запястье. – До вечера, до вечера, – опять совсем тихо прошептала Люси и живо вернулась к себе.

Но дверь открылась не сразу. Без всякого сомнения, там кто-то подслушивал и не успел отступить достаточно быстро. Луицци остался один и, пораженный своей догадкой, медлил с уходом; вскоре он смутно услышал гневный мужской голос. Открытие смутило барона, и, сильно обеспокоенный, он вышел. Мужчина скрывается в комнате женщины и разговаривает с ней в таком тоне! Мужчина, если он не муж, не брат, не отец, то любовник. Любовник! У маркизы дю Валь? Луицци не смел поверить. Подобное не укладывалось у него в голове. Многие его воспоминания защищали Люси; и он решил, что угадал, какое новое горе постигло его бедную кузину, ибо знал когда-то несчастную девятнадцатилетнюю Люси, которая сохла от неистовой любви, но воспротивилась ей всеми силами христианской добродетели.

Погруженный в прошлое, Луицци направился к дому своего нотариуса, господина Барне, с которым также хотел познакомиться.

Вскоре он нашел нужный дом, но поистине то был день отсутствующих мужей. Его приняла госпожа Барне, сухопарая, худющая шатенка небольшого росточка с тусклыми голубыми глазками и тонкими губками. Когда служанка отворила дверь спальни, доложив о посетителе, госпожа Барне отозвалась визгливым голосом:

– Кто этот господин?

– Я не знаю его имени.

– Хорошо, просите.

Луицци вошел, и госпожа Барне поднялась ему навстречу с надетым на левую руку простым белым чулком, который она штопала.

– Что вам угодно? – спросила она, шурясь; возможно, плохое зрение помешало ей разглядеть изысканную осанку Луицци, иначе она несколько смягчила бы свой не очень-то учтивый тон.

– Сударыня, – представился Арман, – я барон де Луицци; как клиент господина Барне, я был бы чрезвычайно рад встретиться с ним.

– Ах, господин барон! – воскликнула госпожа Барне, срывая с левой руки дырявый чулок и бесстрашно втыкая иголку себе в грудь, тем самым давая Луицци понять, что щит, который ее прикрывал, состоял никак не меньше чем из трех слоев муслина и ваты. – Присаживайтесь. Нет, нет, не на стул, прошу вас, в кресло. Как, здесь нет кресла? В комнате женщины нет кресла – весьма провинциально, не правда ли, господин барон? Но у нас есть кресла, сколько угодно кресел, поверьте! Марианна! Марианна, принесите кресло в гостиную! И снимите с него чехол!

Луицци попробовал было прервать эту хлопотливую возню, возразив, что стула более чем достаточно, так как он вскоре уйдет. Но жена нотариуса не хотела ничего слушать и все суежилась, убирая за шторы какое-то старое тряпье и грязные носовые платки, разбросанные по всей комнате. Вскоре появилась Марианна с креслом из крашеного дерева, покрытым плюшевым утрехтским бархатом весьма почтенного возраста; она водрузила его у камина, где не хватало только огня. Госпожа Барне опять распорядилась:

– Марианна, поленья!

– Бог мой, сударыня, вы напрасно беспокоитесь, ведь я ненадолго; я пришел к господину Барне буквально на два слова и...

– Господин Барне ни за что не простит, если я отпущу вас без ужина, так как, смею надеяться, господин барон соблаговолит отведать овощного супчику.

– Помилуйте, сударыня, я уже принял другое приглашение и буду вам очень обязан; я еще вернусь как-нибудь к господину Барне за нужными мне сведениями.

– Сведениями? Господин барон, вам не нужно ждать моего мужа! Ах, кто больше меня может рассказать о Тулузе! Я знаю этот город как свои пять пальцев, от подвалов до чердаков! Мои предки служили на важных постах (отец госпожи Барне был судебным исполнителем); я знаю о людях больше, чем они думают, и, конечно, больше, чем им хотелось бы; так что присаживайтесь, господин барон; я с радостью дам вам любые необходимые справки.

Луицци поначалу не намеревался воспользоваться поспешной услужливостью госпожи Барне; но все-таки он присел, надеясь откланяться после нескольких малозначащих фраз. Дело, по которому он решил побеспокоить нотариуса, несколько смущало его, но собеседница не оставила ему ни секунды, и он не успел высказать ничего предосудительного.

– Господин барон, может быть, желает приобрести недвижимость? Если вы намереваетесь вложить средства в производство, то мой муж мог бы заняться для вас плавильней господ Жаков; в конце ноября ее хозяева получили тридцать одну тысячу франков, в конце декабря – еще тридцать три тысячи семьсот двадцать два франка от трех фирм (из них две в Байонне), с которыми господа Жаки проворачивали неплохие дела; но затем эти фирмы одновременно пропустили срок выплаты и не смогут сделать их и в феврале; поскольку это честные люди, я уверена, что если у кого-нибудь найдутся наличные деньги, то они уступят завод по сходной цене; если только не ввяжется жена господина Жака-младшего: все знают, что ей принадлежат пять прекрасных ферм, которые она сдает в аренду всем желающим; она получила их от матери, от той самой Манетты, ради которой разорился граф де Фер; это имущество и Манетте обошлось недорого, а уж тем более ее дочери; но в конце концов она им распоряжается. Но у госпожи Жак характер матери – она экономит на яйцах, готова омлет, и не позволит заложить ни на одно су свое хозяйство.

Когда госпожа Барне начала свой сумбурный монолог, Луицци даже не старался вникнуть в его смысл; но вдруг у него возникла идея расспросить ее по-настоящему. Это случилось в тот момент, когда она перешла от рассказа о господине Жаке к его жене; барон предположил,

что супруга нотариуса поведает ему о том, что он ни у кого больше не осмелился бы спросить; а госпожа Барне, похоже, только дай ей взять след, с превеликим удовольствием выболтает все, что ему так хочется узнать. Поэтому, как только жена нотариуса умолкла, барон поторопился сказать:

– Я вовсе не желаю что-либо приобретать, по крайней мере сейчас; но у меня деловые отношения со многими людьми в Тулузе, и, между прочими, с господином Дилуа.

Госпожа Барне скривилась:

– Что, он замечен в каких-то нехороших делах?

– Признаться, господин барон, по меньшей мере – в одном, которое продолжается до сих пор.

– В каком же?

– В женитьбе на своей жене.

– Она его разоряет?

– Я не заглядывала в кассу господина Дилуа; не могу сказать ничего плохого о его заведении; но бедняга знает о своих делах не больше чем я; кроме того, его жена и первый приказчик, господин Шарль, ведут его счета, и если этому простаку есть на что пойти выпить чашечку кофе и сыграть партию в домино к Эрбола, то он и не стоит большего.

– Значит, госпожа Дилуа разбирается в торговле?

– Она отлично разбирается во всем, что ей нужно, – хитрая бестия; гризетка, делавшая детей со всеми подряд и выскочившая за первого торговца шерстью в Тулузе! О! Она проведет и сотню таких, как ее муж.

– Включая и господина Шарля?

– Шарль тоже та еще шельма; я прекрасно знаю этого типа; он служил у нас клерком до того, как устроился приказчиком к господину Дилуа. Было время, когда мы знали с этими людьми; но я объявила мужу, что, если он еще раз пригласит эту блудливую кошку, я захлопну дверь у нее перед носом. Ах, сударь, а ведь когда-то Шарль был очаровательным, преданным, внимательным и предупредительным юношей!

– Может быть, он и сейчас такой для госпожи Дилуа?

– Бог мой! Господин барон, да будь он для нее хоть кем – меня это не касается.

– Я с ним встречался, – кажется, весьма симпатичный паренек.

– Да, уж выглядит-то он отлично; но какой он бессердечный, господин барон, какой неблагодарный! И это после всего, что мы для него сделали!

– Господин Барне тоже, конечно, любил его, – заметил Луицци с бесхитростным видом.

Госпожа Барне, попавшись на эту уловку, необдуманно воскликнула:

– Мой муж! Ну что вы, господин барон, ничего подобного!

Барон не подал виду, что уловил невольное признание госпожи Барне; у него было еще о чем порасспросить, а потому он не хотел настораживать словоохотливую собеседницу. И он заявил с видимым безразличием:

– Что ж, мне очень пригодится ваше хорошее мнение о фирме Дилуа, с которой мне предстоит только заключить договор о купле-продаже шерсти. Но не это главное; у меня есть свободные средства, которые я собираюсь дать взаймы под залог недвижимости, а потому я хотел бы разузнать о состоянии имущества одного весьма известного человека.

– Для этой цели, господин барон, нет ничего лучше, чем городская регистратура.

– Конечно, конечно, сударыня; но я не могу пойти туда сам – в Тулузе все моментально становится известно, и, возможно, маркизу дю Валью это не понравится.

– Как?! Маркиз дю Валь собирается взять ссуду под залог? – крайне удивилась госпожа Барне. – Не может быть! Маркиз – наш клиент, и он никогда не говорил нам об этом.

– Как?! – ахнул Луицци. – Господин дю Валь – ваш клиент?

– Да, точно так же, как и многие самые знатные, не уступающие вашему, имена Тулузы, и вовсе не со вчерашнего дня. Дела дю Вaley мы ведем уже более пятидесяти лет; именно господин Барне составлял брачный контракт ныне здравствующего маркиза; это событие меня до того ошеломило, что я помню его столь же ясно, как сегодняшнее утро. Передо мной и сейчас стоит выражение лица господина Барне после подписания: он словно сошел с ума.

– Что же тогда произошло?

– Ах! Господин барон, не могу вам сказать, это профессиональная тайна нотариуса; это свято. Я ее знаю только потому, что господин Барне так волновался в первые минуты, что сам не понимал, что говорит и что делает.

– Сударыня, я человек сдержанный...

– Лучшее средство сохранить тайну – не знать ее.

– Вы правы, – согласился Луицци, – и я не хочу выведывать лишнее; но могу предположить, что госпожа дю Валь сейчас совершенно счастлива.

– Бог знает, господин барон, и Бог должен это знать, так как она только им и живет.

– Она набожна?

– До фанатизма; только и делает, что кается и постится. Что ж, здесь нет ничего предосудительного: каждый волен устраивать свою жизнь, как ему заблагорассудится; я только боюсь, как бы она не погибла от добровольных мук.

Луицци поднял глаза на часы, встроенные в брюхо самшитовой обезьянки, висевшей на каминном дымоходе, и увидел, что уже почти восемь. Он поднялся: то небольшое, что он узнал о маркизе дю Валь, только разожгло его любопытство, но он решил остановиться. Образ Люси пробуждал в сердце Луицци сладкие воспоминания детства; он даже не догадывался, что может поведать госпожа Барне, но у него пропало всякое желание ее слушать. Редко нам хочется узнавать о дорогих созданиях мнение людей определенного сорта. Есть имена, звучащие в душе прекрасной музыкой, которую никто не в состоянии воспроизвести на наш лад, неприятные голоса ломают эту мелодию, только произнося любимое имя. Нельзя сказать, что Луицци испытывал что-то подобное к Люси, но разве она не являлась его родственницей, другом детства и предметом юношеских грез? А потому его дворянское самолюбие оскорбило бы любое суждение госпожи Барне о маркизе дю Валь. Барон тепло распрощался с женой нотариуса и направился к своей гостинице, поглощенный размышлениями о том, что он заметил в доме благочестивой маркизы.



### III

## ТРИ НОЧИ

### Ночь первая

#### *В будуаре*

Арман еще не дошел до ворот гостиницы, когда какая-то женщина догнала его и окликнула по имени. При свете магазинных витрин Луицци узнал служанку, столь невежливо принявшую его у маркизы. Она быстро приказала ему:

– Пройдите прямо мимо гостиницы; вы найдете меня на другом конце улицы.

Не останавливаясь, служанка поспешила дальше, и Луицци, на мгновение опешивший, увидел, как она свернула в переулок. Барон не знал, что и думать о столь неожиданном распоряжении; но поскольку сейчас он вполне мог подчиниться, а позднее вернуться в гостиницу, то решил идти за служанкой. Проходя мимо ворот, барон внимательно осмотрелся по сторонам и в нескольких шагах увидел закутанного в плащ человека, казалось, следившего за входом в гостиницу. Луицци хотел направиться прямо к незнакомцу и узнать, кто он и что ему надо. Но это привело бы к скандалу, на который барон не имел никакого права – ни по закону, ни по совести: он отлично понимал, что в мужской ссоре, где может прозвучать имя женщины, она окажется первой жертвой, а одному из противников придется погибнуть. Он проследовал дальше, и уже на приличном расстоянии от гостиницы, на пересечении с маленькой улочкой, появилась служанка:

– Быстрее, идите за мной.

Она двигалась столь резво, что барон еле поспевал за ней. Повернув не один раз, они оказались в пустынном проулке между садовыми стенами. Здесь служанка опять же на ходу отдала новое указание:

– Входите, не мешкайте.

Почти тут же она скользнула в приоткрытую калитку и, как только Луицци прошел за ней, осторожно вернула дверцу на место.

Едва они оказались в саду, как услышали на другом конце проулка быстро приближавшиеся шаги; служанка знаком попросила Луицци сохранять тишину, и оба неподвижно застыли. Кто-то остановился перед калиткой, постоял, а затем начал удаляться; но, едва сделав несколько шагов, странный гуляка повернул назад. В этот момент служанка всплеснула руками и взволнованно прошептала:

– Вот дура! Забыла про задвижку!

Она бросилась к двери и налегла на нее изо всех сил, знаком призвав Луицци на помощь; барон машинально подчинился. Тут они услышали скрежет проворачиваемого в замке ключа и почувствовали, как незнакомец толкнул дверь, которая слегка поддалась, так что он, очевидно, понял, что она удерживается не просто задвижкой, и навалился с еще большей силой, крикнув:

– Мариетта! Мариетта!

Но Мариетта (теперь мы знаем имя служанки) воспользовалась моментом, чтобы исправить свою ошибку, и задвинула засов. Не медля ни секунды, она взяла Луицци за руку и повела дальше, в то время как неизвестный неистово вертел ключ в замке.

В темноте ночи сад казался бесконечным; Луицци бездумно следовал за своей провожатой, не вполне отдавая себе отчет в том, что происходит; он даже не успел удивиться, поскольку удивление все-таки требует некоторого размышления; он не знал ни куда идет, ни к кому идет; наконец они вышли к углу флигеля, соединенного с особняком длинной крытой галереей. Распахнулась небольшая дверца, и Луицци поднялся по двенадцати ступенькам винтовой лестницы, застеленной коврами, и оказался сначала в маленькой и слабо освещенной прихожей,

а затем в тесной гостиной с висячей алебастровой лампой. Жарко пламенел камин; стол был накрыт на двоих, пронзительное благоухание наполняло это тесное убежище.

– Подождите здесь, – попросила Мариетта и оставила барона одного.

Прежде чем подумать о том, что его ждет, Луицци машинально осмотрелся. Место, где он находился, удивляло странным слиянием самой сластолюбивой роскоши и скрупулезной благочестивости. На шелковых обоях – изображения святых и распятия. На полках книжного шкафа – брошюрованные томики новомодного романа рядом с молитвенниками в великолепных переплетах; на столиках с вычурными ножками – вазы с чудесными цветами, над ними – «Святая Цецилия» в рамке, украшенной поверху освященным букетом самшитовых веточек; наконец, в полуалькове – диван, заваленный подушками, а в глубине комнаты – широкое зеркало с голубыми муаровыми занавесками. Над изголовьем дивана возвышалась «Дева семи скорбей», а над изножьем – распятие из слоновой кости на черном бархате. Луицци рассматривал эту то ли спальню, то ли молельню со странным волнением; вскоре нагрянули и соображения насчет способа, с помощью которого он сюда попал. Человек, который следил за гостиницей, ломился в садовую калитку и обладал ключом от нее, был, надо думать, любовник. Но разве сам Луицци не похож на счастливого возлюбленного? Если бы кто-нибудь увидел, каким образом барон проник к маркизе дю Валь, мог ли этот кто-нибудь подумать, что он шел наудачу? И все-таки этот кто-нибудь ошибся бы, если бы судил по внешним признакам. Не мог ли и Луицци точно так же впасть в заблуждение? Он не знал, что еще вообразить, и решил дожидаться объяснений Люси, как внезапно она сама появилась на пороге. Ее внешность и манера держаться поразили Луицци; это была не та печально-приветливая женщина, что встретила его утром. Он никогда не думал, что ее лицо может быть таким отчаянным и возбужденным. Глаза светились необычайным блеском, а губы слегка раздвинулись в скорее горькой, чем радостной улыбке.

– Хорошо, очень хорошо, – сказала она сопровождавшей ее Мариетте, которая тут же вышла, бросив на хозяйку пристальный взгляд.

Маркиза удобно устроилась в кресле у камина и, не проронив больше ни слова, о чем-то задумалась, уставившись в огонь. Барон был сильно смущен и взволнован. Он видел что-то необычное в лице и осанке Люси, но не знал, удобно ли дать понять, что он это обнаружил. Меж тем маркиза не выходила из странного самоуглубления; Луицци несколько раз окликнул ее по имени.

– Хорошо, очень хорошо, – повторяла она, не сводя с пламени неподвижный взгляд, – да, да, очень хорошо.

– Люси, что с вами? – не выдержал Арман. – Вы так мучаетесь... Вы так несчастны...

– Я? – Она подняла голову и попыталась принять беспечный вид. – Я несчастна? Господи, отчего? Я богата, молода, прекрасна – ведь так, Арман, вы не раз мне это говорили! Чего же еще желать женщине, обладающей такими достоинствами?

– Ничего, конечно. Однако...

– Однако! – нервно встрепенулась маркиза; сильно стиснув пальцы и прикусив губу, она с трудом сдержалась и продолжала: – Бог мой, Луицци, не будьте как другие, не надоедайте мне расспросами, замечаниями и указаниями только потому, что я поглощена какой-то одной мыслью; вы же знаете, женщину может расстроить самый ничтожный пустяк; я пригласила вас на ужин, так давайте же ужинать.

Они сели к столу, и маркиза принялась угощать Луицци; она была явно не в своей тарелке, все валилось у нее из рук.

– Шампанское перед вами, – заметила она.

– Вы не составите мне компанию?

Поколебавшись, маркиза взяла бокал и залпом опустошила его. По ее лицу пробежала тень отвращения; Луицци понадеялся, что маркиза пытается отогнать мучавшие ее неотвяз-

ные мысли; но после нескольких слов о планах Луицци он понял, что ее усилия не увенчались успехом. Это еще больше подстегнуло интерес и любопытство барона, и он попытался по-своему вывести маркизу из тоскливой прострации.

– Поделитесь со мной своим горем, – осторожно и ласково попросил барон.

При этих словах маркиза залилась слезами:

– Нет, Арман, нет! Мне плохо, мне больно; это обжигает, убивает меня. И Бог мне свидетель – как я хочу умереть!

Она поднялась, воскликнув:

– Господи! Смилуйся! Дай мне умереть, скорее же!

Маркиза рухнула на диван в полуалькове и обхватила голову руками.

Луицци сел рядом с ней, он пытался задавать вопросы, но ответом ему служили только слезы и рыдания. Луицци был когда-то другом детства госпожи дю Валь, а потому он встал на колени перед ней и стал уговаривать ее:

– Ну же, Люси, не молчите, доверьте мне свои печали. Люси, вы же знаете, какие чувства я испытываю к вам; разве может тот, кто посмел любить столь прекрасную женщину, забыть ее? Разве я не остался вашим лучшим другом?

Маркиза, всхлипнув, перестала плакать и, посмотрев на коленопреклоненного Луицци, заметила, словно пытаясь кокетничать:

– Видя вас в таком положении, не скажешь, что вы только друг.

– Так я могу рассчитывать на большее? – улыбнулся Луицци.

– Тот, кто любит по-настоящему, может надеяться на многое, – проникновенным голосом ответила маркиза.

– В таком случае у меня большие права на надежду. – Луицци забавлялся галантными банальностями, не придавая им особого значения.

Каково же было его удивление, когда маркиза, подняв глаза к небу, воскликнула:

– Ах! Если бы вы говорили искренне!

Все знают, как опасно вопреки своей воле оказаться вовлеченным на путь, с которого невозможно свернуть, не обидев вызывающего у вас симпатию человека и не рискуя очутиться в смешном положении. Приходится настаивать на своем, рассчитывая, что случай, расставивший сети, сам же поможет выпутаться; именно так и поступил Луицци.

– Вы сказали, Люси, если бы я был искренен? О! Любить вас – это потаенная мечта каждого, кто имел удовольствие встречаться с вами.

Маркиза поднялась и, резко обернувшись, все так же лихорадочно-возбужденно остановила его:

– Это какое-то безумие! Вернемся же к столу.

Она села на свое место и принялась ужинать с видом человека, которому приходится заниматься неприятным ему делом.

К несчастью для Люси, все происшедшее пробудило у Луицци неистребимое желание узнать тайну ее страдающей души; он решил во что бы то ни стало удовлетворить свое любопытство или по меньшей мере приложить к тому все возможные усилия.

– Вы скоро уезжаете, ведь так? – возобновила беседу Люси.

– Да, но только через неделю.

– Вы так изголодались по своему Парижу?

– Ах, Люси, Париж – это жизнь.

– Жизнь счастливых людей.

– Нет, Люси; в Париж следует ехать, когда больно, когда в сердце пожар, когда нужно притушить жгучие чувства. Там есть чем занять разум, чем развлечь глаз и слух; тысяча удовольствий, неведомых здесь, устилают там, словно листьями, страдающую душу и служат заменой счастью.

– Вы правы, – согласилась Люси, – это, должно быть, огромное облегчение – забыться и спрятаться от себя самого. Вы любили кого-нибудь в Париже, Арман?

– Далеко не так, как в Тулузе.

Маркиза грустно улыбнулась, знаком предложив барону продолжать.

– Это были довольно бессмысленные связи; одна радость – вечное беспокойство и нескончаемые муки, – усмехнулся барон.

– Что, очень грозные мужья?

– Все нет; но соперники со всех сторон. Всегда есть десяток мужчин, которых мало-мальски элегантная женщина вынуждена принимать в одном и том же тоне и с одним и тем же выражением лица; среди этих десяти она прячет любовника; а порой и двоих... троих... а то и четверых...

– О! Вы клевете на женщин.

– Нет, Люси; но я не испытываю к таким женщинам никакой неприязни: на самом деле они так несчастны!

– Вы правы, есть женщины, которые втайне переносят такие мучения, что и не снились мужчинам; но они не из тех, кто находит утешение с любовниками.

– О да! Думаю, в этом вы разбираетесь куда лучше меня, – улыбнулся Луици.

Его слова вновь расстроили маркизу: к ней вернулись печаль и озабоченность. Растерянный и смущенный, Луици, не зная, как продолжить разговор, зацепился за первую же мысль, что пришла ему в голову:

– Вам нездоровится? Вы ничего не едите и не пьете...

– Совсем нет, наоборот, – снова заулыбалась Люси.

И, как бы в подтверждение своих слов, она выпила шампанское из бокала, который наполнил Луици, чтобы сделать хоть что-то. Глаза маркизы заблестели еще ярче, а голос задрожал еще сильнее.

– Да, – она горько усмехнулась, – любовник – это занятно, это скрашивает жизнь; но его нужно любить, этого любовника.

– Когда его больше не любят, его спроваживают.

– Ревнивец! Тиран, угрожающий скомпрометировать в любую минуту и по всякому поводу; самый невинный визит вызывает у него подозрения; его раздражает простой непринужденный разговор с друзьями или родственниками. Трус и лицемер, который восстанавливает против вас всю родню, лишь бы исключить того, кто внушает ему опасения... О! Это страшная пытка... Господи! Все-таки нужно с этим покончить...

С каждым словом она все больше возбуждалась, ее лицо покраснелось; сохранивший хладнокровие Луици заметил, как у нее застучали зубы; какое-то подобие горячки охватило ее. Но мужчины не знают жалости; Луици как ни в чем не бывало наполнил бокалы; маркиза поднесла бокал к губам, но затем поставила его обратно, словно чего-то испугавшись.

– Люси, вы как маленький ребенок. – Облокотившись, Арман устремил на маркизу влюбленный взгляд. – Если уж женщине встретился подобный недостойный тип, то она должна немедленно избавиться от него.

– Но как?

– Если он трус, то невелика задача для того, кто возьмет эту женщину под защиту; если же он смельчак – тем лучше: можно доказать свою преданность, рискуя жизнью в поединке.

Люси с горечью усмехнулась, а затем, словно захваченная этой новой идеей, вскрикнула:

– А если он...

Она остановилась, скрипнула зубами, как бы поперхнувшись словами, которые уже завертелись на языке, и покраснела, будто охваченная приступом удушья; затем госпожа дю Валь сделала глоток шампанского, чтобы прийти в себя; Луици осмелел, наблюдая за растущей растерянностью маркизы:

– Да кто бы он ни был, можно заставить его замолчать!

Люси еще раз улыбнулась все с тем же выражением недоверия и отчаяния, и Арман продолжил:

– Да, Люси, и это сделает мужчина, доказавший свою преданность и нежность в долгих испытаниях, мужчина, в котором нельзя сомневаться, друг, которому можно полностью доверять и который пойдет на все ради той, что поручила ему заботу о своем счастье.

Маркиза саркастически рассмеялась:

– Вы сказали – долгие испытания? Но я же объяснила: после первой же встречи этот человек становится подозрительным.

Она умолкла, заколебавшись, но затем, пристально взглядевшись в Луицци, словно желая заглянуть в самую глубину его души, промолвила:

– Чтобы женщина, попавшая в подобный переплет, благополучно выбралась из него, ей нужно найти великодушное сердце, которое отзовется в ту же минуту, не заставляя себя ждать.

– Как только вы пожелаете, такое сердце будет у ваших ног.

– Неправда! Мужчины пальцем не пошевелият, если не рассчитывают добиться любви, как награды за свою самоотверженность...

– Которую заслуживает тот, кого испытывает женщина. – Луицци придвинулся к маркизе.

– А если женщина требует немедленного подвига, то и награда должна быть оговорена сразу?

– Почему бы и нет? – не стал спорить Луицци, потрясенный необычностью разговора и развязностью маркизы дю Валь. – Почему бы и нет? Люси, неужели вы думаете, что на свете нет мужчины, способного понять женщину, которая вручает ему себя со словами: «Я доверяю тебе свое благополучие, существование, репутацию; и чтобы ты не сомневался, что будешь моей единственной надеждой, я отдаю тебе мое счастье, жизнь и доброе имя; возьми же, владей ими!»

– О! Если бы такое было возможно! – вскричала маркиза.

– Люси, может быть, тысячам женщин это недоступно, но для столь достойной красавицы, как вы...

Голос Луицци наполнился страстью, и он еще ближе подсел к маркизе. Люси на мгновение обхватила голову руками, с силой сжав свои прекрасные черные косы; затем она резко поднялась, вслед за ней встал и Луицци.

– Боже! – пробормотала маркиза. – Я схожу с ума.

– Люси, – прошептал Арман.

– Схожу с ума! Ну так будь что будет! Безумствовать – так до конца!

Горячечным движением она схватила со стола один за другим полные бокалы и исступленно осушила их. Затем, обернув к Луицци пылавшее и в то же время потерянное лицо, она воскликнула в бездумном упоении чувств и рассудка:

– Ну и как?! Ты посмеешь любить меня?

Разум Луицци также помрачился от всей этой сцены, от того, что он видел и слышал. Обстоятельства, случай, неожиданность увлекли его и наполнили ошеломляющим, шальным восторгом, и Луицци убежденно заверил маркизу:

– Тебя любить? Любить тебя? Это отрада ангелов! Это счастье, это жизнь!

– Да? Так любишь ты меня или нет?

На этот раз Луицци ответил только крепким объятием; она не противилась, только шептала и шептала:

– Любишь меня, ведь правда? Любишь, ведь так? Ты же любишь меня? Любишь? – бормотала она непрерывно и как бы бессознательно.

Она упорно повторяла эти слова, будто утратившие для нее всякий смысл, до тех пор, пока Луицци не одержал победу над инстинктивным для всех женщин сопротивлением мужским желаниям.

И тут иступление и восторженность, захватившие Люси, опьянение, помутившее ее разум, безрассудная страсть, подтолкнувшая ее к совершению ошибки, которую не оправдывает даже любовь, разом угасли; душевный жар не затронул плоти; уста, кричавшие и горько смеявшиеся словно в приступе гнева, похолодели и умолкли, не отвечая на слова любви. Женщина, которая предлагала себя Луицци, походила на сумасшедшую или распутницу, а та, что отдалась, была скорее статуей или жертвой.

Здесь крылась какая-то страшная тайна.

Стыд и смущение овладели Луицци.

В будуаре установилась тишина; глаза маркизы, сидевшей на диване, опять устались в одну точку. Тем временем Луицци беспокойно наблюдал за судорожными изменениями выражения ее лица; он попробовал заговорить, но она, казалось, ничего не слышала; хотел обнять, но его оттолкнули с поразительной силой; он взял ее за руку, но, резко поднявшись, Люси высвободилась со словами:

– О! Как все это низко!

Буря страстей и плоти, назревавшая давно, разразилась страшным нервным приступом. Маркиза пронзительно кричала что-то о проклятии и вечных муках в преисподней. Каждый раз, когда Луицци пытался до нее дотронуться, она вздрагивала, словно от прикосновения отвратительного гада. Луицци уже не знал куда деваться, но в этот момент вошла служанка; с досадой пожав плечами, она сказала:

– Ну вот, так я и знала!

Мариетта приблизилась к хозяйке, расшнуровала корсет и заговорила покровительственным тоном, которому, по всей видимости, обычно повиновалась маркиза. Продолжительный приступ закончился. Маркизе стало легче. Луицци опасался вновь растревожить ее и ни во что не вмешивался.

– Пора вам уходить, – заявила Мариетта. – Пойдемте, я вас провожу, пока она спокойна.

Луицци последовал за служанкой, которая почти бежала, поскольку торопилась вернуться к хозяйке. Барон не сомневался в ее правоте. После пяти часов удивительных событий, в которые он был вовлечен против своей воли и которые превзошли все его воображение, он считал за лучшее ретироваться.

Миновав сад, Арман вышел на улицу и вернулся к себе; глубоко погруженный в свои думы, он не заметил, что от калитки сада до гостиницы за ним следовал человек, закутанный в плащ.

На следующее утро Арман наведлся к Люси, но ему ответили, что маркиза не принимает.

В течение дня он еще четыре раза возвращался к ее дому, но увидеть маркизу ему так и не удалось. На второй день он послал ей записку, которая осталась без ответа. На третий день его письмо вернулось к нему нераспечатанным. Меж тем он знал, что Люси не больна. Ее видели, как обычно, на утренней мессе в церкви Сен-Сернен. Вечером она навестила свою старую и очень набожную тетюшку, которая должна была оставить ей большое наследство. Луицци чувствовал себя весьма уязвленным; но правила хорошего тона не позволяли ему в открытую расспрашивать о маркизе, а тем более кому-нибудь рассказывать о том, что с ним произошло. И все-таки, не желая выглядеть одураченным, он решил во что бы то ни стало увидеть господина Валь. Случай подвернулся сам собой, избавив его от обременительных поисков: ему стало известно, что вскоре состоится большой прием в одном из домов, куда барон мог легко попасть благодаря своему имени. Он узнал также, что маркиза получила приглашение и обещала прийти. Тем не менее, рискуя нарушить все приличия, Луицци вознамерился явиться

туда незванным гостем – он опасался, что госпожа дю Валь не сдержит своего обещания, если узнает, что встретится с ним на приеме.

Уверившись, что так или иначе он объяснится с маркизой, Луицци вспомнил о делах, а следовательно, и о госпоже Дилуа.

Барон изучил текст договора, который она вручила ему, и сделка показалась ему вполне подходящей. Но у Луицци возникли некоторые сомнения относительно этой особы, чей кокетливый тон поначалу внушил ему приятные иллюзии. Полупризнания госпожи Барне насчет происхождения и образа жизни госпожи Дилуа развеяли эти иллюзии и отбили у барона охоту заключать договор с домом Дилуа, а потому он представился еще нескольким торговцам. Те предложили ему за шерсть меньшую цену, чем фирма Дилуа. Выгода оказалась выше предубеждений, и он решил вновь обратиться к прекрасной купчихе.

## IV

### Ночь вторая

#### *В спальней комнате*

Барон направился к дому госпожи Дилуа вечером, после того как склады и конторы уже закрылись. Он хотел застать ее тогда, когда она выходит из роли негодяйки. Его встретила на удивление вежливая служанка; не доложив о нем, она проводила барона на второй этаж и, пройдя вместе с ним через маленькую каморку, без предупреждения распахнула дверь в спальню, сказав лишь:

– К вам пришли.

Хозяйку, должно быть, весьма удивил и смутил столь неожиданный визит. Она сидела по одну сторону от камина, а красавчик Шарль – по другую. Скромный, но элегантный дневной туалет сменило домашнее платье, сиявшее блеском чистоты и опрятности; все говорило о том, что госпожа Дилуа не стеснялась появляться перед приказчиком в любом наряде. В спальне царил тот легкий беспорядок, что говорит о скором отходе ко сну; в изголовье разобранной постели уютно расположились две подушки.

Привыкший к роскоши высший свет не знает, сколь привлекательна ослепительная белизна постельного белья. В шикарной, раззолоченной спальне едва промелькнет среди шелковых складок княжеского ложа узенькая полоска тонкой белой простыни; но в скромном жилище простой провинциалки рядом с почерневшей от времени мебелью из орехового дерева, на темном фоне тяжелых штор, белая, как алебастр, постель смотрится как лик девы. Эта непривычная и полная очарования картина даже самым хладнокровным и робким может внушить внезапные и смелые желания; если же вы, подобно Луицци, только что пережили такое приключение, когда в ваши объятия бросилась дворянка, которую вы скорее уважаете, чем любите, то вполне позволительно решить, что вы добьетесь еще большего с мещаночкой, кажущейся игривой и легкодоступной, и воскликнуть про себя:

«Ей-богу, это местечко мне подходит! Я с превеликим удовольствием займу его этим же вечером».

Этим же вечером – понимаете? Бывают победы, сладостные только своей молниеносностью. Торжество такого человека, как барон де Луицци, над простой купчихой после месяца-другого усердных ухаживаний и любовных разговоров не представляло для него никакой пикантности и не польстило бы его самолюбию; но управиться за несколько часов с женщиной, которая, по мысли Луицци, привыкла терпеть поражения, а не использовать все ресурсы обороны, казалось ему оригинальным, забавным и привлекательным. К тому же предстояло оттеснить не только мужа, но и любовника, что намного интереснее; случай был настоящей удачей. Ибо склонить женщину к измене мужу – все равно что поддержать и укрепить ее брак; но убедить ее провести любовника, заставить согрешить по отношению к своему же греху, сделать неверной к неверности – задача намного сложнее и безнравственнее, зато успех стоит труда.

Все эти доводы, что мы так долго перечисляли, не столько поясняют решимость Луицци, сколько продиктовали ее. Арман, увидев юного красавчика подле госпожи Дилуа и раскрытой постели, почувствовал непреодолимое желание занять место, которое, как он думал, принадлежало Шарлю. Но начал он с извинений за несвоевременность своего визита.

– Простите, сударыня, – сказал он, расположившись между приказчиком и госпожой Дилуа. – Простите, что явился столь поздно; мы, бездельники (а я считаю, что люди моего сорта ни на что не годны), просыпаемся поздно, а к вечеру обнаруживаем, что ровным счетом ничего не успели; прости-те же, сударыня, что докучаю вам своими делами в то время, как вы давно покончили с вашими.



– Что поделаешь, сударь! – с легкой досадой улыбнулась госпожа Дилуа. – Наши дела никогда не кончаются. Когда вы вошли, мы уже приступили к завтрашним и пробовали найти в счетах ошибку, которая уже неделю не дает нам покоя.

Луицци скользнул взглядом по лицу красавчика Шарля и обнаружил, что тот не сводит с него глаз.

«Это любовник, – окончательно уверился барон, – и, конечно, инстинкт ревности уже внушил ему ненависть ко мне».

Последняя мысль пришпорила оседланные бароном желания, которые так разгорелись, что он поклялся себе дойти до конца, решив, что это вопрос его чести.

Задача, однако, оказалась не столь уж легкой, так как приказчик вовсе не собирался уходить; и как бы высоко вы ни ставили свои способности и как бы плохо вы ни думали о женщине, крайне трудно или, вернее, невозможно соблазнить ее в присутствии любовника. Тем не менее женщины найдут миллион доводов, лишь бы уступить мужчине, любовь и на четверть не является причиной их падений, а Луицци был вовсе не новичком, чтобы этого не знать. И потому он стал искать возможность намекнуть госпоже Дилуа на необходимость конфиденциальной беседы. В ответ на ее слова о нескончаемости дел он произнес:

– Сударыня, не смею настаивать; своими заботами я нарушил ваше домашнее уединение. Считаю это непростительным упущением и немедленно удалюсь, как только вы сообразоволяете назначить мне час, когда вы сможете свободно выслушать мои предложения...

– Ну что вы, барон, я не могу затруднить вас еще одним визитом; вы же говорили, что не задержитесь в Тулузе надолго, и поскольку вы не дождетесь возвращения моего супруга...

– Сударыня! – прервал ее Луицци в том же тоне. – Мне нет нужды его дожидаться, ведь меня посвятили в тайну, что, договариваясь с вами, я буду иметь дело с настоящим главой этого дома.

– Сударь, я не совсем понимаю...

– С настоящим главой – в том смысле, что именно ваши воля, ум и превосходные качества составляют истинный капитал вашей фирмы.

– О да, вы абсолютно правы, – поддакнул Шарль, – госпожа Дилуа разбирается в делах не хуже первого купца Тулузы, и без нее дом Дилуа не достиг бы таких высот.

– То же самое мне сказала на днях госпожа Барне.

– Госпожа Барне! – воскликнули одновременно Шарль и госпожа Дилуа, которая добавила: – Так вы ее знаете?

– Господин Барне – мой нотариус; как-то раз я не застал его дома и имел удовольствие беседовать с его женой.

– А! Старая ведьма! – неприязненно пробормотал приказчик.

– Вы неблагодарны, молодой человек, – попрекнул его барон. – Она расписала мне вас в самых светлых тонах; настоящая хвалебная ода...

– Которую он вполне заслужил. – В голосе хозяйки прозвучала нескрываемая ирония.

– Может быть, но только не от нее, – многозначительно улыбнулся Луицци.

Госпожа Дилуа ответила смеющимся взглядом и поинтересовалась:

– Видимо, у вас с госпожой Барне была весьма продолжительная и содержательная беседа?

Что касается Шарля, то он ничего не понял; юноша лишь почувствовал, что в словах прятался какой-то намек, и помрачнел, поскольку смысл разговора ускользнул от него. Госпожа Дилуа снисходительно и ободряюще подмигнула ему:

– Думаю, Шарль, вы гораздо больше хотите спать, чем говорить о деле; идите же, мы завтра обсудим с вами спорные вопросы.

– Да, сударыня, – покорно ответил Шарль и поднялся; довольно неловко ухватив свою шляпу, он с грустным видом попрощался, повторив несколько раз: – До свидания, госпожа Дилуа. До свидания, господин барон, доброго вам вечера.

Госпожа Дилуа проводила Шарля, освещая ему дорогу. Она вышла за дверь совсем ненадолго, но Луицци услышал, как они обменялись несколькими негромкими фразами. Когда госпожа Дилуа возвратилась, Луицци прислушался, но не услышал стука входной двери. Неужели Шарль спит здесь же, в доме, или он спрятался? Впрочем, это не являлось препятствием для барона; он уже почти уверился, что госпожа Дилуа принадлежит к тем женщинам, которые берут на себя организацию своих интрижек, знают, как устранить неугодного, как открыть дверь, как сделать дубликат ключей; наконец, к тем женщинам, что вносят в любовную связь присущую им во всем изобретательность и осмотрительность. Тем не менее, как только госпожа Дилуа вернулась на свое место, Луицци поспешил сказать ей самым проникновенным тоном, какой только смог придать своему голосу:

– Премного благодарен за то, что вы удалили этого молодого человека.

– Я вас понимаю; думаю, он был бы не столь сговорчив, как я, при обсуждении сделки, которую нам осталось еще заключить.

Она произнесла эти слова с едва уловимой улыбкой и сопровождала их столь выразительным взглядом, что Луицци даже смутился. Его теория о слабом поле представляла женщин всегда готовыми уступить, если только уметь их атаковать; на словах он всегда представлял их в самом невыгодном свете, но легко становился робким и почти всегда неловким, когда оставался с ними наедине. Армана вдохновляли иллюзии о собственной неотразимости, но в присутствии женщины сердце его сохраняло все волнение; он почувствовал, что госпожа Дилуа может одолеть его своей кокетливостью, и, спрятав подальше свое смущение, воспользовался ее же игривым тоном:

– Вполне возможно, сударыня, что меня присутствие этого молодого человека заставило бы быть более неуступчивым при подписании договора.

– Но почему, сударь?

– О, сударыня, – продолжал Луицци, – при всем моем расположении к вам я был бы крайне суров, и по многим причинам! Во-первых, при нем я бы не осмелился сказать вам следующее: делайте все, что вам угодно, я соглашусь на любые условия; а будь он здесь, мне пришлось бы торговаться, как на рынке... А во-вторых...

– Что, сударь?

– Когда рядом находится человек, чей вид раздражает и оскорбляет ваше самолюбие, в то время как у вас нет никакого права на обиду, когда завидуешь ему в том, за что готов заплатить любую цену, поверьте, не очень-то хочется быть щедрым и уступчивым; так лучше забыть того, кто мешает спокойно руководствоваться собственными чувствами.

Госпожа Дилуа слушала с предельным вниманием; она, без сомнения, прекрасно поняла смысл этой замысловатой тирады, но не подала и виду. Довольно заурядная, однако безотказная тактика, которую с успехом применяют как мужчины, так и женщины; такой образ действий вынуждает собеседника высказать гораздо больше, чем он осмелился бы; поэтому госпожа Дилуа ответила:

– Вы правы, сударь, Шарль не очень-то любезен; именно поэтому мы не доверяем ему общение с клиентами. Но меж тем он честный и чуткий мальчик.

– Сударыня, господин Шарль не нравится мне не потому, что я ваш клиент.

С трудом удержавшись от смеха, госпожа Дилуа посмотрела Луицци прямо в глаза и спросила, словно вызывая на ответ без утайки:

– Тогда почему?

– А вы не догадываетесь?

– Господин барон, да я и не хочу ни о чем догадываться! – Госпожа Дилуа не выдержала и рассмеялась откровенно-кокетливым смехом, происходившим то ли от крайней раскованности, то ли от совершенной наивности.

– Так вы хотите, чтобы я сам сказал вам все?

– А что, это неприлично слушать?

– Нет, но весьма трудно объяснить.

– Тогда давайте вернемся к нашим шерстяным делам, а то, вы знаете, я такая непонятливая...

– Главное – чтобы ваше сердце не страдало тем же недостатком.

– Сердце? Но разве сердце имеет отношение к нашим делам?

– Ваше – возможно, нет, но мое-то уж точно!

– Что, сверх мешков с шерстью вы положите еще и сердце? – улыбнулась госпожа Дилуа. Ее взгляд и голос были исполнены страстью, которая, впрочем, свойственна южанам в их повседневном общении с другими людьми.

Эта вроде бы простодушная фраза прозвучала так насмешливо, что Луицци был уязвлен и покороблен; но у него хватило остроумия, чтобы скрыть свои чувства и ответить в том же тоне:

– Нет, сударыня, уж если я его кому вручаю, то не задаром.

– И по какой же цене?

– По обычной. – Арман осмелел и нежно взял за руки госпожу Дилуа, бросив дерзкий взгляд на приготовленную постель.

– И какой же срок вы дадите для оплаты? – спросила она, не отнимая рук и не противясь.

– О! Платите немедленно, и наличными!

– Боюсь, у меня нет таких средств, а потому я вычеркиваю этот пункт из договора.

– О нет! Я буду стоять на своем: все или ничего.

– Хотите вместе с добротным товаром сбыть с рук плохой? – озорным тоном возразила она.

– Я, сударыня, не умею торговаться и отдаю хороший товар за сущую безделицу, лишь бы...

– Лишь бы оплатили плохой, – подхватила она, – и по цене...

– Несомненно гораздо меньшей, чем он стоит на самом деле, – галантно промолвил Луицци.

– Ой, я совсем не то хотела сказать! Право, я никак не могу согласиться... хватит, господин барон, вы сошли с ума... Я хотела только пошутить, а вы заманили меня в ловушку...

– Самый коварный капкан – это ваша красота.

– Тише, нас могут услышать... А вдруг кто-нибудь войдет? Что подумают, если увидят нас так близко?

– А что такого? Мы просто обсуждаем нашу сделку.

– О да! И она весьма продвинулась!

– Так вы поставите свою подпись?

– Разве женщина должна начинать?

Барон взял перо, расписался, затем, обернувшись к взволнованной госпоже Дилуа, чьи прикрытые глаза, казалось, не хотели смотреть на то, что она собиралась себе позволить, снова взял ее за руки и прошептал:

– Теперь я рассчитываю на вашу обязательность...

Госпожа Дилуа покраснела до корней волос, но все-таки игриво ответила:

– Пожалуйста, сколько угодно, ваша милость...

И подставила загорелую и зардевшуюся щечку.

Луицци слегка опешил, но все-таки поцеловал ее.

- Это далеко не все, – вкрадчиво прошептал он.
- Да вы что!!! – воскликнула госпожа Дилуа тоном должника, у которого требуют тройные проценты за кредит. – Что же вам еще нужно?
- Чутьочку счастья...
- Что вы имеете в виду?
- Если муж где-то далеко... – Луицци опять взглянул на постель, словно уже чувствуя себя в ней хозяином.
- А если у служанки ушки на макушке?
- Ее отправляют спать.
- Можно подумать, она не заметит, кто и когда вошел или вышел.
- Совершенно верно; но, выйдя, можно потихонечку вернуться обратно.
- О, да вы, я вижу, опытный ловкач!
- Не без того...
- Ну что ж! Там... около двери есть калиточка...
- И она будет открыта, я правильно понял?
- Конечно, но, чтобы войти, нужно оказаться снаружи. Начнем же с этого.
- Но мы ведь закончим, не правда ли?
- Ах, барон! – вздохнула госпожа Дилуа, разыгрывая тяжкое замешательство.
- Да, конечно – да! – победно воскликнул Луицци. – Так гоните же меня, и быстрее!

Госпожа Дилуа прикусила губку, чтобы не расхохотаться, открыла дверь и позвала служанку. Девушка с лампой в руках проводила Луицци, который на прощание обменялся с прекрасной купчихой знаками полного взаимопонимания. Беседа завершилась на той грани между шуткой и розыгрышем, которую парижанин не может себе даже вообразить. Нужно родиться в южных краях, привыкнуть к острому языку и отпечатку любви на лицах наших женщин, чтобы понимать: то, что практически везде расценивается как признание, у нас считается за невинную забаву. Луицци, как и всякий другой северянин на его месте, решил, что госпожа Дилуа принадлежит к тем одновременно деловым и любвеобильным женщинам, которые не прочь расслабиться после тяжелых будней, но из-за вечной занятости не хотят попусту тратить время на пути к удовольствию.

Луицци был очарован, он был даже благодарен госпоже Дилуа за то, что она прикрывала свое падение смехом и весельем, а не кислым лицемерием! Он вышел, обдумывая, как миловидна и вызывающе аппетитна эта купчиха, как кокетлива ее спальня и притягательно бела постель. Храм блаженства, даже любви! И Армана переполняли свежие чувства, почти влюбленность! Очутившись на улице, он услышал, как громяхают засовы и замки на большой двери. В этот момент его воображение, мало удовлетворенное столь легкой победой, разыгралось: «Это муженек выполняет свой долг! Вот уморительно! Да нет, это любовничек побеспокоился о защите своей драгоценной! Тоже оригинально, прямо скажем!» И разгоряченный собственными мыслями барон, метавшийся по пустынной улице уверенными широкими шагами довольного самим собой человека, громко захохотал. Ему ответил тонкий, сдержанный, но издевательский смешок, который прозвучал как будто над самым ухом Луицци. Он резко обернулся, посмотрел вокруг, затем наверх – никого. Тишина. Тем не менее этот смех смутил Армана: слишком своевременно он раздался, чтобы ничего не значить. Но откуда он послышался – Луицци так и не понял.

Он быстро подошел к дверце, словно возражая наглой усмешке: «Вот кто мне оплатит за эту шуточку». Но дверца не поддавалась; впрочем, удивляться пока было нечему: он слишком недавно вышел из дома. Но прошло еще полчаса, барон уже продрог от ночной прохлады, а калитка и не думала открываться. Его грели только гнев и нетерпение: «Неужто меня одурачили? Или этой пухленькой торговке что-то мешает?» Еще долго он убеждал себя в последнем; все было против первого предположения: естественное мужское тщеславие, прошлые победы,

недавняя интрижка с маркизой, но главное – поведение госпожи Дилуа, а также сведения от госпожи Барне и его собственные измышления о роли Шарля. Понадобилось еще какое-то время, прежде чем он стал наконец понимать, что над ним всласть позабавились – пальцы Армана окоченели и избавили от лишней самоуверенности. Его выставили за дверь, и, возможно, этот господин Шарль следил за ним из-за штор и передразнивал его, зубоскаля. Барона угнетала эта жуткая картина: ведь речь шла уже не просто об обладании женщиной, а о том, что его, поведив за нос, оставили в дураках. Даже Гамлет не пришел бы в такое возмущение, как Луицци. И все-таки барон никак не мог поверить, что с ним сыграли настолько злую шутку; еще битый час гордыня сражалась с очевидностью. Самолюбие – страшный зверь, у него больше голов, чем у Лернейской гидры, и отрастают они вновь намного быстрее. Луицци перебрал все возможные варианты, прежде чем склонился к выводу, что госпожа Дилуа просто слегка пошутила, а еще через полчаса непредвиденный случай окончательно разрешил все его сомнения. Дверь внезапно распахнулась; барон ринулся к ней и столкнулся лицом к лицу с выходящим Шарлем. Оба невольно отступили на шаг и буквально озирали друг друга одинаково гневными глазами.

– Что-то поздновато вы решили нанести визит! – произнес Шарль.

– Не позднее, чем вы наконец собрались уходить.

– Вас ждут.

– Похоже, только после вас; но могу поклясться, милостивый государь, вам нечего опасаться.

– Что вы имеете в виду?

– Что надо было хоть разок, по случаю, уступить мне первое место.

– Как вы осмеливаетесь думать такое?

– Я не только думаю, но и говорю: хозяйка этого дома – любовница...

– Замолчите, заклинаю вас! – воскликнул Шарль, схватив Луицци за руку.

Барон резко высвободился негодующим движением:

– Вы что, сударь, ошалели? Или взбесились?

Презрение, с которым барон произнес последние слова, озлобило Шарля; он начал наступать на Луицци:

– Да знаете ли вы, кто я?

– Чурбан неотесанный! Еще смеет защищать эту...

– Сударь! – разъярился Шарль. – Замолчите! Знаете цену вашим словам?

– Так же, как вы цену на шерсть.

– Но я знаю и цену на свинец! И я вас с ней познакомлю!

– Дуэль? О нет, сударь! Я не хочу еще раз выставить себя идиотом.

– Берегитесь! Я сумею вас заставить!

– Ну-ну, попробуйте.

– Да-да! И раньше, чем вы думаете... Завтра утром я буду у вас.

– Всегда к вашим услугам.

Барон насмешливо склонил голову, и Шарль быстрыми шагами пошел прочь.

Едва он исчез, калитка приоткрылась и послышался трепещущий голос госпожи Дилуа.

– Входите, входите, – тихонько шепнула она.

У Луицци возникло здоровое желание отказаться.

– Ради Бога, входите же, – настаивала госпожа Дилуа.

Шарль был уже далеко, и барон решился войти. Госпожа Дилуа взяла его за руку. Бедная женщина вся дрожала; по потайной лестнице она провела Луицци к себе. Атмосфера почти невинного покоя в комнате испарилась, постель была смята. При свете единственного ночника Луицци разглядел, что госпожа Дилуа еще более раздета, чем в тот момент, когда он с ней расстался: ее тело прикрывал только ночной пеньюар, и спускалась она вниз босиком.

– Сударь, – заговорила она, – что я вам такого сделала, что вы стремитесь меня погубить?  
– Погубить? Ну и что? – Луицци рассмеялся. – Не вижу в этом ничего плохого; в любом случае ваша погибель не на моей совести.

Луицци ожесточился; он уже праздновал победу – и вдруг такое унижение! Кроме того, он замерз и, чувствуя, что его обвели вокруг пальца, утратил всякую жалость.

– Неужели все, что мы тут наговорили друг другу ради забавы, вы приняли всерьез?

– А что, другие воспринимают это иначе?

– Другие? Да за кого вы меня принимаете, сударь?

– За очень даже миловидную женщину, которой очень нравится, чтобы ее любили.

– Вы в самом деле поверили, что я буду вас ждать?

– Да, действительно, я верил и надеялся...

– Хорошего же вы мнения о женщинах!

– Поверьте, сударыня, гораздо лучшего, чем они того заслуживают; ведь я считал, что вы будете одна...

– Как! Вы полагаете, что Шарль...

– Ну, ну, сударыня, сколько можно; хватит забав, как вы только что выразились. Дважды в одну ночь оказаться посмешищем – это уж слишком.

– О! Не говорите так, сударь! Простите меня. Я зашла слишком далеко в словесной игре, не думая, что вы придадите всему этому какое-то значение.

Она замолчала и, пожав плечами, с грустной досадой добавила:

– Как! Абсолютно незнакомый мужчина, которого я чуть ли не первый раз вижу... И вы могли подумать... Нет, нет, это невозможно!

– Очень даже возможно; я и сейчас так думаю.

– И всем расскажете, как только что грозились Шарлю...

– Лучше отговорите этого сопляка, так как если я буду драться с ним, то каждому, кто только пожелает, открою причину дуэли.

– А если у меня хватит влияния, чтобы остановить его, тогда что?

– О сударыня, тогда совсем другое дело; я умею хранить тайны, да между нами пока и нет никаких секретов.

– И не будет, клянусь вам!

– Как вам будет угодно, сударыня; что ж, каждый из нас волен поступать как хочет.

– Но, сударь! Я же замужем; у нас дети...

Луицци пришел в ярость и резко ответил:

– В том числе очень даже симпатичная девчушка.

– А-а, теперь я вас понимаю; явившись сюда, вы уже в достаточной степени презирали меня, чтобы надеяться на многое.

– Похоже, у меня не было нужды ни в каком предубеждении, зато вы сделали все, чтобы мне его внушить.

– А вот этого я никак не понимаю. Вы, сударь, принадлежите к миру, в котором, как я вижу, словам придают более буквальный смысл, чем в нашем кругу.

– Я из того мира, сударыня, где кокетство не превращают в средство наживы.

– Так вот вы о чем, сударь?! Раз так, вот наш договор – порвите его!

Госпожа Дилуа протянула Луицци бумаги, отвернувшись, чтобы спрятать слезы, но барон остался неумолим:

– По правде, сударыня, лучше бы нам пойти до конца... И тогда, клянусь – буду молчать до гроба...

Госпожа Дилуа с ужасом отшатнулась от него.

– В таком случае, – решил Луицци, – мне остается только откланяться.

Она зажгла свечу, и барон увидел, насколько бедная женщина бледна и расстроена; в наступившей тишине она накинула шаль и знаком пригласила его к выходу. Луицци был жестоко уязвлен столь холодным и решительным отворотом.

- Подумайте же хорошенько.
- Все. Решение принято.
- Я злопамятен.
- Я чиста, мне нечего бояться, господин барон.
- Прощайте же, сударыня.
- Прощайте, сударь.

Не произнеся больше ни слова, она проводила его к выходу, и Луицци вернулся в гостиницу. В сильном возбуждении он улегся спать, особенно взволнованный тем, что собирался сделать. Наконец ему удалось забыться; проснулся же он очень поздно.

Первым делом он поинтересовался, спрашивал ли его кто-нибудь.

Получив отрицательный ответ, он подумал: «Господин Шарль, похоже, одумался... или ненаглядная госпожа все-таки уговорила своего раба?»

За завтраком барон размышлял о том, как ему лучше поведать кому-нибудь о своем приключении. Луицци ни на минуту не сомневался в правильности своих поступков. Если уж мужчины не очень скромничают насчет женщин, подаривших им блаженство, то простят ли они радости, подаренные, как им кажется, другому? Но откровенность не такое уж легкое дело, как кажется. Нужно, чтобы кто-то вас спровоцировал, иначе вы будете выглядеть безответственным и пошлым болтуном. Луицци еще не решил, к кому обратиться, как вдруг слуга доложил о визите господина Барне.

– Сам Бог послал мне его. – Луицци решил, что господин Барне должен стоять своей жены.

Нотариус оказался толстым весельчаком с приятными манерами, с хитрым и умным лицом.

– Вы оказали мне честь, господин барон, обратившись ко мне; супруга сообщила, что вы хотели бы получить сведения о капиталах маркиза дю Валя?

– Верно, верно... – подтвердил Луицци, – но меня вполне устраивает то, что я узнал от вашей жены; поскольку мои планы сейчас несколько изменились, я хотел бы знать...

– Как обстоят дела у Дилуа? Жена рассказала мне все. Отличная, процветающая фирма, господин барон, с честной и доброй женщиной во главе.

- Черт! Быстро же вы ответили!
- Это сама порядочность.
- Не возражаю; может, она еще и воплощение добродетели?
- Головой ручаюсь.

– Тем лучше для вашей жены! – захохотал Луицци. Сдержавшись, он продолжил: – Извините, но я куда меньше вас верю в женское целомудрие; вы видите женщин главным образом в день подписания брачного контракта; да, тогда – любовь, восхищение и заверения в преданности, но затем...

- У вас есть основания полагать, что госпожа Дилуа...
- Судите сами.

Здесь он поведал господину Барне все о своем ночном приключении, не переставая смеяться – и над собой в том числе. Гнусная уловка, которая обагрывает руки палача, словно он и сам тоже ранен.

- Никогда бы не подумал! – воскликнул нотариус. – Никогда и ни за что! Как? Шарль?
- Да-да, Шарль, а я в это время, как часовой, охранял их покой...
- И вы вошли затем обратно...

– Да, но, клянусь честью, просто так; уже в достаточной степени противно замещать мужа, чтобы тянуло занять место после любовника.

– Любовника! Госпожа Дилуа – и любовник! – повторял ошеломленный нотариус.

Луицци пришел в совершенный восторг от своей проделки; развалившись в кресле, он продолжал:

– Да, старина, я всего три дня в Тулузе, но вы и представить не можете, сколько я узнал о безупречных женщинах!

– Кто бы мог подумать? – не успокаивался господин Барне. – Ну надо же, малыш Шарль... Боже мой, Боже мой, ох уж эти женщины!

– Похоже, данная особа с самого начала дала понять, что она будет творить в будущем...

– Вы правы; хорошую собаку узнаешь по породе, а она, говорят, родилась... Но это нотариальная тайна, это свято.

– Ах да! Вы, наверно, знаете немало любопытных секретов; в частности, и о маркизе дю Валь?

– Да! Да, но никто никогда не узнает их от меня. Несчастливая! Вот вам пример женщины, добродетельно и стойко сносившей все жизненные невзгоды!

Луицци покатылся со смеху, но промолчал. Голубая дворянская кровь не позволяла ему бросить репутацию маркизы к ногам простого буржуа; но будь перед ним самый захудалый виконт, Арман без раздумий избавил бы его от излишних иллюзий. К тому же он вспомнил, что вечером увидит маркизу, а потому ограничился одним признанием, попросив только господина Барне продать его шерсть другой тулузской фирме. Нотариус, в свою очередь, вспомнил, что пришел к барону, чтобы обговорить продажу леса, и предложил барону заключить эту сделку с неким господином Буре.

– А он женат? – поинтересовался Луицци с тем подленьким самодовольным выражением, которое превращает в оскорбление самый невинный вопрос.

– Да, на женщине, за которую я могу поручиться... Право, барон, у меня теперь просто слов нет... Но госпожа Буре считается кристально добродетельной.

– Поживем – увидим, – ухмыльнулся Луицци и распрощался с нотариусом.

Вечером Арман отправился на вечеринку, где надеялся встретить маркизу. Узнав барона, она так побледнела, что ему стало даже жалко ее. Луицци приблизился к ней, после чего они уединились в углу салона; бедняжка едва могла говорить. Луицци предположил, что она волновалась от того, что за ними наблюдали.

– Желаете ли вы меня выслушать? – спросил он.

– Да, поскольку я хочу просить у вас о милости.

– Что ж, пожалуйста, я не жесток.

– Я знаю о вашем приключении с Софи.

– Софи? А кто это?

– Госпожа Дилуа.

– А! Госпожа Дилуа! Ну как же, как же...

– Умоляю вас именем Господа, не говорите о нем никому!

– По правде, вовсе не о госпоже Дилуа я хотел бы думать, находясь рядом с вами; разве у меня нет права удивляться вашему отказу видеть меня после...

Теперь маркиза покраснела до корней волос:

– Арман, – с трудом проговорила она, – я умру скоро... надеюсь... да-да, надеюсь... Тогда вы все узнаете...

Страшная надежда так воодушевила маркизу, что Луицци опять почувствовал к ней жалость.

– И не ищите встреч со мной! – продолжила она.

– Но как же...



– На коленях, на коленях прошу вас исполнить мою последнюю просьбу.

Помутнение разума, уже знакомое Луицци, казалось, вот-вот вновь завладеет маркизой; потому он ответил:

– Хорошо, обещаю вам.

– Обещайте также, – промолвила она, слегка успокоившись, – никогда и ни с кем не говорить о госпоже Дилуа.

Луицци, полагая, что он еще успеет остановить пущенную им сплетню, пообещал и это.

Люси тут же удалилась, тепло провожаемая учтивыми приветствиями мужчин, толпившихся у дверей салона. Они вежливо расступились, словно давая дорогу святой и благородной персоне, которой они не осмеливались даже высказать испытываемое ими благоговение. Луицци остался на месте, погруженный в собственные мысли.

Компания молодых людей рядом с ним шепталась о чем-то, непрерывно посмеиваясь. В этот момент к барону подошла хозяйка дома, назвав его по имени.

– Бог мой! – воскликнул один из юнцов. – Так это же герой истории с Дилуа.

У Луицци исчезли всякие сомнения в том, что его рассказ Барне стал предметом пересудов, и неожиданно для себя почувствовал острое сожаление о содеянном; затем он начал прислушиваться к разговорам, притворяясь, что заинтересован совсем другим.

– Однако ну и болван же он! – донеслось до Луицци. – Уж я бы не ушел просто так, не доказав малышке, что так не издеваются над порядочными людьми.

– Зато Шарлю, похоже, повезло, – рассмеялся другой голос, – ведь эта купчиха очень даже аппетитна.

Беседа еще довольно долго продолжалась в том же духе, и Луицци вскоре пришел к выводу, что сам сплеховал и все угрызения его совести просто смешны. Вполне естественная цепочка размышлений привела его от госпожи Дилуа к последней сцене с Люси, и он уверился, что сначала его бесстыдно завлекли, а затем превратили в игрушку в руках откровенного притворства. Тем временем разговор по соседству также перекинулся на маркизу, и расточительный оркестр похвал в ее адрес опять повернул течение мыслей Луицци и вверг его в невыносимое беспокойство. Чтобы избавиться от него, барон удалился, полный решимости обратиться к своему потустороннему осведомителю и любой ценой выяснить, что же произошло на самом деле.

Луицци рассчитывал оказаться в одиночестве, но в гостинице его ожидал посетитель – господин Буре, богатейший владелец кузниц в окрестностях Тулузы, о котором барону рассказывал нотариус. Господин Буре был уже немолод, но лицо его дышало крепким и ровным здоровьем, которое поддерживалось трезвым и деятельным образом жизни. Четкость и основательность его предложения произвели на барона самое благоприятное впечатление; он благосклонно выслушал изложенный господином Буре план совместного предприятия и охотно согласился немедленно посетить его владения. Луицци к тому же вполне устраивали несколько дней передышки и возможность выбраться на какое-то время из захватившего его круговорота. Он начинал сознавать, что в основе его приключений лежит какая-то тайна. Ему никогда не приходилось встречать подобных характеров и испытывать похожие ощущения, а потому захотелось поразмышлять в спокойной обстановке.

Когда господин Буре и Луицци расстались, времени для столь желанного объяснения с лукавым наперсником уже не оставалось, поскольку предстояло отправляться в путь почти немедленно. Два часа спустя барон уже катил в почтовой карете, а утром следующего дня вошел в дом господина Буре.

После поспешного завтрака, не дав барону и минуты, чтобы отдохнуть с дороги, господин Буре провел его по своим цехам; только в три часа дня, к обеду, они вернулись в дом фабриканта.

За столом собралась вся семья; Луицци с интересом посматривал на госпожу Буре: то была очаровательная, изящная, привлекательная женщина, светившаяся какой-то ясной безмятежностью. Здесь же присутствовали ее родители и свекор со свекровью; две дочки пятнадцати и шестнадцати лет льнули к матушке – застенчивые комнатные цветочки, предназначенные для чистой и непорочной жизни, не имевшие ни малейшего понятия о зле, неведомого в этой семье.

Ожидали еще брата госпожи Буре; при Империи он дослужился до капитана и яро ненавидел все связанное с Реставрацией. Казалось, он не должен испытывать особых симпатий к дворянскому отродью; тем не менее он приветствовал барона де Луицци с чистосердечной доброжелательностью. За обедом рассуждали только о делах. После трапезы господин Буре и его шурины вернулись к своим обычным занятиям, а Арман остался с госпожой Буре, родителями супругов и девицами. Все занялись своими домашними делами или уроками, и Арман, загородившись толстой газетой, принялся наблюдать, с какой дочерней и материнской заботой госпожа Буре хлопотала о своих близких. Луицци восхищался ее услужливой и покровительственной предупредительностью и, будучи крайне впечатлительным, решил, что перед ним живой образец по-настоящему благословенного семейства. А главное – госпожа Буре казалась ему самым воплощением женщины, чье сердце так переполняли добрые чувства, что они распространялись вокруг нее, словно вода, которая беспрерывно поднимается по невидимым желобам, переливается через край широкой чаши фонтана и обдает вас чистыми, прозрачными струями. Луицци тихо радовался этому зрелищу и вечером удалился в свою комнату с умиротворенным сердцем. Прошедший день так резко отличался от предыдущих, что ему доставляло неопишемое удовольствие перебирать его малейшие подробности.

«Какая женщина! – восхищался он. – Какая изысканная красота! Какая грациозная простота! Надо полагать, никто никогда не вздумает нарушить спокойствие и безмятежность ее души; это далеко не маркиза и не госпожа Дилуа...»

Мысленно произнеся эти имена, Арман вспомнил о своем намерении проникнуть в тайны их обладательниц. Он долго колебался, так как в глубине души чувствовал, что испортит свое доброе и прекрасное настроение. В конце концов то, что сдерживало его любопытство, послужило толчком к его удовлетворению. «Долго я еще буду дрожать перед этой нечистой тварью? – возмутился барон. – Раз уж я решил познать самые мрачные закоулки человеческой жизни, то неужели отступлю перед зауряднейшей историей падения двух недостойных женщин?»

Луицци резко встал, как следует запер дверь и звякнул волшебным колокольчиком; лукавый предстал перед ним. Он был в парадном наряде щеголя, из тех, что всегда пахнут хорошими духами, снисходительно смотрят в монокль, говорят с ленивой зевотой, словно карпы, хватющие мошкарку с поверхности воды. Казалось, он раздосадован; поглядев сквозь монокль на Луицци, он издал уже знакомый барону пренебрежительный смешок.

– Ну, – спросил Дьявол, – чего ты хочешь?

– Хочу знать все о жизни маркизы дю Валь и госпожи Дилуа.

– Хм, это весьма длинная история...

– Времени у нас достаточно!

– И что это тебе даст?

– Познание женщин!

– Узнать тайну двух женщин – и все. Ха! Вы, мужчины, совсем потеряли рассудок. Вы воображаете, что жизнь состоит сплошь из любовных приключений. Добродетель женщины, милостивый государь, есть величина переменная. Женщина может споткнуться, а то и упасть по самой незначительной с виду причине, но вовсе не по своей вине!

– Мне кажется, что поведение маркизы дает мне основания полагать...

– Что она распутничает напропалую, не так ли?

- Ну да. Отдаться после часовой беседы мужчине...
- Которого она знала в течение многих лет. И он любил ее, как уверял... А если бы она отдалась первому встречному?
- Это подобает только публичной девке!
- Не всегда.
- Ну тогда – полоумной!
- Вовсе нет. Слушай внимательно; ты изумленно вдыхаешь царящую здесь атмосферу добродетели. Ну-ну! Я хочу рассказать тебе один небольшой анекдот, который докажет, что ваша манера судить о женщинах по меньшей мере глупа, даже если исходить из ваших, человеческих, понятий.
- Речь идет о госпоже Буре?
- Да.
- Вот, должно быть, абсолютно чистая женщина.
- Увидим.
- Что, она разок согрешила?
- Не знаю, не знаю; но думаю, госпожа Дилуа совершила большую ошибку, не уступив твоим домогательствам.
- Ты так считаешь, демон?
- Нет, она будет так считать.
- Хотел бы я знать, что ты имеешь в виду.
- Лучше я расскажу тебе о госпоже Буре.
- А при чем тут госпожа Дилуа?
- Это моя манера. Научиться судить одних людей легче всего, изучая других. Если ты станешь политиком, вспомни, как ты относился к любимому государю, тогда ты будешь справедливым к властелину, которого ненавидишь, *et vice versa*<sup>1</sup>. Если ты женишься, не забывай своего мнения о женах твоих друзей, тогда тебя не огоршит супружеская неверность. Если возьмешь и купишь любовницу, припомни, сколько ей платили до тебя, и не забывай, что ты содержишь ее и для других. Не будь глупцом и не считай себя исключением: все люди рождены, чтобы сначала лгать отцу, затем обрести рога и, наконец, разочароваться в собственных детях. Те, кто ускользает от общей участи, слишком редки, чтобы ты знал хотя бы одного.
- Госпожа Буре изменила мужу?
- Смотря что называть изменой. Она оказала ему огромную услугу.
- Наставив рога!
- Держу пари, скоро ты изменишь свое мнение.
- Сомневаюсь.
- Действительно, ни одно живое существо никогда не убедит тебя в обратном. Приключение госпожи Буре – тайна до гроба, и узнать ее ты можешь только от нее или от меня. Это небольшая драма с участием двух действующих исполнителей, так как, говоря человеческим языком, я не числюсь в списке персонажей, хотя на самом деле всегда немного вмешиваюсь в развязку подобного рода пьес.
- Ну ладно, приступай; я слушаю, – заторопил его Луицци.

---

<sup>1</sup> ... и наоборот (лат.).

## V

### Ночь третья

#### *В дилижансе*

И Дьявол начал свой рассказ:

– Темным вечером пятнадцатого февраля 1819 года путешественники толпились во дворе почтово-пассажирской конторы в ожидании отправления. Кучер с фонарем и списком в руках вызвал госпожу Буре. Услышав свое имя, к дилижансу, отправлявшемуся в Кастр, приблизилась женщина и ловко поднялась в двухместное купе. Она была весьма привлекательна; к тому же, поднимаясь, она невольно показала рослому красивому молодому человеку, стоявшему рядом, безукоризненного изящества ножку; затем она обернулась, чтобы принять из рук кучера небольшой сверток, и таким образом юноша увидел округлое розовое личико и белоснежную улыбку. Так пришла беда! В одно мгновение юноша снял с головы фуражку и выбросил недокуренную сигару. Изысканно-вежливо он спросил у госпожи Буре, все ли ее вещи на месте, и после утвердительного ответа устроился в том же купе и при свете фонарей принялся внимательно разглядывать соседку, словно желая убедиться в возможности победного наступления. В самом деле, в такую совершенно непроглядную ночь юноше было бы трудно получить представление о спутнице, находясь уже в пути. А поскольку он являлся артиллерийским офицером и был чрезвычайно силен в вопросах оперативной тактики, то он скорее всего не сделал бы и шагу вперед, не произведя предварительной рекогносцировки театра военных действий, на котором собирался пустить в ход свои батареи; конечно, без разведки опасения попасть в сладкие объятия старухи заставили бы его быть более осмотрительным. Но он прекрасно видел, что госпожа Буре молода, симпатична и отнюдь не сурова. И потому, как только экипаж пересек предместья и покатил по пустынной дороге на Пюилоренс, он начал потихоньку сближаться с соседкой. Во-первых, он заметил, что она легко, не по погоде, одета, и сбросил свое замечательное новое пальто, дабы она смогла укутать им ноги; он принялся за расспросы, но вскоре обнаружил, что сам отвечает на вопросы госпожи Буре. И правда, они не проехали и одного лье, как она уже знала, что зовут его Эрнест де Лабит, что он служит в гарнизоне Тулузы, но рассчитывает в ближайшем будущем покинуть этот город и податься на север. Дело, по которому он ехал в Кастр, могло занять его самое большее на час, и посему он рассчитывал вернуться в Тулузу обратным рейсом.

Выяснив все эти обстоятельства, госпожа Буре немного расслабилась, благосклоннее принимая заботы офицера, чем поначалу, то есть стала как бы менее бдительной. Холод – великолепный союзник в подобного рода делах, и Эрнест де Лабит довольно ловко воспользовался его подмогой.

«Бог мой! Сударыня, вы, должно быть, не привыкли к путешествиям в одиночку; разве можно пускаться в дорогу с такой беспечностью! Вам нечем даже прикрыть шею. Здесь у меня есть несколько шелковых шейных платков, мой денщик положил их в сумку; позвольте предложить вам один из них».

«Благодарю вас, сударь, вы необычайно любезны».

«Ошибаетесь, сударыня. Я крайне редко оказываю такие знаки внимания, которые бросают честного мужчину к ногам первой встречной женщины».

«Ваше отношение ко мне говорит об обратном».

«Напротив, оно доказывает, что, когда я встречаю женщину столь изящную и очаровательную, как вы, я всеми силами пытаюсь показать, каких почестей она заслуживает».

«О! – засмеялась госпожа Буре. – Ну, если вы не любезны, то по меньшей мере любите польстить...»

«Я лышу? Вовсе нет, и вы это знаете, сударыня. Вам, конечно, многие говорили, как вы прекрасны, и говорили достаточно часто, чтобы вы могли в этом сомневаться. Так что в моих словах лести не больше чем любезности».

Госпожа Буре не ответила; ее несколько смутила легкость, с которой незнакомец расточал столь явные комплименты. Эрнест выждал какой-то момент и продолжил наступление:

«Мои слова обидели вас, сударыня? Моя солдатская прямота перешла границы приличия?»

«Да нет, не то чтобы... И все же я бы попросила вас впредь использовать другие выражения».

«Сударыня, восхищение красотой так же не зависит от вашей воли, как и сама красота; и если уж оно вами завладевает...»

«То вы сами не понимаете, что говорите, не так ли, сударь?»

«Прошу великодушно извинить меня, но я все прекрасно понимаю и в доказательство добавлю, что вы не только милы, но и весьма умны».

«Ах! – сухо заметила госпожа Буре. – Ваша милость оказывает мне большую честь таким подозрением».

«О, не сердитесь, а то я начну в этом сомневаться».

«Согласитесь, я и так весьма добра, раз слушаю вас».

«Осмелюсь заметить, у вас просто нет выбора».

«Таким образом, не за что меня благодарить».

«О, я вам очень благодарен за то, что вы здесь».

Он умолк на мгновение, продолжив затем взволнованным тоном:

«Я благодарен вам так же, как благодарен солнцу, которое освещает весь мир, чудному воздуху, которым я дышу, прозрачности ночи, которая опьяняет своей тишиной; так же, как я признателен всему, что появляется передо мной в благодатном и неземном обличье».

В начале разговора насмешливые реплики перебрасывались из угла в угол купе тоном собеседников, желающих блеснуть своим остроумием; но последнюю фразу Эрнест произнес с пылким энтузиазмом, который весьма не понравился госпоже Буре. Непроизвольно Эрнест приблизился к спутнице; на что она, желая вернуть разговор на начальные иронические нотки, ответила, не сдвинувшись с места, с легким налетом пошлости, который сочла необходимым, дабы осадить зарвавшегося пиита:

«Чрезвычайно счастлива, что могу разделить вашу признательность с солнцем и луной».

Фраза возымела свое действие, и Эрнест откинулся назад; с минуту он втихомолку кусал себе губы, после чего произнес уже менее обходительным тоном:

«Сударыня, вас не раздражает табачный дым?»

Вопрос прозвучал столь несуразно, что госпожа Буре обернулась, чтобы взглянуть на Эрнеста, хотя никак не могла его разглядеть.

«Не думаю, – холодно обронила она, – что в общественном транспорте принято курить».

Эрнест проклинал себя за глупый вопрос; в купе опять воцарилось молчание.

События поначалу так живо развивались, что Эрнест был крайне раздосадован их внезапным концом; он перебрал все возможные пути для возобновления разговора, но не нашел ни одного. «Какой же я болван! – корил он себя. – Я говорил с ней с чувством благоговения, внушенным мне встречей с непревзойденной по красоте женщиной, а она ответила мне плоской шуткой и теперь корчит из себя недотрогу. Такую ошибку мог допустить только такой неисправимый романтик, как я! Надо продолжить уговоры в прежнем галантном духе, и вскоре мы станем лучшими в мире друзьями! Эта мелкая торговка из Кастра так бережется лишь для того, чтобы подороже себя продать! Ну, я ей покажу, что почем!»

Как только Эрнест принял это решение, он тут же приступил к его выполнению; потихоньку скользя по сиденью, он приблизился к госпоже Буре и коснулся ее коленей. Женщина резко отшатнулась, воскликнув только:

«О! Сударь!»

Но сколько чувства прозвучало в этих двух словах! В них было столько достоинства и грусти, столько укоризны в адрес Эрнеста и столько возмущения! В то же время эта простая защита ясно дала понять, что госпожа Буре вовсе не нуждается в отношениях другого рода с мужчиной, казавшимся хорошо воспитанным. Эрнеста обуяли стыд и отчаяние, и он молча вернулся на свое место; он хотел снова заговорить и, несмотря на темень, с раскаянием взирая на госпожу Буре, словно она могла его видеть. В этот момент ему почудились с ее стороны какие-то легкие движения; но он не отважился узнать, в чем дело, и, чувствуя свою неправоту, не решался просить прощения.

Так они и прибыли на первую станцию. Все пассажиры дилижанса сошли. Только госпожа Буре не двинулась с места; казалось, она задремала. Эрнест также не шевелился. Вдруг кучер просунул фонарь через портьеру, чтобы взять какую-то вещь в одном из карманов, и юноша понял, что явилось причиной непонятных движений соседки: она тихо высвободила ноги из-под прикрывавшего их пальто и отодвинула его в сторону Эрнеста. Врученный им шелковый платок, которым она укутывала шею, лежал рядом с ней; Эрнест был жестоко уязвлен. Словно разрыв произошел в их часовой интрижке, и ему с презрением вернули подарки, сделанные от всего сердца.

Эрнест чуть не закричал; но госпожа Буре спала, и он не простил бы себе, если б нарушил ее покой. Не двигаясь, он продолжал смотреть на нее, пока дилижанс не отправился дальше. Как только он тронулся, Эрнест тихо подобрал пальто и аккуратно, складку за складкой, уложил на ноги госпожи Буре так легко, что она вполне имела право сделать вид, что ничего не заметила. Меж тем показалась луна, ее слабый свет пробился сквозь шторы. Эрнест старался держаться как можно дальше от госпожи Буре, но, разглядев платок, брошенный на сиденье, решил попытаться опять накинуть его на шею дремавшей женщины; это ему не удалось, и, опасаясь ее разбудить, он вернулся на свое место. Эрнест проклинал себя за то, что заставил такую прелестную женщину страдать от холода; и тут он заметил, что госпожа Буре шарит рукой по сиденью. Он тихо подложил на это место платок; она нашла его и молча повязала вокруг шеи.

«Ах, сударыня! – с неподдельным восторгом воскликнул Эрнест. – Вы ангел!»

Госпожа Буре ясно дала понять, что ничуть не спала; закутав как следует ноги в пальто Эрнеста, она промолвила с укором:

«Ну почему вы обращаетесь с незнакомой женщиной словно с какой-то искательницей развлечений?»

Эрнест не ответил. Разум его кипел от избытка чувств. Он не находил слов, чтобы выразить бушевавшие его чувства – они показались бы слишком экстравагантными, а значит, и обидными госпоже Буре. Поскольку попутчики не видели друг друга в темном купе, их лица ничего не могли сказать об испытываемых ими эмоциях, и приходилось, так сказать, обо всем говорить вслух. Наконец Эрнест продолжил в тоне шутивого гнева:

«Так вот, сударыня, я тут подумал... я поступил как неотесанный грубиян; а теперь, если я воздерживаюсь от рассказа обо всем, что промелькнуло в моем сознании, то только оттого, что боюсь рассердить вас еще больше».

«Неужели это так необычно?»

«О да! Ведь на самом деле...»

Он умолк и вдруг отчаянно произнес:

«На самом деле, мне кажется, я влюблен в вас».

Госпожа Буре живо рассмеялась; Эрнест же продолжил с простодушием и нежностью:

«Ну-ну, давайте, смейтесь надо мной, мне это больше по нраву! Я смешон, и это действительно так! Слушайте, вот здесь, только что, когда я увидел, как вы сбросили мое несчастное пальто и бедный платок... Ну и дурацкое же ощущение, скажу я вам! А еще глупее признаваться в нем; но это послужило мне наказанием, и весьма суровым, клянусь! Я был унижен, более того – несчастен!»

В голосе Эрнеста чувствовался смех, но он свидетельствовал об искреннем трепете души. Госпожа Буре успокоилась и мягко заметила:

«У вас совсем юное сердце».

«О, спасибо, что дали мне это ощутить. Хотите, я расскажу вам о том, что я думал час назад и что думаю сейчас?»

«Ну, не знаю...»

«О! Вы слишком умны и великодушны, чтобы то, что я скажу, могло вас оскорбить. К тому же во всем виноват только я».

«Ну ладно! Так что же вы думали час назад?»

«Я думал... Вы прекрасно понимаете, что в данный момент я так не считаю... Так вот, я думал, что вы из тех женщин, что отчитываются в своем поведении только перед собой... ну... из тех, что отдаются на волю случая... мимолетного каприза... разного рода обстоятельств... ради короткого приключения... ну, в общем, дают...»

«Ну хватит уже, – обрезала его сбивчивые слова госпожа Буре; в ее голосе было столько же грусти, сколько и возмущения. – Именно в эту категорию записало меня ваше нездоровое воображение?»

«О нет, сударыня, нет. Вы обворожили меня с той самой минуты, как я вас увидел. В каком бы то ни было качестве, но я хотел оставить вам самые лучшие воспоминания о случайном попутчике. Более того, это первое стремление почти не зависело от вашей красоты и молодости. Если бы моя спутница оказалась шестидесятилетней женщиной, я заботился бы о ней, как о матери; но, обнаружив вдруг такую прелестницу, я подавил это впечатление; я сбросил ваш образ с импровизированного алтаря, понадеявшись, что вы не столь совершенны, как кажетесь, чтобы попытаться понравиться вам. Я дерзнул, но ваше очарование опять победило, несмотря на мою волю; будьте справедливы: вспомните, в тот момент, когда, как вы утверждаете, я сравнивал вас с солнцем и луной, я от чистого сердца говорил, что образ ваш лучится как божий день, прекрасный, как ночь в полнолуние! И что же? Я говорил от всей души, вы же ответили холодно и рассудочно и обидели меня; я разгневался на самого себя за то, что отдался на вашу милость, и решил наказать вас грубостью сердца, сорвавшегося с цепи. Видите, насколько я откровенен и насколько искренне мое признание; этого вполне достаточно, чтобы понять, как я нуждаюсь в вашем всемилостивейшем прощении».

Эрнест умолк; госпожа Буре безмолвствовала. Она боялась собственного голоса. Ей не хватало искушенности, чтобы сказать что-нибудь абсолютно естественным тоном. Чтобы прервать молчание и дать себе время на передышку, она решила позволить Эрнесту говорить дальше:

«Итак, вы поведали о своих недавних мыслях, а что вы думаете сейчас?»

«О! В данный момент меня обуревают еще более сумасшедшие и, наверное, более греховные мысли, но они никак не могут вас оскорбить; так вот, мне придется признаться в мимолетной мечте, из тех, что сами собой возникают в голове и которые можно простить, потому что они рассеиваются при свете дня: так, через несколько часов исчезнет, как сон, и моя мечта».

«Ну-ну, посмотрим, о чем же вы грезите».

«Представьте себе: поняв, насколько недостойно я вел себя по отношению к вам, я не потерял всех чаяний, а вернее, всех желаний».

«Как? Вы до сих пор надеетесь...»

«Позвольте мне разъяснить, что творится в моих мыслях и сердце. Не то чтобы я надеялся – это не совсем верно; но сказать, будто я уповал на нечто абсолютно невозможное, – это тем более неправда. Под невозможным я имею в виду свое желание внушить вам некую сумасшедшую идею или некую прихоть, которая окажется сильнее вас и бросит в мои объятия. Понимаете, все мои чувства были столь безрассудны, что я не знаю, право, можно ли изложить их яснее. Эта женщина, что сидит напротив, – думал я, – должна любить нечто необычное, у нее наверняка есть какая-нибудь исключительная страсть. Может, ей не чужда поэзия; весьма вероятно, она из тех женщин, что всю душу отдают искусству, опасаясь сокровенного влечения к любви; если чудесный и священный язык поэзии умерял порой ее страдания или пробуждал ее истинные желания, то как было бы приятно заявить ей как бы между делом, что я Байрон или Ламартин и что я давно уже тайный наперсник ее души, внушить ей в час сладкого забытья, что она близка с мужчиной своей мечты! Если же она без ума от музыки, то я назвался бы Россини или Вебером; если она – художница, то какое счастье было бы прикинуться Верне или Жироде! Как же вам это объяснить? Я выстроил между нами эфемерный мост и воображал, что если бы я был великой личностью, то не встретил бы вас только ради того, чтобы покинуть, сказав: «Прощай», как всем остальным. Вот так, сударыня; впрочем, похоже, я совсем потерял голову; но думаю, что если бы вы оказались религиозны, то я захотел бы быть ангелом».

«Н-да, вы самый настоящий безумец; и все ваши грезы совершенно тщетны, поскольку, будь вы хоть Вебером, или Байроном, или даже херувимом во плоти, вы не обнаружили бы у меня никакой исключительной страсти, которую вообразили. Я обыкновенная женщина, весьма заурядная, уже давно смирившаяся со своей долей – быть счастливой в посредственности. Как видите, все ваши мечты, так же как и нездоровые предположения, далеки от реальности».

«Вы правы, сударыня... И все-таки вы необычная женщина. Не знаю почему, но вокруг вас витает атмосфера какого-то утонченного очарования, неуловимая, быть может, для вашего окружения, но обворожившая мое сердце. Просто вас никто не знает по-настоящему, а может быть, вы сами себя не понимаете... Вы любили когда-нибудь?»

«О! Нет!»

Слова эти вырвались из глубины души госпожи Буре как бы против ее воли; она произнесла их с таким ужасом, что стал очевидным ее вечный страх перед самой собой. Она хранила сердце в неприкосновенности, не в силах отдать его ни высокой любви, ни греховной связи. Своими словами она как бы говорила: «Я не любила, поскольку всегда на страже – иначе я любила бы слишком много».

По крайней мере, так понял ее Эрнест.

«Ах! Так вы не знаете, что такое любовь! – воспрянул он. – Что ж, тем лучше! Вы полюбите – меня!»

«Это уже больше чем безумие».

«О! Вы полюбите меня, это я вам говорю. Я молод, богат, свободен; военная служба для меня только скучное и бесперспективное занятие, которое я могу бросить в любой момент, и все силы, что я отдавал набившим оскомину учениям и еще более приевшимся развлечениям, все жадное рвение юного сердца к приключениям я приложу к поискам вашей благосклонности; восторгаясь вами и обожая вас, я не отступлюсь, не добившись своего. Как видите, сударыня, я готов променять бесцветную жизнь, состоящую из шагистики, математики, смотров и кофе, на красивый рыцарский роман, может быть, единственный в наше время! В этом тесном купе вы – прекрасная незнакомка, случайно повстречавшаяся бедному рыцарю, который блуждает в дремучем лесу и который посвящает ей тело свое и душу. Через несколько часов мы расстанемся, причем мне не известно, где вас найти. Я честно дам вам уйти, будьте спокойны; но затем я легко сориентируюсь и пойду по следу, руководствуясь не впечатлениями изумительных ножек, а ароматом изысканности и счастья, который вы оставите после себя. Я не буду



трубить в рог под стенами неприступных замков, но проникну во все салоны; не буду искать вас на пышных рыцарских турнирах, но буду ждать вас на всех приемах и вечеринках; думаю, бесполезно высматривать ваш желанный силуэт в стрельчатом проеме какой-нибудь высокой башенки, но настанет день, и после долгих поисков я обнаружу его на балконе, полном цветов, или за двойным окном с тонкими стеклами, и тогда останется только добраться до вас. Вас будут защищать муж, отец и брат; придется идти в обход, делать подкопы и брать с бою крепостные валы, галереи с навесными бойницами, башни, заточившие мою милую; никакие редуты не устоят перед моим натиском, и я паду к вашим ногам, сказав лишь: “Это я; я люблю вас, люблю безумно; берите мою жизнь, дайте только поцеловать вашу руку”».

«Какое воображение! Какие безумные фантазии!»

«Однако я претворю их в жизнь».

«Оставим это; вы можете говорить здраво?»

«Как раз сейчас я произнес самые здравые слова; в любом случае это серьезно».

«Уж не собираетесь ли вы убедить меня в этом?»

«Сегодня? Нет. Но очень скоро, когда я найду вас вновь, когда вы обнаружите меня на вашем горизонте, непрерывно кружащим вокруг, как спутник, захваченный в плен олепительной звездой, вот тогда вы поймете, что я не кривил душой».

«Но, сударь, даже если бы я была настолько безрассудна, чтобы вам поверить, то и тогда я сочла бы ваши проекты сумасбродными».

«Вы правы – сегодня. Но увидев, что я их осуществил, вы скажете, что, пожираемый страстью, я и не мог поступить иначе».

«По правде, сударь, мы ступили на неизвестные мне земли. Неужели только потому, что я имела несчастье встретить вашу милость, я отныне приговорена к пожизненным терзаниям? И если, по вашему примеру, говорить серьезно, то по какому праву лишь ради придания своему существованию рыцарского блеска, своей праздности и роскоши романического интереса вы собираетесь взбаламутить всю мою жизнь с ее привычками и обязанностями? По какому праву вы хотите разрушить мою репутацию? Ведь никто же не поверит, что человек, которому не давали повода надеяться, преодолел столько препятствий только из недостатка развлечений. Вы же хорошо должны понимать, что если я вас слушаю, то только потому, что мне кажется, будто вы читаете мне вслух любовный роман, который я не без удовольствия слушаю, закрыв глаза».

«Неужели вы думаете, я не дойду до развязки?»

«Я очень рассчитываю на это».

«Вы ошибаетесь, сударыня, клянусь честью: рано или поздно, но я дойду до конца».

Госпожа Буре, открыв окошко, крикнула фореитору:

«Остановитесь! Остановитесь!»

«Что вы делаете, сударыня?»

«Я хочу немедленно покинуть купе, милостивый государь. Я пристроюсь в багажном отделении на чемоданах, там мне будет удобнее, чем здесь».

«Что ж, выходите, если вам угодно; но я принял решение и еще раз клянусь, что разыщу вас рано или поздно».

Госпожа Буре закрыла окошко и с деланным облегчением, которому противоречил дрожащий голос, отозвалась:

«Признаюсь, вы меня заразили своим безумием. Я вам верю... Я перенервничала... Вы испугали меня... Я забыла, что все это не более чем шутка... Довольно, сударь, заканчивайте вашу волшебную сказку; она весьма меня позабавила».

«О! Не смейтесь, сударыня, все равно я уже люблю вас достаточно сильно, чтобы не обращать внимания на оскорбления и насмешки. Вы еще не верите, но у вас на сомнения осталась одна ночь, а у меня на доказательства моей любви впереди целая вечность!»

«Как, сударь, вы опять?»

«Сударыня, где бы и когда мне ни довелось повстречаться с вами, я буду говорить о тех же чувствах и на том же языке».

«Так вот, сударь, – вдруг решила госпожа Буре, – я тоже буду говорить абсолютно серьезно... хотя и стыжусь этого. Предположим, вы не преувеличиваете; предположим, вы и в самом деле так влюбились, а вернее – вам настолько нечего делать, что вы выполните все, что задумали; но неужели вы думаете, что я не найду защиту? Милостивый государь, я замужем за человеком чести; у меня есть брат, ветеран сражений за славу Империи; мне кажется, что будет несколько неосторожно с вашей стороны вынудить их встать между нами».

«О сударыня! Ищите себе какой угодно защиты, но лучше не чините мне препятствий, которые в мои годы и при моей отличной форме только распалят меня. Угрожать любовнику мужем, офицеру Реставрации наполеоновским солдатом – значит только обострить борьбу и вызвать дуэль, это все равно что заставить меня наступать».

Эрнест произнес эти слова просто и естественно, и госпожа Буре почувствовала, что все это не пустое бахвальство.

«Сударь, я не угрожаю, я не то хотела сказать. Вы вынуждаете меня обороняться, и я делаю это как могу. Не сомневаюсь, у вас хватит смелости и самолюбия, чтобы из-за одного слова поставить на карту свою жизнь; но столь легкомысленная любовь не стоит того».

«Конечно, она стоит больше, чем одно слово».

«Вы проворны; у вас на все есть ответ. Ну что ж! Сударь, я хочу задать вам вопрос; поклянитесь, что ответите от чистого сердца...»

«Честное слово дворянина – обещаю».

«Если я вам расскажу о себе; если наглядно разъясню, как юношеское сумасбродство может навсегда скомпрометировать уважаемую женщину; скажу, что ваше вторжение в наш маленький мир будет из ряда вон выходящим событием, а ваши преследования приведут к скандалу, после которого я, безусловно, погибну под градом насмешек и сплетен – откажетесь ли вы тогда от своих намерений?»

После долгих раздумий Эрнест ответил:

«Нет...»

«Нет?»

«Нет, сударыня; вы похитили мою жизнь; выйдя из дилижанса, вы заберете ее с собой; а потому я имею право на вашу – это роковой закон любви; я буду страдать за вас, вы – за меня... Нас объединит боль – столь же священная связь, как и счастье. Я заставлю вас смириться с ней».

Госпожа Буре содрогнулась от непоколебимой решимости в голосе Эрнеста; при мысли о том, что ее ждет, у нее закружилась голова: она мысленно представила полное тревог и страданий будущее, которое начертал ей этот безумец, и в полном отчаянии воскликнула:

«Ну как же мне избавиться от вас, сударь?»

Искренняя и глубокая безысходность, прозвучавшая в ее голосе, тронула Эрнеста, но только на мгновение.

«Честно говоря, – отозвался он, – я не могу выразить словами то необъяснимое чувство, что пронзило мне сердце, как только я вас увидел; но это чувство настолько непреодолимо, что просто невозможно, чтобы оно не было предопределено свыше. Это судьба. Вы должны принадлежать мне».

«Но, сударь!»

«Да, потому что я посвящу всю мою жизнь достижению этой цели, или же здесь вы освободитесь навсегда от бесконечных преследований».

«Я даже не смею понять вас...»

«Так слушайте же, сударыня, слушайте: когда мы станем одинокими и равнодушными ко всему, воспоминания о прошедшей юности согреют и осветят нежной улыбкой нашу жизнь; но из всех воспоминаний, что белокуроми головками счастливых детишек резвятся в наших поседевших головах и теплыми ручонками прикасаются к обледеневшим сердцам, из всех этих воспоминаний самыми живыми и упоительными явятся не те, что отняли у нас целые годы, смешали горе и радость, оставив на память лишь слова. Самыми яркими будут воспоминания о моментах неслыханного счастья, что воспламеняются подобно пожару, освещая и обжигая наше серое существование в течение нескольких часов, и когда костер желаний наконец угасает, мы забываем, сколько усилий потратили, чтобы его разжечь, и не отчаиваемся, что от него остались одни угли. Не случилось ли вам когда-нибудь в ночной тиши или в жаркий полдень бродить в одиночестве в лесной чащобе или на берегу озера и услышать вдалеке волшебную гармонию охотничьих рожков? Этот примитивный концерт, исполненный неизвестными вам артистами, эти звуки, пронзившие эфир едва ли на мгновение, – разве не дали они вам большего наслаждения, чем самые утонченные музыкальные пьесы, разыгранные в элитарных салонах при свечах или в переполненных слушателями залах? Разве не запомнилась вам та минута как момент несказанного счастья, разве не казалось вам тогда, что вы вторглись в таинство вечности? Если вы переживали подобное, то должны меня понять. Я люблю вас; я слишком люблю вас, а потому горю желанием побыстрее избавиться от этой страсти; я люблю вас так, что готов променять долгую упорную страсть, на которую обречено мое существо, на один час, один-единственный миг, одну-единственную вспышку блаженства; или вы – судьба, желанная добыча, которую преследуют без передышки, или же – сокровище, случайно найденное и оставленное на дороге, на которой мне больше никогда не бы-вать».

Эрнест умолк; госпожа Буре не отвечала.

«Вы молчите, сударыня? Вам нечего возразить!»

«А что вы хотите, милостивый государь? Что я могу еще сказать? Я позволила вам выговориться, поскольку не видела другого пути; но ваша велеречивость, которую я приписывала ординарной глупости, перешла в прямое оскорбление и недостойные угрозы».

«О! Не надо так...»

«А как еще? Вы встречаете женщину, и фантазии бьют вам в голову; а поскольку она совсем не то, что вы себе нарисовали, и, так как вам понятно, что этой женщине есть чего опасаться, вы бьете по слабому месту и утверждаете: «Вас можно погубить; отдайтесь же мне, как падшая женщина». Это отвратительно и низко!»

Эрнест, в свою очередь, умолк, но после некоторых раздумий продолжил:

«Вы правы, сударыня, должно быть, я виноват; придется мне потратить немало бесконечных дней, а скорее – лет, на доказательства своей любви, чтобы добиться от вас того уважения, что против своей воли испытывают к нешуточным чувствам. Отлично, сударыня! Да будет так! Время за меня. Оно рассудит нас и докажет мою правоту».

Вновь наступила тишина, которую прервала госпожа Буре.

«Вам нет нужды оправдываться, – довольно холодно молвила она, – пообещайте только, что откажетесь от своих намерений, и я прощу вас. Ведь вы меня не знали – я не могу обижаться на вас за это».

«Зато вы, сударыня, меня уже знаете; боюсь, я успел обидеть вас настолько, что ваше всемилостивейшее прощение – не что иное, как средство отделаться от прохвоста...»

«Хм, ну и словечко...»

«А вы можете придумать другое после всего сказанного? И могу ли я расстаться с вами, оставив такое мнение о себе?»

«Но мое мнение о вас вовсе не так сурово, как вы предполагаете. В самом деле, сударь, вы же только что хвалили мой ум и красоту; что ж, я принимаю вашу похвалу! Я так вам понравилась, что вы потеряли голову, хоть и против моей воли. Станьте же снова таким, каким

вы были поначалу, то есть вежливым и безразличным, и мы расстанемся как лучшие друзья, уверяю вас».

«Охотно верю, но не пойду на такую сделку».

«Почему?»

«Лучше бы вы не спрашивали. Может быть, я опять вас обижу как-то... Но если завтра, через несколько дней или позже вы обнаружите, что я иду по вашим следам, куда бы вы ни направились, – не удивляйтесь».

«Как, сударь, вы не отказываетесь...»

«Нет, сударыня, и не собираюсь... Но скажите, на каком свете вы живете? Что за люди вас окружают, если среди них не нашлось никого, кто втолковал бы вам, как вы можете взорвать душу и мозг мужчины? Может, вы считаете, что я ломаю комедию? Дайте руку – почувствуете жар? Слышите, как бьется мое сердце?»

Он схватил запястье госпожи Буре, и ей передался возбужденный трепет Эрнеста.

Она вырвалась и тоже принялась дрожать, но от непреодолимого страха.

«Вы испугались, – заметил юноша. – Ну что вы, не бойтесь. Голова моя пока на месте, и сердце не разбито, так как у меня есть надежда. Я вас увижу».

«Но, сударь, – воскликнула госпожа Буре жалобным голосом, в котором чувствовалось, что она верит в искреннюю решимость Эрнеста, – умоляю вас – не делайте этого! Прошу вас именем безумия, которое я вам внушила!»

«Это любовь, сударыня!»

«Хорошо, пусть так; я прошу именем этой любви, что вы скажете?»

«Скажу нет, сударыня, нет».

«Вы же погубите меня, сударь».

Она умолкла; затем дрожащим и прерывистым голосом продолжала:

«Ну будьте же великодушны... Я верю – вы любите меня. Неумолимый рок внушил вам безумную страсть; но неужели и я паду его жертвой? Неужели я так же, как и вы, должна лишиться рассудка, лишь бы избавиться от вас?»

«Ах, сударыня!» – воскликнул Эрнест, приближаясь к госпоже Буре.

«Подождите, подумайте. Что вы скажете завтра о женщине, которая забылась до того, что...»

«Завтра, сударыня, это будет сбывшейся, то есть похороненной, мечтой. Завтра между нами развернется непреодолимая пропасть».

«С ума можно сойти! А кто мне за это поручится?»

«Даю вам честное слово и отдам свою жизнь, если нарушу это обещание».

«Слушайте, Эрнест; все это так необычно и странно... я теряюсь и не понимаю больше ни что я говорю, ни что делаю... Ах! Поклянитесь, что никогда не будете пытаться увидеть меня вновь! Ведь речь идет о жизни, счастье и спокойствии! Эрнест, обещайте!»

«Да, клянусь – никогда, никогда!»

Эрнест обнял госпожу Буре, тихо прошептавшую:

«Никогда! Никогда – правда?»

«Никогда!» – заверил Эрнест.

«Господи, помилуй! Господи, сжался!»

К несчастью, – продолжал Дьявол, – третьим в купе был вовсе не Господь Бог, а я и не думал жалеть бедную женщину.

– И что делал Эрнест после прибытия дилижанса в Кастр? – поинтересовался барон.

– Этот прохвост держал свое слово ровно один час; он позволил госпоже Буре уехать, не преследовал ее и никого о ней не расспрашивал.

– Ну, а потом?

– Потом? Он знал, что госпожа Буре замужем за владельцем кузниц в окрестностях Киллана; а когда ему стало известно, что правительство решило разместить весьма значительный заказ на предприятии господина Буре, он добился от министра поручения проследить за выполнением этого заказа. По дороге ему рассказали, что семейство, в которое он собирался проникнуть, было весьма многочисленным и считалось образцом патриархальных нравов, которые еще встречаются в глубокой провинции, в отдаленных поселениях. Брат и супруг госпожи Буре принадлежали к тем суровым южным гугенотам, что строго блюли семейную добродетель. Говорили ему также о странных несчастьях, произошедших в этом доме, в том числе об исчезновении сестры госпожи Буре, обманутой девушки, которую не смели порицать, настолько она выглядела несчастной вплоть до последнего дня.

Если бы Эрнест узнал, что женщина, напуганная его безумными угрозами, всего-навсего простая потаскушка, опорочившая свое имя с ним не более чем с другими, то он, конечно, не стал бы так настойчиво ходатайствовать о командировке на кузницу, что принадлежала семейству Буре. Но такую женщину, как ему описали, Эрнесту захотелось погубить окончательно, так, чтобы она забыла и думать о ком-то, кроме него, он желал завершить свою баталию окончательной победой. Гордость обольстителя подстегивалась к тому же кичливостью молодого офицера: ну как же – ведь перед ним брат и муж, которые славятся крутым нравом, и разве не трусость – отказаться от преследования сестры и жены таких грозных врагов? Здесь речь шла уже о чести и достоинстве господина Лабита. По крайней мере, он себя в этом убедил. Эрнест посчитал себя влюбленным до такой степени, которая вполне позволяла ему нарушить данное обещание, и решил, что и госпожа Буре точно так же будет иметь индульгенцию во имя истинной любви и потеряет всякое понятие о чести.

К счастью для госпожи Буре, новость о назначении господина Лабита прибыла на кузницу раньше него, и, когда он представлялся, она смогла принять его с отменно сыгранным спокойствием и вежливой непринужденностью, внушив гостю мысль, что он был бы глубоко неправ, если бы сдержал свое слово. Эрнест остановился в Киллане, но госпожа Буре пригласила его на обед. Юный офицер оказался в обществе того же многочисленного и дружного семейства, что видел и ты, но которое он собирался расстроить. Седовласые старики, добрые и безмятежные, за спиной которых – праведное и благочестивое прошлое; зрелые и уверенные в себе мужчины, на которых можно положиться; скромные и чистые девочки, исполненные почтительности и скромности; и посреди всего этого семейства, как светило в центре планетной системы, госпожа Буре – само воплощение спокойствия, красоты, доброты и благородства.

Хотя у Эрнеста и не создалось впечатления, что этой достойной всяческого уважения картиной хозяйка дома хотела преподать урок юному ловеласу, он был глубоко тронут, и мысль немедленно убраться отсюда подальше возникла в его душе. Но рассудок усомнился в этой здоровой идее, выставив ее полным вздором. Эрнест посчитал даже, что вся эта святость только на пользу греховной любви, хорошо спрятанной под налетом невинности и чистоты, – интрига становилась еще более пикантной.

Наступил вечер; мужчины занялись своими делами, девочки, как обычно, ушли отдыхать, и Эрнест остался наедине с госпожой Буре.

«Органс, – обратился он к ней, – заслуживаю ли я снисхождения?»

«А вы сомневаетесь? – улыбнулась она. – Однако я должна принять кое-какие меры предосторожности для своего же спокойствия. Этой ночью пройдите по тропинке к маленькому домику в углу нашего парка; я буду ждать вас и открою вам дверь. А теперь уходите, я провожу вас; сделаем вид, что я показываю вам, как сократить дорогу, заодно я объясню, как лучше найти домик».

Счастье оказалось столь легкодоступным, что Эрнест, не обнаружив серьезных препятствий, почти раскаивался в предпринятых усилиях. Тем не менее он обещал прийти на свидан

ние. В полночь он тихо постучался в маленькую дверцу флигеля. Тут же распахнулось окошко и женский голос спросил:

«Это вы, Эрнест?»

«Да, любовь моя».

«Придется вам залезть в окно – я не смогла найти ключ от двери».

Окно находилось всего в шести футах от земли, и Эрнест без труда достал до подоконника. Но в тот момент, когда он уже подтянулся на руках и готовился спрыгнуть внутрь, он почувствовал на лбу ледяную тяжесть металла и услышал лишь несколько презрительных слов:

«Сударь, вы подлец; вы не сдержали своего слова».

Раздался пистолетный выстрел, и Эрнест замертво рухнул на землю. В этой лесной глуши полно браконьеров, и выстрел среди ночи никого не удивил. Рабочие у плавильных печей прислушались, и один из них радостно вскрикнул:

«Ага! Завтра, кажись, мы отведаем мяса!»

«Что, что?» – спросил господин Буре, совершавший последний обход.

«Один из наших, верно, подстрелил зайца, а то и кабанчика завалил...»

«Берегитесь, когда-нибудь вы опять попадетесь; я больше не буду платить за вас штраф».

Господин Буре завершил обход и вернулся домой; его жена уже давно спала или делала вид, что спит. Убийц Эрнеста разыскать не смогли, и семья госпожи Буре продолжает цвести на глазах; и ничто больше не грозит нарушить святые узы, соединяющие сестру с братом, жену с мужем и мать со своими детьми.

Дьявол завершил рассказ; после короткой паузы он обронил:

– Ну-с, что вы теперь скажете?

Луицци дал ответ только после долгого раздумья:

– Эта женщина защитила покой и счастье своих близких.

– Ценой измены и убийства! И вы называли ее честной!

– Она несчастна.

– Ну да? Непохоже! Она так хороша, так улыбчива!

– А маркиза и госпожа Дилуа... Что, в их жизни произошло что-то столь же ужасное?

– Это я расскажу тебе через неделю.

Дьявол исчез, оставив Луицци в полном недоумении.

## VI ВИДЕНИЕ

Луицци, уезжая из Тулузы, приказал пересылать ему письма, что придут в его отсутствие; таким образом он надеялся вовремя получить сведения о последствиях своей болтливости и был готов вернуться, если что-нибудь стрясется, в любом случае – либо для того, чтобы опровергнуть пущенную им сплетню, либо для того, чтобы ее подкрепить. Таковы мужчины, или скорее такими их сделало общество, в котором мы живем. Если бы госпожа Дилуа пришла к Арману просить прощения, то Луицци вызвал бы на дуэль любого ради ее честного имени; но если бы господин Шарль потребовал, чтобы барон отрекся от клеветы, он стал бы драться, доказывая, что госпожа Дилуа имеет любовника. И если вы поинтересуетесь у любого благовоспитанного мужчины, что он думает о таком поведении, то он подтвердит, что сделал бы то же самое; он назвал бы подобный образ действий отважным и достойным. Но если вы способны заглянуть поглубже, то ясно увидите, что это поведение происходит от весьма небольшой храбрости и весьма непроходимой тупости. В конце концов, после долгих размышлений Луицци уверил себя, что все им рассказанное о госпоже Дилуа останется только одним из тех слухов без особых последствий, которые время от времени расползаются по обществу, чтобы вскоре раствориться в тысячах пересудов такого злоречивого и богатого на сплетни города, как Тулуза.

В то же время Луицци пребывал целиком во власти услышанного от Сатаны. В первый раз он обладал тайной, через призму которой мог, так сказать, наблюдать за женщиной и видеть ее в истинном свете. Это побудило его повнимательнее присмотреться к госпоже Буре. Арман пытался уловить на ее лице тень задумчивости или угрызений совести, поймать одно из тех внезапных возвращений к прошлому, когда взор и мысли приковываются к воображаемым призракам и человек застывает в неподвижности, пока звук чужого голоса или прикосновение чьей-то руки не предупредят его о том, что он не один, и не заставят набросить на жуткие воспоминания, что явились словно привидение, завесу улыбки или вуаль удачной шутки – эти милые покровы, прячущие кровавые преступления.

Но ничего похожего Луицци не заметил в невозмутимо ясном взоре госпожи Буре, ни разу не затуманившемся в течение тех дней, что он наблюдал за ней. Женщина была одинаково добра, приветлива и уравновешена, и порой барона одолевали сомнения в правдивости Сатаны; иной раз уверенность в себе и спокойствие госпожи Буре возмущали Луицци до такой степени, что он чуть было не произносил имя господина де Лабита в ее присутствии. Барон вполне мог бы заговорить о нем, как о своем хорошем знакомом, засвидетельствовать свои сожаления по поводу его безвременной кончины и отнести знакомство с де Лабитом к тем дням, которые заставили бы дрожать виновную. Луицци не поддался этому искушению: он стойко молчал по причинам, которые оказались бы вполне уважительными, если бы он захотел объяснить свои чувства, но очень скоро Дьявол разбил все иллюзии барона на чей бы то ни было счет и преподал суровый урок на тему «благородной сдержанности». Луицци получил его при следующих обстоятельствах.

Дня через три или четыре после приезда Луицци застал семейство Буре в обычный час; но на всех без исключения лицах было нарисовано неприятное волнение. Барон решил, что он сам тому виной: как и многие другие, он приписывал своей персоне столь большое значение, что считал себя центром всех, даже самых малозаметных, событий. Луицци предположил, что семью, в которой подрастают две очаровательные девушки, охватило беспокойство из-за присутствия такого красавца, как он. Но первые же услышанные им слова разрушили столь лестный для его самомнения вывод.

– Вынужден вас покинуть, – предупредил барона господин Буре. – Я уезжаю через час; только что пришло известие о банкротстве одной фирмы, которое обойдется мне в пятьдесят тысяч франков; мое присутствие в Байонне может спасти большую часть этой суммы, а потому я не должен терять ни минуты.

Он оставил Луицци в глубине гостиной, возобновив беседу с женой и отцом. И вдруг появился бледный и возбужденный Феликс, брат госпожи Буре.

– Это правда? – возмущенно закричал он прямо с порога. – Прохвост Ланнуа прекратил платежи?

– Да, правда, – подтвердила госпожа Буре.

– Ну, наконец-то! – жестоко ухмыльнулся капитан. – Я немедленно скачу в Байонну! Я сам займусь этим!

– Прежде всего это мое дело, – возразил господин Буре.

– Разве? – отозвался Феликс.

Господин Буре знаком показал ему, что здесь посторонний, и они вышли. Госпожа Буре была в явном замешательстве, старики – тоже не в себе; только девочки, казалось, слегка недоумевали. Едва мужчины вышли, как послышался шум их возбужденных голосов; госпожа Буре выскочила к ним, старики тоже последовали за ней; Луицци остался наедине с барышнями.

– Какое несчастье! – посочувствовал он. – Я разделяю ярость и негодование вашего дядюшки; какая низость – обманывать честных людей!

– На такую мизерную сумму? – фыркнула одна из девушек.

– О чем вы говорите, сударыня? Пятьдесят тысяч!

– О, сударь! Наша семья порой теряла гораздо больше, но я никогда не видела папу и дядю в таком состоянии.

– Впрочем, похоже, дядюшка что-то такое предполагал, – заметила вторая девушка. – Он частенько повторял, что господин Ланнуа плохо кончит, и постоянно напоминал папеньке, что надо быть в курсе его дел.

– Да, удивительно! – подхватила ее сестра.

А Луицци повторил про себя ее слова: «Да, удивительно!»

На этом беседа завершилась, и вскоре вся семья села за накрытый стол.

Во время обеда опять воцарился дух общей безмятежности; но трапеза была непродолжительной, поскольку господину Буре не терпелось уехать побыстрее.

Уже перед тем как удалиться, он отвел Луицци и Феликса к окну и там пояснил барону:

– Поскольку я уезжаю, чтобы уладить одно дельце, в котором мой шурин считает себя еще более заинтересованным, чем я, он закончит вместо меня дело, которое я начал с вами, господин барон.

Луицци обменялся с капитаном поклоном, хотя, по-видимому, ни того, ни другого не прельщала перспектива взаимного общения.

Несмотря на разгулявшуюся зиму, Луицци вышел в парк на послеобеденную прогулку; вскоре он заметил слугу, ведшего лошадь под уздцы; человек объяснил барону, что идет к дверям небольшого домика, чтобы там подождать своего хозяина в начале проселочной дороги, которая сокращает расстояние от кузниц до Киллана.

Слова его напомнили Луицци рассказ Дьявола; он подумал, что это тот самый домик, у стены которого был сражен господин де Лабит. Хотя никакие следы смертоубийства конечно же не сохранились, барона охватило желание посмотреть на место его совершения. Что ж, вполне простительное и присущее многим любопытство. Каждый год толпы буржуа штурмуют королевские замки, лишь бы поглазеть на те места, где вершились знаменательные события нашей истории. Некоторые говорят, что ощущают все величие отречения Наполеона, только увидев невзрачный столик, на котором оно было подписано. Им нравится рассматривать раму уже не существующей картины. Они реконструируют ее по источенному червями дереву, вообра-



жая, что таким образом лучше поймут ее сущность. Луицци был того же поля ягода, а потому, подойдя к домику, он прошел мимо него, пересек дорогу и обернулся, чтобы рассмотреть окно, где произошла трагическая развязка приключения госпожи Буре.

Луицци углубился на несколько шагов в лес на другой стороне дороги и здесь, удобно прислонившись к дереву, погрузился в бесконечные философские размышления об этой плачевной истории:

«Вот тут, в этом самом месте, женщина осмелилась на хладнокровное преступление, на которое с опаской пойдет даже самый решительный мужчина! Однако каким же чувством чести нужно обладать, какой гордостью и самолюбием! Выходит, обдуманное движение души, которые, похоже, ничуть не смутили ее разум, достигают тех же результатов, что и ненависть, месть или ревность».

Без сомнения, будь у него еще немного времени, Луицци, основываясь на известных ему данных, построил бы вскоре какую-нибудь всеобъемлющую теорию; но тут он услышал, как приближаются капитан Феликс и господин Буре. Подойдя к порогу домика, господин Буре взялся за поводья своей лошади и отослал слугу. Затем он вместе с Феликсом неторопливо пошел по дороге.

– Так вот, – горячился капитан, – обещай мне! Никакого снисхождения! Ни капли жалости!

– Доверься моей ненависти.

– Пусть он сдохнет на галерах!

– Я сумею отправить его за решетку.

– Быть может, Генриетта узнает о его приговоре из газет и тогда наконец-то поверит нам.

– Надеюсь, – вздохнул господин Буре. – Ибо ее мучения ужасны, и если когда-нибудь откроется...

Видимо, капитан жестом остановил господина Буре, так как тот вдруг резко умолк; вскоре Луицци потерял их из виду, а затем заглохли вдали и тяжелые шаги лошади. Барон счел за лучшее вернуться в парк.

Очевидно, за всеми этими событиями и разговорами крылась какая-то тайная и страшная история. Люди столь патриархальных взглядов, задумавшие наказать человека, вина которого состояла, по всей видимости, только в том, что он попал в беду; женщина столь добродетельной внешности, имевшая на совести два столь отвратительных преступления; к тому же имя Генриетты, упомянутое в разговоре, – все это внушило Луицци непреодолимое желание проникнуть в самые сокровенные секреты гостеприимного семейства. Потому, не возвращаясь в гостиную, он предпринял длинный обходной маневр, чтобы попасть в свою комнату через дверь, которая позволяла ему незаметно пройти к себе. Аллея привела его на другой конец парка, к домику, весьма похожему на тот, от которого он только что отошел: то было жилище капитана, господина Феликса де Ридера. Здание навело Луицци новые размышления; в самом деле, он вспомнил, что никто никогда не навещал капитана, который уединялся обычно в еще не поздний час и просил подать ему ужин. Эти странности позволили Луицци предположить, что раз уж этот домик был практически копией первого, возле которого он только что прогуливался, то и в нем должны скрываться не меньшие тайны, чем гибель господина де Лабита. Эта идея настолько захватила барона, что он приблизился к зданию и обошел его кругом, прислушиваясь, как если бы до него донесся обличительный и жалобный стон. Естественно, в домике стояла мертвая тишина, и разочарованный Луицци уже решил удалиться, как вдруг столкнулся нос к носу с капитаном Феликсом.

Капитан испустил приглушенное удивленное восклицание, после чего довольно грубо выдохнул:

– Вы! Здесь!

– Да, – смутился барон, – что-то мне не по себе, вот я и вышел подлечиться свежим воздухом.

– Весьма сомнительное лекарство, – невнятной скороговоркой пробормотал капитан, пряча недовольство за деланной улыбкой.

– Для вас – может быть, – возразил Луицци, – вы выросли среди этих лесов и полей и не замечаете живительной силы этого средства; для вас оно так же естественно, как хороший стол для богатого человека, но для нас, горожан, проводящих всю жизнь в плотно закрытых помещениях со спертым воздухом, открытое пространство, где тело купается в прозрачной атмосфере, – словно сытная еда для нищего. Воздух, капитан, – это, если не считать свободы, первое чаение заключенного в переполненном тлетворными миазмами узилище, и житель трущоб и узких улочек наших больших городов, прогуливаясь на природе, чувствует себя как бедняк, случайно попавший на роскошный пир.

Капитан слушал Луицци с суровым недоверием; по мере развития своего монолога барон замечал, как растет его волнение. В конце этой хвалебной оды моциону на чистом воздухе подозрительное лицо капитана еще более помрачнело, и он ответил язвительным тоном:

– О да, конечно; но бедняка, случайно допущенного за богатый стол, того и гляди, понос прохватит. Все хорошо только в меру, господин барон, ведь вместе с бедняком за стол садится несварение желудка. В воздухе витает ревматизм, так что пора, мне кажется, уходить с банкета; холодает – не так ли?

– Вы правы, капитан, я уже чувствую, как меня пробирает сырость.

И, не мешкая ни секунды, Луицци вернулся к себе. В одиночестве он долго размышлял над своими дальнейшими действиями. Первая консультация Дьявола изрядно развлекла барона, но внесла в его жизнь некоторое беспокойство. Очаровательная безмятежность, царившая в лоне этой семьи, обдала радостью душу Луицци; но затем хрупкое ощущение счастья исчезло, и пребывание в Ла-Форж против его воли превратилось в нудное негласное расследование.

И, однако, предлагаемый барону контракт был слишком выгоден, чтобы вовсе от него отказаться; взвесив все как следует, он пришел к выводу, что будет с большей уверенностью вести переговоры, если лучше познакомится с будущими партнерами. Найдя этот благовидный предлог для с недавнего его любопытства, Луицци звякнул магическим колокольчиком, но Дьявол не явился. Барон выждал несколько минут, после чего затряс колокольчиком изо всех сил; и наконец со страшным грохотом распахнулось окно, и появился человек безобразной наружности, одетый в жуткие лохмотья; но то было не нищенское рубище, а отрепья былой элегантности, которые безошибочно выдают прислужника порока. Синеватую личину, разгоряченную от хмельной крови, сквозившей в красноватых пятнах на скулах, обрамляли длинные жирные волосы; масляная шевелюра оставила на вороте синего фрака с металлическими пуговицами широкую сальную полосу; помятая шляпа лоснилась от обработки влажной щеткой, кое-как замаскировавшей изрядное количество потертостей. Изношенный воротник из черного бархата высился над наглухо застегнутым фраком, оставляя таким образом сомнения насчет наличия рубашки; черные же штаны, чрезмерно подтянутые на одной ноге и припущенные на другой, позволяли думать, что висели они на одной-единственной подтяжке, а чудом уцелевшие штрипки скорее удерживали стоптанные нищенские башмаки, чем разглаживали складки на штанинах; все одеяние было испещрено несмываемыми пятнами; чернила тщетно пытались вычернить белые нитки штокки, а иголка не справилась с истрепанными краями. Кроме того, гость был вооружен тростью с огромным узлом на конце, утяжеленным орнаментом из множества гвоздиков.

Луицци невольно отступил, подленькая и свирепая улыбка исказила черты появившегося перед ним существа.

– Злоупотребляешь, Луицци, – прохрипело оно. – Я же тебе сказал: через неделю, а ты опять зовешь меня; короче – ты не узнаешь ничего нового о маркизе и купчихе раньше назначенного срока.

– Но я хотел поговорить с тобой вовсе не о них.

– А о ком же еще?

– Мне необходимо знать историю капитана Феликса и этого Ланнуа; почему брат госпожи Буре с таким ожесточением преследует его?

– Ну ладно, завтра.

– Нет! Сейчас же.

– Луицци, я бы посоветовал тебе принимать мои сообщения тогда, когда я считаю нужным; не вынуждай меня рассказывать тебе то, что завтра ты и не захочешь знать. Не все секреты так легко скрывать, как секрет госпожи Буре. У тебя есть еще совесть; остерегись – она может подвести тебя.

– Если нужно – совесть промолчит, и госпожа Буре яркий тому пример.

– А кстати, что ты о ней теперь думаешь?

– Фанатичное самолюбие толкнуло ее на преступление.

– Да нет, ею двигало весьма низкое и презренное чувство.

– И какое же?

– Страх.

– Страх? Страх! Сначала ты вывел меня из заблуждений насчет ее добродетели, а теперь лишаешь последних иллюзий насчет ее преступления! Ты что, намерен демонстрировать мне только безобразные стороны жизни?

– Я показываю тебе истину, как она есть.

– Так неужто госпожа Буре пошла на злодеяние из страха?

– Да-да, из того самого страха, что не позволил тебе проронить лишнее слово перед женщиной, так прекрасно умеющей обеспечить молчание тех, кто может ее скомпрометировать; из того же самого страха, который заставил тебя так резво ретироваться после встречи с капитаном около его домика.

– Слышишь ты, нечисть! – возмутился барон. – Я вовсе не трус и не раз доказывал это!

– Да, ты бравый француз, но не более того; я знаю, тебя не смутит шпага и пистолет на дуэли, не заставят отступить пушечные ядра на поле боя. Но ты, как и большинство тебе подобных, будешь дрожать перед тысячей других опасностей. Да, ты не боишься скорой смерти при ярком свете дня; но мужества для медленного угасания в неизвестности, для каждодневных страданий, но смелости, что позволяет заснуть в разверстой могиле, которая в любой момент может захлопнуться, – такого мужества и смелости тебе еще занимать и занимать.

– А кто посмеет ими похвастаться?

– Может быть, те, кому недостает отваги, подобной твоей.

– Какой-нибудь фанатичный священник...

– Или любящее дитя. Вера и любовь – две великих страсти, данных человеку от рождения.

– Я тебя звал не ради философии, но ради истории...

– Завтра.

– Нет, немедленно; я хочу знать ее...

– Мне некогда.

– Я хочу ее знать! – Луицци взялся за колокольчик.

– Ну что ж! – смирился Сатана. – Смотри сам, раз ты такой смелый.

В ту же минуту все еще распахнутое окно превратилось в дверной проем комнаты, возникшей на одном уровне со спальней Луицци. Поначалу барон не мог ничего разглядеть при свете тусклой лампы, освещавшей эту каморку; но постепенно начал различать отдельные

предметы и вскоре увидел женщину, дремавшую в широком кресле-качалке, и ребенка, спавшего у нее на коленях.

Луицци частенько встречал подобные болезненные и чахлые создания, внушавшие ему жалость и сочувствие, видал написанное на их лицах тоскливое ожидание близкой смерти и гниющие при жизни тела, но никогда зрелище, подобное тому, что предстало перед его взором, не производило на него столь сильного впечатления. Женщина была бледна, как восковая статуя, которую не успели подкрасить красками, должныими имитировать жизнь; ровный голубоватый оттенок ее юных черт прерывался только матовыми пятнами вокруг глаз; такой же бледный, худосочный, тщедушный и хилый ребенок казался бы мертвым (впрочем, даже мертвецы не выглядят столь безжизненными), если бы не его размеренное и кроткое дыхание.

Молодая женщина не шевелилась, ребенок спал, и таким образом Луицци мог созерцать их вволю; вскоре глаза его привыкли к слабому освещению и разглядели, что пол и стены комнаты до самого потолка закрыты толстыми коврами; ничто не говорило о существовании окон, дверей или камина, но в то же время язычок пламени в лампе мерцал словно под воздействием довольно сильного потока воздуха; барон рассмотрел два узких отверстия в полу и потолке и понял, откуда идет сквозняк. Кровать и колыбель располагались рядом, в одном углу; каморка была обставлена довольно добротной мебелью, казалось, что предпринималось все необходимое, чтобы сделать пребывание здесь как можно менее суровым.

Луицци внимательно вглядывался, и, несмотря на недостаток света в этом мрачном убежище, от его глаз не ускользали даже самые мелкие предметы, словно они высвечивались каким-то особенным образом; он чувствовал, что его взор, направляясь к искомому объекту, нес с собой всепроникающий заряд, который четко вырисовывал все подробности. Это явление лежало за гранью человеческого понимания, так как барон видел даже сквозь непрозрачные предметы.

От удивления он обернулся, чтобы спросить у Сатаны, что означает эта скорбная картина; но нечистого и след простыл. Луицци, рассердившись на посмеявшегося ускользнуть раба, хотел уже взять в руки свой могущественный талисман, как вдруг глубокий вздох молодой женщины вновь обратил его внимание на происходившее в комнате.

Женщина встала, уложила ребенка в колыбель и, прислушавшись на какое-то время к жуткой тишине, что как бы непреодолимой крепостной стеной высилась между ней и окружающим миром, приподняла уголок настенного гобелена, вынула из-под него книгу, затем села подле стола, пододвинула лампу поближе, открыла томик; горестно оперевшись лбом на раскрытую ладонь, она склонилась над книжкой и, казалось, целиком ушла в чтение.

Луицци благодаря сверхъестественной мощи своего зрения, от которого не ускользали малейшие детали, смог прочитать заглавие романа, которое поразило его еще больше, чем все увиденное до сих пор. То была «Жюстина», гнусное сочинение маркиза де Сада, омерзительное скопище необузданных извращений и всяческих непристойностей.

В голове барона завертелись мучительные вопросы: неужели эта еще совсем молоденькая женщина принадлежит к тем особам, что изначально отмечены роковым клеймом бесчестия и распутства? Быть может, ее заточили в этом подземелье ради того, чтобы похоронить вместе с ней отъявленную похоть разнузданной натуры? Скрывала ли она книгу де Сада от своей стражи, чтобы втайне предаваться сладкому бреду исступленного воображения? Неужели узница внушила своей семье опасения, что реализует те ужасающие неистовства, которые буйная фантазия автора извергнула на бумагу, перемешав бурлившие, как вулканическая лава, кровь и грязь? И как подобная порочность сочетается с такой молодостью?!

Захваченный этими мыслями, Луицци еще раз внимательно присмотрелся к женщине, но не увидел на чистых и подернутых затаенной болью чертах лица ничего, что подтверждало бы его предположения. Меж тем узница явно была увлечена скабрёзным чтивом; но при этом

все ее существо излучало столько страдания, что Луицци не мог обвинить ее в чем-то, а уж тем более не пожалеть.

«Бедняжка! – думал он. – Раз уж она уродилась с такой горячкой, вполне объяснимой медицинской наукой, но невыразимой нашим языком, то она просто жертва извращенных понятий о чести, во власти которых находится ее семья; если уж она так неводержана в любовных утехах...»

Вольно же было досужему Луицци не стесняться в выражениях! Но мы не имеем права излагать на бумаге его мысли столь же раскрепощенно, а вернее – нам не хватит необходимых для этого средств. Уж очень скудно наш язык передает чувства! Слишком мало имеется в его распоряжении благопристойных слов для самых естественных вещей, так что приходится исключать из рассказа множество оттенков наших ощущений и умалчивать о фактах, что самым непосредственным образом нас касаются. Если бы женщина, находившаяся сейчас перед изумленным Луицци, была дочерью Эллады, то античный поэт плавным и стройным стихом выразил бы то, что творилось в голове барона: «То Венера Пасифаи, Венера Мирры, Венера Федры, – сказал бы он, – Венера – пылкая куртизанка, воспетая неистовыми поклонниками Афродиты из Пафоса и Коринфа; то Венера-Афасита вдохнула пламенную страсть в жаждущую грудь юной девы; то Венера вонзила в ее чрево отравленную, жгучую стрелу, которая возбуждает, изводит, мутит разум и доводит до безрассудства подобно слепню, что кружит у ноздрей благородного скакуна, превращая его в непокорного, бешеного, закусившего удила зверя, заставляя его с диким и горестным ржанием нестись через леса, овраги и бурные потоки, пока не падет он истерзанным, обогранным кровью, покрытым грязью, бьющимся в предсмертных судорогах под укусами насекомого, которое грызет его, жалит и добивает».

Но в нашем бедном арсенале французских выражений маловато слов для подобных сравнений, и мы весьма приблизительно передаем мысли Луицци, заимствуя эпитеты у народа, способного представить самые сокровенные и неприглядные стороны жизни в поэтическом свете. Мы же можем только утверждать, что Луицци взирал на несчастную с жалостью, смешанной с испугом. Внезапно он заметил, как из ее опустошенных глаз выкатилось несколько скудных слезинок, заблестевших на кончиках ресниц.

Надо думать, скабрзное сочинение не содержало ничего такого печального, и, как ни изумила Луицци книга, которую бедняжка держала в руках, произведенный ею эффект поразила его еще больше. Это заставило Армана вернуться к страницам одиозного романа, и то, что он увидел, к первоначальному удивлению добавило еще большее. Между печатных строчек он разглядел буквы, написанные от руки; они четко выделялись на фоне страниц оттого, что были красного цвета. Луицци, будучи еще в плену своих скоропалительных умозаключений, загорелся желанием узнать, как молодая и красивая женщина комментирует это чудовищное произведение. Благодаря волшебной силе зрения, данной ему Дьяволом, он без труда разобрал плохо выписанные и бледные буквы; вот первая расшифрованная им фраза:

«Я излагаю историю моей жизни на страницах этой книги собственной кровью, ибо у меня нет ни бумаги, ни чернил. Я не могу затереть строчки этого омерзительного романа, подсунутого мне подлецом с целью погубить не только мою плоть, но и душу; не могу только потому, что крови остается все меньше, и едва ли мне хватит ее, чтобы завершить мою повесть и просить об отпущении...»

Луицци содрогнулся до глубины души от искреннего сострадания и горестных сожалений. «К беспрерывным терзаниям несчастной добавлена еще и такая пытка! О! Какая ужасная мука для души, вынужденной изливать свой невинный плач между строчками грязи и обращаться с молитвой к Господу на богопротивных, отвратительных, развратных страницах! Взирать на слова, на буквы, говорящие об отчаянии, с риском тут же, рядом, наткнуться глазами на низкую и пошлую гнусность! И как белоснежному горностаю удалось преодолеть длинный и узкий лабиринт, не запачкавшись в дурнопахнущей трясине! Как на эту непристойную бумагу,

отпечатанную руками нечестивцев, вылилась чистыми и нежными линиями робкая душа бедной женщины! И если она не уничтожила грязный рассказ, идущий бок о бок с повествованием о ее бедах, то только по одной-единственной причине – большой потери крови! О, бедная, несчастная!»

Так думал, бормотал и кричал Луици, охваченный сильным волнением. Но его голос был слышен только ему самому; пленница никак не реагировала, и Арман вспомнил, что она находится где-то далеко, и только сила сверхъестественная позволила ему превратиться в свидетеля. Но, вполне возможно, в силах человеческих вызвать узницу из мрачной темницы, и, чтобы приблизиться к этой цели, Луици счел нужным познать первопричины всех бед несчастной женщины, для чего ему пришлось изучить записки, лежавшие перед ней на столе; и вот что он прочитал:

## VII РУКОПИСЬ Чистая любовь

«Два раза я уже начинала эту повесть, но мой палач изымал ее. Попытаюсь вновь – и дай мне Бог дойти до конца, ибо жизнь оставляет мою душу и разум точно так же, как плоть. Я пишу и перечитываю написанное, чтобы память о былой свободе не покинула меня навсегда, и все-таки, несмотря на постоянные диалоги с прошлым, чувствую: многое забывается и путается. А я тороплюсь, чтобы оставить в этом мире хоть капельку своей души, – возможно, кто-нибудь узнает, как я любила и как страдала.

Да! Я любила и страдала! И в прошлой, утраченной мною жизни, и в моем ужасном настоящем одна чистая мысль освещала мне путь в хаосе бед, где терялся мой рассудок, – мысль о том, что я так любила и так страдала! Господи! Пока бессрочное наказание, к которому меня приговорили, еще не совсем помutilо мой разум и не стерло навсегда мою память, если истинны твои, Боже, святые слова, что многое простится тому, кто много терпел и любил настоящему, то смилуйся, Господи, позволь мне умереть, и умереть побыстрее! И пусть мое дитя...

...Но вдруг он умертвит девочку после моей смерти?! Да, он убьет ее! Значит, я должна жить. Боже, заставь меня жить! Жить во что бы то ни стало! Ибо я чувствую, что, даже если потеряю рассудок, одна мысль всегда будет властвовать надо мной: мать должна посвятить жизнь своему ребенку. Я напишу эти слова крупными буквами вверху каждой страницы этой книги; пусть глаза мои видят ее постоянно! И я никогда не смогу забыть: «МАТЬ ДОЛЖНА ОТДАТЬ ЖИЗНЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ».

Действительно, эта фраза повторялась на всех страницах. Несчастная, обернувшись к малютке, спавшей в колыбельке, уронила голову на сложенные руки; Луицци же продолжил чтение рукописи, чей текст высвечивался ему сквозь уже прочитанное, словно он держал ее в руках и переворачивал листки своей рукой. Вот что было дальше:

«Я росла под родительской опекой; в год, когда мы отпраздновали мое десятилетие, мой брат женился на Органс, которой едва исполнилось пятнадцать. Всегда добрая и приветливая, Органс стала мне как бы сестрой, и я не верю, нет, даже мысли не допускаю, что она меня предала и входит в число моих палачей. Однако она всегда дрожала перед своим братцем Феликсом, а потому порой побаивалась меня защищать; как она, наверное, сочувствовала мне! Ведь она любила меня больше, чем сестру, и иногда называла своей дочуркой. Родители мои, хотя мы и жили под одной крышей, добровольно расстались со своими обязанностями, доверив мое воспитание Органс. Следующее шестилетие не запомнилось мне ничем примечательным. Мы были счастливы – а счастье не оставляет следов. Счастье – словно весна, и, когда проходит, ничто не говорит, каким оно было, словно дерево, которое сбрасывает листья и остается голым, зато когда грозы ранят его молниями, рубцы остаются навсегда, на все оставшиеся весны.

В ту пору я была счастлива; да, счастлива, и только теперь понимаю насколько. Всею душой я верила в Бога. Резвясь вволю с невесткой, еще очень молодой женщиной, и прелестными племянницами, я видела, как мое прошлое и будущее смеются и поют рядом со мной: всеми обожаемые и веселые малютки, какой когда-то была я сама, и счастливая и любимая жена, какой я стану однажды! О, они превращали мое существование в прекрасную и восхитительную мечту! С какой нежной улыбкой я тянулась к ней, когда тихим вечером на длинной кленовой аллее грезы о будущем ворковали со мной! Мне было шестнадцать лет; все мое существо радовалось жизни. О! Как чудно и сладко свежим вечером при свете заходящего солнца прогуливаться в одиночестве на чистом воздухе, под певчий шепот птичек, звучащий

в унисон с угасающим днем; и ощущать рядом невидимое доброе существо, которое говорит: «Ты прекрасна, ты будешь счастлива, ты полюбишь, ты будешь любить!»

Любить! Любить! Какая отрада – всей душой ввериться благородному сердцу, боготворить его за щедрость, дорожить его добротой, поклоняться его святости, ибо тот, кто вас любит, свят. Возлюбленный наш, пастырь нашего сердца, раскрывший его сокровищницу, он отличается от остальных, ибо сам Господь указывает на него своим перстом и венчает своим нимбом. Так я грезила о нем, и именно таким он оказался... Леон! Леон, любишь ли ты меня?! О Всевышний! Помнит ли он меня? Они хотели заставить меня сомневаться в этом – величайшее преступление, самое страшное их преступление!

Итак, в шестнадцать лет я упивалась жизнью; да, я была прекрасна, да, неисчерпаемые силы юности переполняли меня. Сейчас, когда я – живой труп, что шатается под тяжестью собственного веса, я вспоминаю как несказанное блаженство то неизъяснимое ощущение жизни во всем моем существе. Что за волшебным воздухом я дышала! При каждом вдохе вечернего бриза мне казалось: он пьянит меня, как вино на идущем к концу пиршестве; мне чудилось: ветер наполняет мои легкие прекрасными надеждами и чаяниями. Нередко я на долгие часы застывала в томной неподвижности, предаваясь тайным размышлениям; очнувшись, я пускалась наперегонки с ветром, развевавшим мои волосы. Ловкие и крепкие ноги несли меня вперед; я хлопала в ладоши и пела, обращаясь к небу с веселой, как у жаворонка, песенкой; я слушала стук и неясный шепот своего сердца; я чувствовала, как расцветаю, и клялась, что буду доброй и хорошей, и надеялась, и верила! Я была слишком счастлива – это не могло длиться вечно.

Все переменялось в один вечер! Он встает перед моими глазами словно случился вчера; ничего не произошло, но некий страх закрался в мою душу, страх, который я сначала не поняла, а позднее беспощадно подавила. В тишине своем люди полагаются лишь на собственный разум, хотя Господь не оставил их без защиты от врагов точно так же, как животных – и самых слабых, и самых сильных. Инстинкт всегда подскажет зверю, что угроза где-то рядом: ягненок пройдет мимо привлекательного, но таящего смерть цветка, а собака издалека почует хищника, выслеживающего добычу; так и человек предчувствует скорую беду.

Именно такое ощущение охватило меня в тот вечер; сколь ни была я чиста и неопытна, но, увидев в первый раз этого человека, я задрожала, едва он представился: «Капитан Феликс, только что из армии». О! Почему я не прислушалась к своему сердцу! Почему я не дала разрастись той неприязни, что он сразу же мне внушил! Почему, когда он рассказывал о славных битвах Империи и о бедах ее падения, обо всем, что я с таким вниманием выслушивала, почему я возражала своему внутреннему голосу, говорившему: «Как он отважен и предан тому, во что верит, какое благородство и порядочность, какое мужество!»?

Почему, когда его тяжелый взгляд пронзал меня леденящим острием, когда его жесткое и черствое лицо не вызывало у меня ничего, кроме холодного безразличия, почему я уверяла себя, что это всего лишь пустое ребячество? Меж тем предубеждение было настолько сильным, что отныне надежды и чаяния, которыми жила моя душа, стали не столь безоблачными. Обитель будущего счастья не казалась уже легко доступной; теперь на пути к далекой стране блаженства мне виделись узкие тропки и всяческие невзгоды; и когда мой братец с улыбкой заявил мне, что ради еще более тесного скрепления семейных уз мне нужно выйти замуж за брата Ортанс, разве не охватил меня с головы до ног могильный холод? Разве тем самым не предупреждал меня Господь: «Берегись! Беда пришла!»

Почему я ему не поверила?!

Нет, я слышала только пустопопорожные общие рассуждения, выставлявшие капитана как добродетельного и ответственного человека, стыдившие меня за необъяснимый испуг и, казалось, обвинявшие в неуважении к благородству, чести и порядочности. Глупая! Я беспрерывно повторяла то, что мне говорили, и не могла признаться ни себе, ни другим, что именно этот



мужчина выхолостил мою душу, обломал крылья моим грезам и погасил самые вдохновенные устремления моей жизни.

Правда ли, что я сама этого не понимала? Простишь ли ты меня, Господи, за то, что, в смятении чувств, преследуемая уговорами, я позволила этому мужчине признаться в любви и ответила, что когда-нибудь полюблю его, и согласилась на будущий брак, который осчастливит наше семейство?! Ах, то был рок!

Ибо в глубине души я знала, что никогда его не полюблю.

А капитан Феликс, какую любовь он испытывал ко мне? Тогда я ничего не понимала, и это меня сгубило. Да, говорила я себе, раз моя неприязнь в отношении него происходит от враждебности всех наших чувств, то и он не сможет полюбить меня: безотчетная антипатия, что разделяет сердца двух людей, будет угнетать его так же, как меня. Я не знала тогда, что мужчина может любить женщину, как тигр свою добычу, что он готов поглотить всю ее жизнь, выпить ее слезы, насладиться ее трепетом в окровавленных когтях. Они любят, говорят они, поскольку пойдут и на преступление, лишь бы добиться обладания предметом своей страсти. Боже, разве эту дикую жажду можно назвать любовью? Разве любить не значит просто дарить счастье другому?

Итак, я обещала выйти замуж за капитана; наша свадьба должна была состояться в день моего восемнадцатилетия. Согласно этой договоренности я получила два года свободы, но, обретя привычный покой, я утратила свои прекрасные надежды. О! Почему я не пожертвовала собой до конца, почему я не вышла за Феликса сразу! Тогда я не полюбила бы Леона или же, полюбив, испугалась бы супружеской измены. Но и детское обещание посчитали столь же святым, как клятву перед лицом священника. Да, я полюбила Леона, но в том не было греха, я не желала того, я невинна. Нужно рассказать, как все случилось.

Это началось в серое воскресенье дождливого лета 1816 года, в полдень. Только я отважилась пренебречь промозглой сырой погодой. Я взяла у одной из служанок шерстяной плащ и соломенную шляпу и, не обращая внимания на непрерывный дождь, пошла навестить жену одного нашего работника, который занемог не на шутку. Едва я свернула с большой дороги к их домику, расположенному в глубине поля, как услышала оклик некоего всадника, который, увидев меня издалека, резко ускорил ход лошади. Манера, с какой он обратился ко мне, показывала, что мой наряд обманул его и он принял меня за служанку; он крикнул с развилки:

– Эй, девушка! Девушка!

Я обернулась, и он подъехал ближе.

– Чем могу помочь, сударь?

Незнакомец кротко улыбнулся и произнес, шутливо умоляя:

– Прежде всего, красавица, не вздумайте ответить: прямо, все время прямо.

– Что вы хотите сказать?

– С четырех часов утра я в пути; сто раз я спрашивал дорогу, и не было случая, чтобы мне не ответили: прямо, все время прямо. Признаться, мне это надоело, и я с удовольствием направился бы по кривой дорожке.

– Это смотря куда вам нужно попасть, сударь.

– Я еду на кузницу господина Буре.

Я не удержалась и прыснула от смеха:

– Что ж, сударь, мне очень жаль, но я отвечу, как все: только прямо, никуда не сворачивая.

Не знаю, почему я именно таким образом указала юноше дорогу к собственному дому и почему необходимость повторить столь нелюбимое им слово заставила меня говорить с легкой насмешкой; но он, в свою очередь, с торжествующей веселостью воскликнул:

– Тебе жаль? А я... я в восхищении.

Он спрыгнул с лошади и хотел приблизиться ко мне; я сообразила, что то был комплимент в мой адрес: он имел в виду, что восхищен возможностью идти рядом со мной, но я остановила его, снова рассмеявшись:

– Прямо, сударь, все время прямо, но не в эту сторону, а в ту. – И я показала ему пальцем на дорогу, с которой он только что свернул.

Услышав такой ответ, он покраснел до корней волос, обнажил голову и сказал взволнованно:

– Премного благодарен, сударыня.

Я застыла от смущения; опустив глаза под его робким и доброжелательным взглядом, я машинально ответила ему чопорным реверансом и пошла своей дорогой. Почему, стоило мне только узреть капитана Феликса, которым все не могли нахвалиться, я содрогнулась от страха? Почему я расцвела от улыбки при первой же встрече с незнакомым юношей? Почему, удаляясь, я напряженно прислушивалась, раздадутся ли шаги его лошади на указанной мною дороге? А когда я дошла до поворота, что заставило меня обернуться и посмотреть, уехал ли он? И откуда вдруг накатило ощущение счастья, когда я обнаружила его на прежнем месте со шляпой в руках? Он не сделал ни одного движения, но я чувствовала, что он не сводил с меня глаз; еще долго он стоял не двигаясь – я видела его сквозь просветы в кустарнике, окружавшем дорожку, по которой я шла; наконец, оглянувшись вокруг, он сделал какой-то жест, который я не разобрала, вскочил на лошадь и медленно удалился.

Я вышла на прогулку с легким сердцем, размышляя только о цели своего визита; в полной задумчивости я подошла к домику работника и, только увидев его жену, бедняжку Марианну, вспомнила, что пришла проведать больного.

– Я была уверена, что вы придете, – проворковала она, – и высматривала вас в окошко верхней комнаты; когда вы свернули с дороги, я вас узнала... Вы так мило беседовали с этим красавчиком на лошади...

Я почувствовала, как краснею, и поспешно пояснила:

– Ах да... Какой-то незнакомец спрашивал дорогу в Ла-Форж.

– Однако он совсем, похоже, туда не торопится... Добрую четверть часа он торчал на одном месте, словно памятник.

Реплика Марианны еще больше смутила меня; а добрая женщина щебетала как ни в чем не бывало:

– Ко всему прочему, ему очень повезло, правда? И должно быть, он весьма удивился, когда узнал, кто вы такая?

– О! Видит Бог, я ничего ему не сказала, и он принял меня за поселянку...

– Что ж, тем лучше! Если он еще будет в Ла-Форж, когда вы туда вернетесь, то уж точно остолебеет!

Тут я поняла, что скоро могу опять его увидеть, и пришла в такое замешательство, будто он уже стоял передо мной. Марианна наверняка заметила мое волнение и забеспокоилась:

– Что, этот господин как-то вам нагрубил?

– Да нет, что вы, вовсе нет.

– Ну и умора, однако! Вы не в себе, и этот, как его... стоял там, словно гвоздями прибитый!

Посмеиваясь, Марианна пристально за мной наблюдала; по ее глазам я поняла, что она не верит ни одному моему слову; я обиделась и раздраженно пробормотала:

– Вот что я принесла для вашего мужа, возьмите.

– Ой, спасибо, барышня, спасибо, – с такой искренней признательностью поблагодарила она, что обиды моей и след простыл. – И еще, миленькая, сделайте божескую милость – попросите господина Феликса, пусть он не отдает никому другому место старшего в плавильне; а то капитан уже грозился, что, если мой муж в течение недели не выйдет на работу...

– Мой брат не допустит этого.

– Ой, барышня, с тех пор, как господин Буре доверил руководство мастерскими господину Феликсу, он не желает ни во что вмешиваться...

– Ну хорошо! Я поговорю с капитаном.

– Да, да! Поговорите с ним, – грустно повторила она и, скорее всего, подталкиваемая какими-то тяжелыми мыслями, позволила себе сказать больше, чем хотела: – Замолвите словечко за моего мужика-бедолагу; рабочим при капитане стало хуже... Лишать их куса хлеба только из-за того, что они имели несчастье заболеть... Какой он недобрый, этот господин Феликс... С тех пор как он появился, все так изменилось... Если бы вы знали, как он меня принял, когда я пришла просить аванс!

Она заплакала, а я слушала ее с леденящим ужасом в душе.

– Марианна! – слышался голос работника, лежавшего пластом на своей койке.

Его жена лучше меня поняла, почему он вмешался.

– Ой, простите ради Бога, барышня... – опомнилась она. – Запаятовала я, ведь господин Феликс... Видит Бог, он такой славный... Вы будете так счастливы!

Я вздрогнула. У меня впереди было целых два года, я совсем забыла, что стану женой Феликса. Мне напомнили об этом так внезапно, да еще после такого прямого обвинения его в жестокосердии, что мороз пробежал по коже. Я побледнела и, почувствовав себя совсем плохо, поднялась, чтобы попрощаться.

Марианна засуетилась:

– Ой, барышня, я вас, верно, разгневала чем-то; смилуйтесь – вы же видите, как мы бедствуем... Мне так страшно!

Несчастная опять заплакала, а я вслед за ней. Сегодня, в этом мрачном каземате, у меня полно времени, чтобы разобраться, что происходило в моей душе, но и теперь я не могу объяснить охватившее меня вдруг безысходное отчаяние; я разрыдалась, поскольку ясно, до глубины души ощутила, что никогда не полюблю Феликса. Было ли это знаком, что я готова полюбить другого? Не знаю... Но эта минута открыла мне все будущие несчастья... Марианна смотрела на меня с удивлением, не в силах понять моего горя. Сколько раз, будучи ребенком, я видела, как молоденьких девушек охватывало это внезапное отчаяние, и сколько раз я слышала от стариков, душа которых давно зачерствела, глубокомысленные слова:

«Это все ерунда, причуды молодости – пройдет; надо дать ей капель».

И посылали за врачом.

Так и я в тот момент, когда небо, казалось, приоткрыло завесу над моим будущим, перед лицом охватившего меня ужаса поступила, как те старики; я подавила отчаяние, сдержала слезы и не поверила возмущившейся душе. И нашла причину своих слез:

– Я заболела! Мне дурно!

Ведь гораздо естественнее и разумнее объяснить неожиданные рыдания недомоганием тела, а не души.

– Может, вас проводить? – участливо предложила Марианна.

– Нет, нет! – резко воспротивилась я. – Мне лучше пойти одной.

Да! Я нуждалась в одиночестве.

Раньше я стремилась к нему, чтобы свободно и радостно погружаться в свои грезы, теперь же мне хотелось, чтобы никто не мешал плакать.

Полная грусти, я вышла на дорогу к дому. Дойдя до места, где заговорил со мной незнакомец, я невольно остановилась, хотя уже не думала о нем. Может, от наших душ исходят какие-то флюиды симпатии, которые затем продолжают парить в воздухе? Я была еще несмышленным ребенком, но я остановилась и оглянулась. Это место уже обладало притягательной силой, которой я не без удовольствия поддалась. Неуловимое ощущение быстро прошло, не оставив ни желаний, ни сожалений, но домой я вернулась со сжавшимся от волнения сердцем. Отча-

яние улетучилось, плакать уже не хотелось, но стремление побыть одной осталось. Органс, встретив меня в салоне, предупредила:

– Генриетта, подумай, как лучше тебе приодеться к обеду: у нас гость.

– Да ну? И кто же? – Я встрепелась, словно эта новость явилась для меня совершенной неожиданностью.

– Молодой человек, господин Ланнуа; отец направил его сюда на несколько месяцев, чтобы он обучился сталеплавильному делу.

– Как! На несколько месяцев? – поразила я.

– По-видимому... Но почему у тебя такой изумленный вид? Разве такое случается в первый раз? Иди же, одевайся!

Напомню, мне было всего шестнадцать лет; от грустных мыслей не осталось и следа, я с радостью предвкушала удивленную мину господина Ланнуа. А чтобы он и в самом деле остолбенел при виде барышни, которую принял за крестьянку, я решила предстать перед ним во всей красе. Я достала самое модное платье с изящными вышивками, для пушного контраста задумав показаться ему в своем самом роскошном наряде: вновь мне хотелось шалить и проказничать, как ребенку. Но вскоре во мне заговорила взрослая девушка. Пусть простит меня тот, кто прочитает эти строки; только заживо заточенная, как я, возможно, имеет право выдавать тайны женской души. Так вот течение моих мыслей внезапно переменялось, я отбросила идею даже в мыслях шутить с нашим гостем и повесила обратно свое умопомрачительное платье. Я оделась весьма просто, найдя, что в таком виде понравлюсь ему больше, чем разрядившись в пух и прах; я стала вдруг серьезной, а потому хотела выглядеть соответственно.

Я спустилась вниз, когда все гуляли по саду. Леон беседовал с моим братом; изумление и смущение его были столь сильными, что он не смог скрыть их от моего брата; гамма его чувств очаровала меня.

– Что с вами? – удивился брат.

Я подошла уверенной походкой. Не могу передать, какое ощущение счастья я испытала, видя, как он трепещет.

– Боже мой, сударь! – чуть не задохнулся Леон. – Я уже имел несчастье встретить эту девушку...

– Каково! Имел несчастье! – захохотал мой брат. Я тоже не удержалась от смеха.

Леон пришел в полное замешательство. По мере того как он терял присутствие духа, я все больше его обретала; я смеялась от всего сердца, по-детски откровенно, испытывая неизвестные раньше чувства и не подозревая, что в таком веселье слишком много от самолюбования. Смущение Леона перешло в грусть; он был еще так молод – ему только что исполнилось восемнадцать; его смутил такой насмешливый прием, и он не знал, что сказать.

– Ну, – поинтересовался брат, – так что же произошло?

Леон мне нравился именно таким – робким и смущенным, а потому я не захотела прийти ему на помощь; наконец он справился с собой и пробормотал тихим умоляющим голосом:

– Я встретил барышню, закутанную в плащ... Принял ее за простолюдинку и спросил дорогу в Ла-Форж...

– И конечно, малопочтительным тоном? – уточнил брат.

– Не думаю, что я нагрубил... Но вы же знаете, как принято...

– О да, – опять рассмеялся мой брат, – в наших краях принято обращаться запросто, а потому частенько кричат: «Эй, девушка!»

– Да, сударь.

– Ну что ж, принесите сударыне свои извинения; уверен, она их примет.

Господин Буре удалился с довольно безучастным видом, оставив нас с глазу на глаз. Леон не смел взглянуть на меня; его замешательство зашло так далеко, что начало передаваться и

мне; покраснев, он вдруг закатал рукав, отвязал маленький волосяной шнурок и протянул его мне.

– На том месте, где мы разговаривали, – вымолвил он, – вы обронули этот браслет; думаю, я должен его вернуть...

Хотя я и не придавала никакого значения этой потере, мне показалось, что признание несколько запоздало, и я не удержалась от замечания:

– И когда же я его уронила?

– Я видел, как он упал, когда ваша ручка выглянула из-под плаща.

– И ничего не сказали?

– Я не решился! По вашей белоснежной и тонкой руке я сообразил, что ошибся... Это тогда я назвал вас сударыней... И потом, после такого вольного обращения я не знал, как опять заговорить с вами... К тому же, когда я подобрал браслет, вы были уже далеко!

– И если бы вы меня больше не встретили, вы оставили бы его себе?

Леон виновато потупился, покраснев еще больше, и ответил, извиняясь за проступок, которому ни он, ни я еще не придавали значения:

– Я думал, браслет ничего не стоит...

– Для вас – может быть; но для меня... Я сделала его из своих волос в день свадьбы моей сестры и ношу его с тех пор.

Леон с очаровательной грустью взглянул на злополучный шнурок и живо сказал:

– Да, теперь я вижу, что он из ваших волос, и потому...

– Ну как? – перебил его мой брат, приближаясь. – Мир?

– Вечный и нерушимый, – уверенно подтвердила я.

Я уже собиралась забрать шнурок, но какое-то внутреннее предостережение, которое я даже сейчас не могу объяснить, заставило меня посмотреть на Леона. Его глаза сосредоточились на моих руках и внимательно следили за ними; этот взгляд остановил меня, и, вместо того чтобы повязать браслет на своей руке, я небрежно кинула его в карман. Грустная улыбка пробежала по губам Леона. Я поняла, что он придавал немалое значение тому, чтобы этот шнурок, только что обвивавший его запястье, оказался на моей руке, и решил, что я не захотела оказать ему такой милости.

О, сладкие и хрупкие воспоминания о той святой влюбленности, снизойдите в мой склеп такими же свежими и нежными, какими вы были когда-то! Вернитесь, и мой взгляд, остановившись на вашей прекрасной тени, отдохнет от слез и мрака глухой темницы. Вернитесь, и я с умилением буду смотреть хотя бы на прошлое, ибо будущего у меня нет. Радостные воспоминания! Как сладко вы убаюкивали меня! Я оценила вас позднее, когда полюбила всем своим существом и почувствовала, что все эти мимолетные ощущения были первым трепетом нарождавшейся страсти! Да, да, любовь, что потом проникла, обжигая, в самую глубину моей души, любовь, которая довела меня до греха, – это ее крылья обдали меня тогда теплым дуновением. Со времени приезда Феликса я ощущала жуткий холод и вокруг, и внутри себя и поступила как зябнувший ребенок: пошире распахнув платье, я подставляла грудь под жаркое пламя нового чувства и жадно вдыхала его. Да, это любовь молча указывала мне неизвестную дорогу, которая привела меня к похоронам заживо. Увы! Я пошла по ней, не ведая, что творю.

Позднее, конечно, я поняла, что если бы хотела, то вовремя распознала бы овладевшие мною чувства, ибо никто никогда не ломает свою жизнь просто так, внезапно, без причины, из-за встречи со случайным прохожим.

Гнетущий страх, который внушал мне капитан Феликс, осаждал мою душу днем и в часы одиночества; легкий трепет, охвативший меня при появлении Леона, всю ночь не давал мне покоя. И все-таки не о нем, не о Леоне я мечтала; не его образ вставал перед моими закрытыми глазами; не его голос нашептывал что-то ласковое в темноте – некое неведомое, бесформенное существо неотвязно преследовало меня и не давало уснуть.

Как-то раз мне уже пришлось испытать нечто подобное; это случилось, когда мы собрались в горы, посмотреть дивную и великолепную пещеру Фей; нужно было вставать очень рано, а я всю ночь толком не спала – мне чудились несуществующие гроты и крутые утесы, ничуть не похожие на то, что мне предстояло увидеть.

Мне грезился не Леон, но нечто, что исходило от него, точно так же, как огромные скалы моего воображения навевались чарами природы.

Предчувствие любви овладевало мной, как добрый гений. Так сказочный колдун касается души волшебной палочкой и освобождает источники любви, которая потоками выливается наружу, тут является истомленный жаждой путник, подставляет свою чашу, наполняет ее счастливыми слезами сердца и осушает до дна.

В то утро, после ночи, проведенной в сладком забытьи, я встала раньше всех, открыла окно, и первое, что увидела, это застывшего с поднятыми на меня глазами Леона. Если тогда он еще не понял, что я должна его однажды полюбить, и подобно изголодавшемуся по воде путнику не подставил чашу своей души под низвергавшийся из меня поток чувств, то только потому, что был слишком робок и неопытен; ибо в тот момент мое лицо озарилось, словно молнией, самой блаженной улыбкой! А затем так же мгновенно смутные черты и неопределенные формы невесомых фантомов, что преследовали меня в моих снах, ярко высветились, собрались воедино и резко прояснились: я поняла, что это Леон маячил в моем воображении всю последнюю ночь. И тогда мне стало страшно; я отпрянула от окна; отступив слишком поспешно, я упала на край постели и прижала руку к неистово бьющемуся, словно после долгого бега, сердцу. Не слишком ли быстро я преодолела весьма долгий путь к любви?

Повседневные заботы вскоре загасили огонь возбуждения, но жизнь моя походила теперь на чистое озеро после бури – волны улеглись, однако вода стала мутной. Так и душа моя, успокоившись, утратила былую безмятежность. Воде необходимо отстояться, прежде чем она вновь обретет кристальную прозрачность. Что касается моей души, то сквозь растревоженные мысли я не могла больше разглядеть ее дна; и не было покоя, что вернул бы ей прежнюю девственную чистоту. В течение следующих двух недель я видела Леона только в часы обеда и несколько раз вечером на семейных собраниях. Он был почтителен и внимателен к моим родителям, весел и предупредителен с Ортанс и столь игриво-задирист с ее дочками, что те души в нем не чаяли. Со мной же он был сдержан и грустен; он краснел, когда я с ним заговаривала; если же я просила его об услуге, то он стремглав бросался выполнять ее, так что, несмотря на всю свою природную бойкость, допускал какую-нибудь оплошность. Мне частенько приходилось слышать сбивчивые рассказы о любви, которая смягчала самые свирепые характеры или придавала необыкновенную ловкость даже недотепам, и потому я понимала, что эта же самая сила лишала Леона проворства и общительности, превращая его в неотесанное существо. И я прекрасно чувствовала, что значу для него гораздо больше других.

Нет, я не называла это чувство его настоящим именем и не признавалась себе, что это любовь, ибо оно делало меня счастливой, мне же внушали страх перед любовью, указав на нее как на заклятого врага. Полюбив Леона и чувствуя себя любимой, я воспрещала себе задумываться над тем, что испытывала; теперь, в уединении, давшем мне возможность читать не только в своем сердце, я уже не удивляюсь, почему Джульетта, дочь Капулетти, сказала юноше, пленившему ее так же, как пленил меня Леон: «Ромео, не говори, что ты Монтекки, ибо мне придется тебя возненавидеть».

Тем временем настал день, когда я окончательно убедилась в любви Леона и его чувства стали для меня совершенно очевидными; то был день, когда я поняла, что он терпеть не может капитана Феликса. Я встретила Леона в первый раз, когда пошла навестить заболевшего работника. Я добилась от своего брата, что его не уволят; но капитан отказался платить ему за пропущенные дни. «Это было бы, – усмехался он, – плохим примером для тех бездельников, что любят зарабатывать деньги, лежа в постели».

С тех пор я совсем позабыла о Марианне и ее муже, Жан-Пьере; у меня уже не было времени, чтобы думать о ком-нибудь, кроме себя.

И однажды в обеденный час (капитан и Леон встречались только во время обеда, ибо по вечерам мой жених работал) Феликс недобро, словно допрашивая Леона, спросил:

– Жан-Пьер приходил сегодня на кузницу?

– Да, сударь.

– И был в конторе?

– Да, сударь.

– Он получил деньги?

– Да, сударь.

– От кого?

– От меня.

– И из каких же денег вы ему заплатили, господин Ланнуа?

Леон, который, как я видела, уже закипал от ярости, догадался, конечно, что капитан хотел оспорить сделанный им ничтожный платеж. Он повернулся к нему спиной и презрительно проронил:

– Из своих, сударь.

Капитан, собиравшийся, как я думаю, сделать выговор Леону за вольность, был сбит с толку; он побледнел, как мертвец, но, не зная, как толком выразить свое недовольство, растерянно хмыкнул:

– Похоже, этот Жан-Пьер оказал вам немалую услугу...

Тон этих слов задел Леона и вывел из себя; радостно и торжествующе он заявил:

– О! Да, сударь, да! Очень большую!

– И это будучи прикованным к постели?

– Да, во время болезни.

– Это как же он умудрился?

Леон улыбнулся, лицо его совершенно переменилось; от гнева не осталось и следа – теперь оно выражало только смиренную почтительность; он положил руку на сердце и, подняв на меня глаза, которыми он в первый раз осмелился заговорить со мной, ответил:

– О! Это мой секрет, сударь.

– Но это, безусловно, и секрет моего рабочего, – возразил капитан, – а потому я имею право его знать.

– Что ж, вот и спросите у него.

– Я как-нибудь обойдусь без ваших указаний.

– Охотно верю, господин капитан.

Во время этого обмена любезностями Феликс не спускал с меня глаз, ибо перехватил так взволновавший меня взгляд Леона. Я же прекрасно поняла его. Он как бы говорил мне: «Я увидел вас впервые, когда вы шли к Жан-Пьеру; вот за что он получил свое вознаграждение...»

Обед прошел в напряженном молчании, после неприятного объяснения все пребывали в замешательстве. Только я чувствовала себя легко и тихо радовалась. Точно так же, как признание Леона, я поняла и подозрения Феликса и впервые испытывала удовольствие от того, что его провели. Когда Леон ушел, я осталась с братом и его женой. Органс тихо пожаловалась мужу на грубость Феликса.

– Я боюсь говорить с ним, – призналась она. – Не мог бы ты вразумить его по-мужски? Наш гость добр и трудолюбив, Феликс слишком суров с ним.

Моя благодарность Органс, безусловно, отразилась в моих глазах, так что брат не мог ее не заметить.

– Да, – кивнул он неопределенно, – Феликс недолюбливает его и несколько резковат; и, поскольку я не хочу, чтобы этот молодой человек плохо отзывался о нас, я найду предлог, чтобы отправить его к отцу.

– Как? – с болью и отчаянием вскрикнула я. – Но это же несправедливо!

– Зато разумно, – сурово отрезал брат, пронизывая меня испытующим взглядом.

Я потупилась, а он, сделав знак Ортанс, также пристально изучавшей меня, вышел.

Мой секрет был раскрыт, мне это ясно дали понять. Впервые я поняла, что чувство, которое я испытывала к Леону, можно назвать любовью. И все-таки, если бы сестра моя, Ортанс, протянула в ту минуту мне руку со словами: «Генриетта, ты любишь его?» – я бросилась бы к ней на шею и со слезами обещала бы отречься от этой любви, так как в нашей семье любовь считалась преступлением. Но Ортанс, обычно столь добрая и душевная со мной, казалась теперь строгой и неприступной; она безоговорочно приняла сторону Феликса, которого только что порицала, и решила, видимо, обелить его передо мной.

– Генриетта, – властно проговорила она, – я совершенно напрасно ругала Феликса; не делай еще большей ошибки, не суди его строго.

Меня уязвила эта нотация; воспользовавшись тем, что внешне я ничем вроде бы не спровоцировала этот выговор (хотя в глубине души понимала, что заслужила его), я едко возразила:

– А я и не собиралась судить его! Разве я говорила что-нибудь плохое о капитане? Я даже имени его не упоминала!

Это задело Ортанс за живое, и она сухо откликнулась:

– Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать, сударыня.

– Понятия не имею, – перебила я ее раздраженно, до того мне было обидно незаслуженное подозрение в грехе. – При чем здесь я? Вы сами выразили мнение о своем братце, может, теперь вы станете утверждать, что это я обвинила его в черствости?

– Да, вы ничего не сказали, но подумали – в тот момент, когда воскликнули, что несправедливо отправлять господина Ланнуа восвояси...

– Я только повторила ваши слова, вот и все.

– Генриетта, не оправдывайтесь, – одернула меня Ортанс. – Вы поступаете подобно людям, которые чувствуют свою вину.

– Вину? Какую вину? В чем я виновата? – Я едва не заплакала.

Ортанс, сурово смотревшая на меня, приблизилась, взяла меня за руку и после продолжительного молчания, во время которого она пристально вглядывалась, казалось, в самую глубину моей души, сжалась и проговорила:

– Генриетта, сестра моя, остерегись – не делай глупостей. Вспомни о своем обещании. Феликс любит тебя...

Я сомневалась в своих чувствах, теперь меня вынудили разобраться в них до конца.

Да – я и сейчас так думаю – не будь этого предупреждения, я бы так и не поняла, как назвать пламя, бушевавшее в моей груди, постепенно успокоилась бы и все забыла. Но когда ему дали имя, когда его назвали любовью, словно увенчав огненной короной, – словом, когда я узнала, что это такое, вот тогда-то мне стало любопытно: я захотела рассмотреть его как следует и изучить, хотя бы для того, чтобы справиться с ним.

До сих пор Леон, смутивший мой покой, не занимал меня полностью; но после разговора с Ортанс он завладел всеми моими мыслями. Я любила Леона – мне это ясно дали понять, – но насколько это соответствовало действительности? Я заглянула в свою душу и обнаружила странные вещи. Лицо Леона, его искренний и мягкий взгляд, длинные и красивые светлые волосы, благородная осанка, пленительный певучий голос, смешные и страшные рожицы, которые он строил моим маленьким племянницам, – весь его облик, как печать, лег мне на сердце, так что у меня не было необходимости его изучать. Я видела Леона насквозь, я знала его лучше, чем брата и отца, чем тех, с кем бок о бок прожила всю свою жизнь. Мне кажется, он говорил



моими устами, я повторяла его жесты, чувствовала его мысли – настолько он проник в меня. Можно сказать, я только им и жила.

Меня испугало, что кто-то посторонний возымел надо мной такую власть; мое самолюбие возмутилось тем, что моя жизнь отдана в руки человека, которому она, возможно, абсолютно безразлична; и внезапно меня обуял страх, что мне не ответят взаимностью.

Любовь! О, любовь подобна высшим силам, все служит ей – и самозабвение, и сопротивление. Я полюбила бы Леона, если бы совершенно не опасалась его, и любила его, потому что испугалась. О Господи! Да могла ли я не полюбить его? Разве люди не срываются с отвесных скал, когда преувеличивают и когда недооценивают их крутизну?

Я все это выстрадала, да. Образ Леона беспокоил меня. Ночью он сидел у изголовья моей кровати, днем лишь изредка покидал меня, и я стала находить его докучливым, почти наглым; он обращался и говорил со мной как властелин. Как я хотела избавиться от этого наваждения! Но все, что поддерживало меня до тех пор: работа, молитвы и прочие занятия – все словно куда-то проваливалось, куда-то исчезало, стоило мне только попытаться отвлечься. Это походило на зыбучий песок на краю бездны, который уходит вниз, когда пытаешься опереться на него; мне казалось, что пылающий солнечный круг воспарил над моей жизнью, все распылив и порождая только любовь. Увы! Увы – я не могу как следует все объяснить! Я тогда не совсем отдавала себе отчет в происходившем в моей душе. Как бы то ни было, я приняла тогда торжественное решение и, не желая, чтобы Леон заподозрил свою власть надо мной, в течение целого месяца заставляла себя обращаться с ним крайне нелюбезно. Должно быть, поселившийся внутри меня страх крепчал с каждым днем, ибо я не испытывала никакой жалости к очевидной грусти Леона. Он был так несчастлив! Ах! Его горе ясно выдавало его любовь, а потому чрезвычайно мне нравилось, и втайне я любила его за то, что он так страдает.

Единственное, что мне с трудом удавалось вынести, да простит меня Господь за эту внутреннюю борьбу, ибо я вышла из нее победителем, единственное испытание, в котором мужество едва не оставило меня, – то было мучение от явной радости Феликса. Я имела все основания изводить притворной холодностью Леона; я знала, как он страдал, ибо я страдала точно так же; я ничего ему не говорила, но по безмолвному соглашению с самой собой понимала, что по праву терзаю того, кому на самом деле сочувствовала всей душой; но то, что Леону приходилось переносить косые торжествующие взгляды и дурацкие насмешки капитана, раздражало меня ужасно; тысячу раз меня подмывало признаться Леону: «Я кривлю душой, когда отвожу от тебя глаза; я обманываю, когда избегаю встреч с тобой; я лгу, когда отвечаю тебе без радости в голосе и делаю вид, что не слышу тебя!»

Конечно, я могла бы предупредить его, если бы не чувствовала, что, открыв ему душу, я должна была бы и жизнь целиком отдать ему.

Да, он любил меня, я это знала! Случай с Жан-Пьером объяснил мне многое только тем, что больше никто ничего не понял.

Феликс допросил несчастного работягу чуть ли не с пристрастием, но и тот не смог что-либо объяснить; он не только не оказывал Леону никаких услуг, но до получения денег никогда и не видел его. А потому слова Леона сочли за детскую шалость. Только я знала, что он имел в виду – разве не к Жан-Пьеру я направлялась, когда мы встретились в первый раз?

И все-таки настал день, который избавил меня от тяжкого, навязанного самой себе испытания – разыгрывать мнимую холодность. Об отправке Леона домой больше никто не упоминал – настолько он показал себя работающим, смиренным и мягким; туман подозрений насчет наших отношений рассеялся; даже я почувствовала себя спокойнее, но вскоре непредвиденное событие показало, что если я и добилась некоторой передышки, то только не для себя.

Одной из моих детских радостей был отдаленный уголок нашего сада, который я возделывала собственными руками и где я выращивала розы. Когда решили построить новый склад

и проложить дорогу к нему прямо через сад, то выяснилось, что это уничтожит мою любимую клумбу.

Если бы мой брат просто предупредил меня, что должно вскоре произойти, то я, скорее всего, не сожалела бы так о своем цветнике. Но случилось так, что я услышала, как Феликс приказал садовнику вырвать все мои розы, чтобы назавтра землекопы могли приступить к работе. Я запротестовала; поначалу капитан пробовал отшутиться, но я не переставала упрекать его в необыкновенном умении делать все, что может меня задеть; тогда возобладали его природные склонности, он грубо оборвал меня, и, чтобы спрятать слезы, я убежала в свою комнату. Меня оставили на какое-то время в покое, но вскоре я услышала под окнами слова, которые вызвали у меня жалость к тому, кто их произносил.

– Обычный каприз вредной маленькой девчонки, – ворчал капитан, – но лучше такой, чем какой-нибудь другой; пусть поплачет над своими розами, ничего страшного.

Ортанс попробовала убедить его подняться, чтобы успокоить меня:

– Она так привязана к своим цветам...

– Ну хорошо – так и быть! – пробурчал Феликс. – Я прикажу, чтобы завтра... или послезавтра... их аккуратно пересадили в то место, которое она укажет; но чтобы я просил прощения за все мои заботы о благоустройстве этих владений! Увольте, я не готов платить такую цену!

Его слова и тон поначалу меня не возмутили: я уже сказала, что мне стало жалко этого человека, который так безыскусно убивал себя в моем сердце, вместо того чтобы поселить в нем надежду. Тут подошел мой брат, который, на мое несчастье, заметил, что я буду тронута галантностью капитана, если тот снизойдет до заботы о сохранности моих бедных роз.

Стать обязанной Феликсу, признать, что он оказал мне какую-то любезность, – худшего я представить себе не могла. Не знаю почему, но это возмутило меня до глубины души, и всем моим существом завладела одна-единственная мысль – ближайшей же ночью отправиться к клумбе и вытоптать ее самым безжалостным образом, чтобы Феликс уже не смог ее спасти. Если бы именно он сохранил мои цветы, я бы их просто возненавидела. Сердце мое ожесточилось, и я поняла, что в подобные минуты человек готов уничтожить все самое дорогое, лишь бы не благодарить за заботы, которые ему в тягость. Выждав, пока все не улеглось спать, я тайком, словно преступница, прокралась по аллеям и зарослям к месту, где в яростном отчаянии собиралась разрушить хрупкий и прекрасный мир своего детства. Последняя мысль особенно мучила меня. Феликс стал воплощением всех бед, и, так как он убил мои прекрасные мечты, мне казалось абсолютно верным думать, что это он моими руками разорит мою восхитительную клумбу, и, чтобы утихомирить боль души, я прокричала про себя:

«Ах! Этот человек – злой гений всего, что я люблю!»

Я была уже в нескольких шагах от зарослей, к которым держала путь, как вдруг мне послышался легкий шорох. От страха я замерла на месте. То, что я считала вполне законной местью, теперь вдруг представилось глупой проделкой избалованной злючки; но непонятный шум не утихал, и я решила узнать, что происходит. Тихо-тихо, на цыпочках, я подошла к своему маленькому розарию. Здесь кто-то работал: мужчина, склонившись к земле, аккуратно выкапывал кусты и с заботливой нежностью складывал их в тачку, которую затем отвозил в другой конец парка. Я, конечно, узнала его: то был Леон. О! Как я могу передать словами свои чувства? Неземное блаженство переполнило мое сердце, опьянив настолько, что вынудило меня прислониться к дереву; я ощутила, как по щекам текут слезы: цветочки мои! Бесценные, дорогие мои, как я люблю вас! Когда Леон отошел на некоторое расстояние, я подбежала к еще оставшимся в земле и стала разглядывать их один за другим; теперь сама мысль вырывать их возмутила меня, показавшись чудовищной неблагодарностью. Ночная темнота надежно укрывала меня; я сорвала одну розу, самую роскошную, и здесь, в безумном исступлении любви, давшем выход так долго скрываемому чувству, я страстно расцеловала спасенный таким образом цветок. Затем, услышав шаги возвращавшегося Леона, я бросила розу на

землю, как будто для Леона, сорвала другой цветок, словно это он вручил мне его, и побежала, окончательно потеряв сердце и голову, словно этот обмен, который я совершила в одиночестве, явился признанием нашей любви.

На следующее утро я лучилась от счастья: Леон любит меня! Он избавил меня от необходимости благодарить Феликса! Я любила его самого и любила из чувства неприязни к другому. Меж тем я не держала зла; если бы Феликс пожелал стать мне другом, я ценила бы его по заслугам; но неумолимый рок постоянно внушал ему действия, которые уничтожали его раз за разом в моей душе и подталкивали меня на пагубный путь.

Наутро, когда я спустилась вниз, вся семья, пораженная случившимся, только и судачила о ночном происшествии. Наступило воскресенье, а потому на завтраке вся семья была в полном сборе. Феликс появился в тот момент, когда я, обняв сначала близких, отвечала на приветствие Леона. Капитан остановился в дверях и, мрачно уставившись на нас обоих, произнес, желая спрятать гнев за игривой ухмылкой:

– Вот беда, Генриетта! Представляете, я уже присмотрел очаровательное местечко в саду, чтобы пересадить туда ваши розы, но какой-то ловкач опередил меня!

Тяжелый взгляд Феликса, как бы предъявлявший обвинение и мне, и Леону, заставил меня взять на себя преступление, так унижавшее капитана.

– Да что вы? – притворно удивилась я. – И кто же этот незадачливый любезник?

– Пока не знаю, – в совершенном раздражении прорычал Феликс, – а то бы я его отблагодарил за внимание к вам.

При этом подобии угрозы Феликс взглянул на Леона. Тот уже готов был взорваться, но я опередила его:

– Вы, должно быть, жутко его ненавидите? – рассмеялась я.

– Достаточно, – отозвался Феликс, – чтобы преподать ему урок.

– И как? По-капитански? – продолжала я, заметив, как в глазах Леона зажглась ярость. – Надо думать, с оружием в руках?

– Почему бы и нет? – Феликс не спускал глаз с Леона.

– Ну что ж! – Я сняла со стены две шпаги. – Не возражаю – я готова принять ваш урок, господин капитан.

Я протянула одну шпагу капитану, а вторую вытащила из ножен и встала в стойку.

– Как? – воскликнул Феликс. – Так это сделали вы?

– Да, – решительным тоном заявила я, – моя вина – мне и отвечать! Ну, капитан, берегитесь!

Я подняла шпагу и ринулась в атаку на побагровевшего от бешенства Феликса.

Все семейство, не видевшее в этом спектакле ничего, кроме ребяческой шалости, показилось со смеху. Мой папа и Органс забавлялись от души:

– Ну что же ты, Феликс, защищайся! Или у тебя от страха поджилки трясутся?

Только я догадывалась, до какого гнева доведен Феликс, так как именно я выставила его на смех перед человеком, которого он с удовольствием раздавил бы; и все-таки он взял себя в руки и с достаточным самообладанием, ибо не заподозрил ни на минуту, что я притворяюсь, заявил:

– Дорогая Генриетта, вы гораздо искуснее в обращении со шпагой, чем с лопатой; уж очень странно вы пересадили столь любимые вами прекрасные розы.

Леон смутился; не желая портить наше счастье, я заверила Феликса:

– Они мне нравятся именно в таком виде.

– Что ж, отлично! – заулыбался мой папа. – Генриетта покажет нам после завтрака, что она там напридумывала.

Теперь и я пришла в замешательство, так как и понятия не имела, куда Леон перетащил мои розы.

– С удовольствием! – ответила я на всякий случай, надеясь выскочить в сад раньше всех и разыскать свои злосчастные цветы.

Во время завтрака я всматривалась в Леона. Безусловно, он не смел поверить в то, что крылось за моим поведением. Если бы я увидела, что он сияет от счастья, то, наверное, раскаялась бы в том, что так неосторожно вторглась в его тайну и с такой полнотой приняла его самоотверженную заботу; но он так быстро переходил от тихой радости к полной растерянности, что я простила ему свою опрометчивость; смущенность очаровала меня. Чем больше он робел, тем смелее становилась я.

Между тем разговоры о моих розах не утихали, и кто-то спросил меня, что за место я для них выбрала.

– Просто чудесное! Скоро увидите.

– Для кого как! – хмыкнул Феликс. – Мне пришлось долго тащиться по следу, оставленному колесом тачки, чтобы выйти к нему.

Надежда, что этот след приведет и меня куда надо, быстро угасла, так как Феликс добавил:

– И если бы садовник чуть раньше привел аллеи в надлежащий вид, клянусь, я бы никогда даже не заподозрил, куда вы запрятали свой цветник.

Наш парк достаточно велик для того, чтобы я могла быстро обследовать все его закоулки. Я начала дрожать при мысли, что мой обман может раскрыться.

– Куда же ты подевала его, к черту на рога, что ли? – спросил папа.

– Вот отведу вас – сами узнаете, на какие рога.

– Феликс, скажите вы тогда, – обратился к капитану отец.

– О нет! Я буду выглядеть совсем неловко, если отниму у Генриетты удовольствие от сюрприза, который она вам приготовила.

Феликс, словно назло, уклонился от единственной услуги, которую мог бы мне оказать. Что касается Леона, то он не мог понять моих затруднений, так как вообще не понимал, откуда я знала, каким образом переселились мои розы. Вскоре все поднялись из-за стола, и Леон куда-то исчез; я не знала, как мне без особых сложностей выполнить задуманное. Меня торопили, и я с уверенным видом пошла наугад, попросив близких следовать за мной.

Я рассчитывала поплутать вместе с семьей по парку и в тот момент, когда мы выйдем наконец к клумбе, сказать, что специально выбрала самую длинную дорогу. Но папа, не очень хорошо себя чувствуя, тяжело оперся на мою руку.

– Пойдем, – попросил он, – только не заставляй нас бегать; мои старые ноги не любят шуток.

В ту минуту мое смущение дошло до предела; и вот тогда-то божественное озарение пришло мне на помощь. Поскольку виновник не проронил ни слова, а на земле не осталось никаких следов, я стала мысленно искать невидимую и невесомую ниточку, которая руководила Леоном. Он должен был избрать то место в парке, которое мне больше всего нравилось, то уединенное и скрытое место, где я так любила посидеть в одиночестве на деревянной скамеечке. Я направилась туда в уверенности, что не могу ошибиться; все следовали за мной; конечно, именно там и обнаружила я своих любимцев. Они уютно расположились вокруг скамейки, на которой я предавалась счастливым грезам еще тогда, когда не знала ни Феликса, ни Леона.

Еще одна радость! Не потому, что Леон избрал именно это место, ибо я уже не сомневалась в его выборе; я была совершенно счастлива оттого, что так быстро решила этот ребус.

Да! Все эти события, которые, возможно, покажутся слишком незначительными тому, кто будет читать эти строки, для меня были преисполнены важности и смысла. До сих пор я шла одна по дороге страсти. С того самого дня мы пошли по ней вместе. До сих пор я любила Леона, и он меня любил; но я бы не осмелилась сказать, что мы любили друг друга. Благодаря нашим цветам мы стали сообщниками и наши чувства слились воедино.

Отныне каждое воскресенье вся семья прогуливалась после завтрака к моему цветнику. Мне принадлежало исключительное право собственности на розы, и никто, по молчаливому уговору, не смел сорвать ни одной без моего позволения; получить цветок было знаком моего расположения. Отец мой каждый раз не упускал случая сказать:

– Ну, Генриетта, окажи нам почести – одари твоими цветами.

И я вручала розы всем присутствовавшим. Несколько раз приходил Леон и, как все остальные, также получал цветок. Но поскольку я вручала ему цветок при всех, то хорошо понимала, что таким образом не давала ему ничего. Однажды он пришел, когда я уже раздала розы и мы покидали цветник. Мне не хватило смелости вернуться и сорвать еще одну розу для Леона. Я шла последней, вслед за отцом, когда он подошел ко мне.

– Что-то вы припозднились, – заметил папа Леону.

– Значит, теперь мне ничего не достанется? – спросил Леон.

Ничего не ответив, я словно невзначай уронила свою розу. Он подобрал ее и прижал к груди. Давно уже я ждала момента, чтобы отблагодарить его за чуткость, ибо не могу сказать, с помощью каких невидимых чар он угадывал мои мысли; казалось, он выполнял мои желания, прежде чем я сама их осознала. Я увидела счастье в его глазах и сама почувствовала себя счастливой. С того дня я больше не давала ему роз, а каждый раз роняла их на землю; кроме того, он как бы получил свой розовый куст, с которого я срывала цветы только для него.

Сказать, как мы понимали друг друга без слов, объяснить, по какому взаимному сговору мы беседовали с помощью разговоров с другими, каким образом брошенный украдкой взгляд придавал равнодушным фразам, оброненным безучастным человеком, смысл, понятный только нам двоим, – означало бы писать историю наших отношений час за часом, минута за минутой. Меж тем пока все это выглядело довольно невинно; мимолетные знаки внимания, которые он принимал с таким чувством, я оказывала чисто по-дружески, и ни одно слово не могло подтвердить Леону, что я придавала им какой-то иной смысл.

Но пришел день, когда я получила и вернула знак внимания, который как бы развязал языки наших душ. Мне простят, я думаю, такие мелкие подробности тех единственных дней, когда я чувствовала жизнь во всей ее полноте; не смейтесь над маленькими радостями, что теперь помогают мне вынести свалившееся на меня тяжелое горе; только воспоминания о прекрасных мгновениях прошлого могут усыпить боль, а это воспоминание дорого мне не только потому, что я обрела счастье, но и потому, что я одарила счастьем Леона; ибо истинно я говорила: любить – значит дарить счастье другому.

Это случилось накануне моего дня рождения. Отец, мать, братья, а особенно малютки-племянницы изводили меня обещаниями необыкновенных подарков.

– Ты не можешь даже вообразить, что я тебе завтра подарю, – с хитрым видом говорил один.

– Вот увидишь, знаю ли я, что тебе по вкусу, – вторил другой.

Все грозились доставить мне необычайное удовольствие, только Леон не смел проронить ни слова. В отличие от других, он не хвастался заранее, а только безмолвно глядел на меня.

О! Какая чудовищная мука – не видеть, не любить его больше! О Господи! Выпусти меня наконец из этой гробницы! Или же захлопни ее насовсем!

Леон смотрел на меня.

Боже, какие чары ты вдохнул в любимые глаза? Какой возвышенный свет, какие неземные лучи исходят из них, проникая в самую глубину души, подобно святому духу, который дает жизнь и придает ей особый аромат! Леон смотрел на меня, а я чувствовала, как сердце мое тает от счастья под его взглядом. Я была уверена, что он много думает обо мне. На следующее утро, после того как все поднялись и принесли мне кто цветы, кто какие-то безделушки, я спустилась в сад. Леон уже ждал там. Меня переполняла решимость принять то, что обещал его взгляд. Я подошла к нему; он был в крайнем волнении, хотел заговорить, но в этот момент

появился Феликс, который преподнес мне очаровательное украшение. Леон тихо удалился, но мои глаза позвали его обратно. Я видела, что он принял какое-то решение; я ждала.

– Простите, – еле слышно промолвил он, – я совсем забыл; этим утром в парке я обнаружил этот платок с вашими инициалами; я подумал, что он принадлежит вам; и вот я его вам возвращаю.

Сначала я обиделась: он нашел один из моих платков и не хочет его сохранить! Не глядя, я взяла платок и сухо поблагодарила; сконфузившись, он удалился. Тут подошла Ортанс и, резким движением вырвав у меня платок, воскликнула:

– Видали? Ну и скрытница! Изготовила такой красивый платочек, да еще раньше меня! Небось по ночам над ним сидела, чтобы успеть к празднику? Это не по правилам! Но как он мил! Уж не думала, что он выйдет таким славным – ты была так рассеянна во время работы!

Сначала я не поняла; но, рассмотрев как следует платок, я увидела, что он был почти точной копией того, который я еще не закончила вышивать. Значит, это был подарок Леона, подарок, который я смогу хранить не пряча; этот платок будет мне дороже, чем сделанный своими руками, ибо я одна знала, откуда он взялся. Я согласилась с Ортанс и тут же поднялась к себе, нашла свой недоконченный платок и сожгла его над свечкой. Не стану же я делать то, что соперничало бы с подарком Леона!

Когда я спустилась к завтраку, он задумчиво и грустно смотрел на меня. Я провела платком по лбу, и он весь засветился от радости. Мне частенько приходилось слышать, что нужно опасаться слов любви. Взглядов и молчаливого восторга – вот чего надо бояться на самом деле. Какие слова выразили бы счастье, которое я принесла ему одним жестом? И это счастье вернулось ко мне без всяких слов – иначе оно могло незаметно исчезнуть.

После завтрака мы отправились на уже ставшую традиционной прогулку. Впервые с нами пошел и Феликс. Как всегда, я раздала розы, и Леон получил одну из последних со «своего» куста. На этот раз я вручила ее, прошептав: «Спасибо». Он взял ее с восторгом в глазах. Тут же возник Феликс:

– А я? Мне перепадет что-нибудь?

– Ну конечно, – ответила я и повернула обратно, чтобы сорвать цветок и ему.

– Неужели я хуже Леона и не стану обладателем роскошной розы вон с того шипастого куста?

– Но их так мало осталось...

– А-а, так для меня вам их жалко!

Не желая портить себе столь возвышенное настроение, я сорвала самую прекрасную розу и вручила ее Феликсу, который рассыпался в благодарностях. Я обернулась к Леону, чтобы взглядом попросить у него прощения, но он, уже далеко отбросив полученную розу, застыл в неподвижном отчаянии. Я понимала его обиду, ибо только что я осквернила нашу тайну. Феликс не прекращал болтать, я с трудом ему что-то отвечала; наконец кто-то его позвал, и он отошел на несколько шагов. Забыв о всякой осторожности, я подошла к Леону:

– Вы выбросили вашу розу?

– Она уже не моя; она – общая.

– Плохо, что вы так говорите.

– Плохо, что вы так поступаете.

– Вы так хорошо возвращаете то, чего не находили; что вы скажете, если я откажусь от того, что мне не принадлежало?

– О! Не надо, не отдавайте, – ужаснулся Леон. Он замолчал, затем добавил совсем тихо: – Но позвольте мне сожалеть о том, что я не сохранил то, что и в самом деле нашел.

Я проследила за его взглядом, который остановился на волосяном браслетике, который он когда-то вернул с такой милой застенчивостью. Не успев даже подумать, я уже сняла браслет с руки:

– Возьмите.

Он вскрикнул.

Я тут же убежала, боясь увидеть, как он счастлив. Увы! Говорят, что женщин привлекают страдания любимых; у меня же было совсем не так. Каждый раз, когда я улыбалась Леону, смотрела на него, говорила с ним, я видела в нем такое упоение, такую радость, что невозможно передать словами, какую отраду я испытывала от того, что являюсь источником такого блаженства. О! Как я любила его! Я любила его за счастье. Ради его счастья я согрешила, ради него я страдаю сейчас и не теряю мужества только потому, что знаю: он будет счастлив, если вновь увидит меня.

Последующие дни стали поистине самыми благословенными днями моей жизни. Я ощущала во всей пьянящей полноте радость от того, что любила и была любима. Я не признавалась сама себе, что между мной и Леоном стояло непреодолимое препятствие. Я видела его, осознавала его, но оно вовсе не внушало мне страха. У меня не было никакой возможности переменить мою участь, но я ее и не искала: я любила, меня любили! Это чувство захватило мое сердце, всю меня целиком, я не нуждалась ни в воспоминаниях, ни в надеждах. Только в настоящем заключалась моя жизнь. Меня не волновало ни прошлое, ни будущее: я любила, любила!

Господи! Теперь, когда отчаяние и размышления в одиночестве прояснили множество вещей, о которых раньше я знала только понаслышке, сдается мне, что люди, говорившие о любви, никогда не любили, или же я любила так, как никто до меня не любил. Леон был жизнью моей, сердцем моим и разумом. Я не из тех, кто строит планы на будущее, рассчитывая на совместное благополучие – для меня это что-то совершенно немыслимое. И тогда душа моя витала в каких-то заоблачных высях, выше всяких расчетов и забот; все помыслы мои и жизненные силы были поглощены опьянением любви.

О мой Леон! Я любила тебя, любила так, что трудно поверить! Теперь, жертвуя жизнью и принимая смертные муки, лишь бы не отречься от тебя, я люблю совсем не так, как тогда; сейчас я размышляю о своей погубленной жизни и поруганной чести и знаю, что творю, сейчас у меня наконец есть сила воли, тогда же не было ничего: долг, честь, добродетель – все означало только любовь. Бедный Леон, как я тебя любила!

Невозможно выразить словами, что происходило между мной и Леоном в последующий месяц. Все очаровывало, все пьянило меня. Если он был рядом со мной, я была счастлива; если далеко – я все равно была счастлива; я не боялась ни его присутствия, ни отсутствия. Его слова отдавались в моей душе, порождая мощное эхо, к неутихающим отголоскам которого я прислушивалась еще долго после окончания разговора. Жила ли я в то время нормальной жизнью? Или я была не от мира сего? Или унесло меня в заоблачные выси, в неведомые дали? Или все было сном, в котором бодрствовала только любовь, в то время как осторожность и чувство долга мирно почивали в глубине души?

Да, то был сон, горячка, упоение, которым невозможно дать общее название, ибо, когда беда все разрушила, я так и не поняла, что же это было; я и теперь не могу ясно определить, в чем причина полноты ощущений тех дней: осталось только болезненно-радостное воспоминание о них. Сердце мое освободилось от неземных объятий, так долго его сжимавших. Когда мне пришлось спуститься на землю, казалось, что, если бы это состояние продолжалось еще какое-то время, мои жизненные силы тихо растаяли бы, как податливый белый воск на каминной плите, и душа моя испарилась бы, как летучий эфир на солнце.

Вот такую смерть, Господи, я хотела бы просить у тебя! За что мне это медленное угасание? Я вернулась бы к тебе, не согрешив, и ты бы принял меня, ибо ты, Боже, покровительствуешь невинным. И все-таки я надеюсь, Господи, что ты не оттолкнешь меня! О Всевышний! Ибо ты так же любишь и тех, кто много выстрадал.

Я медлю, медлю начать рассказ о последних событиях, ибо это рассказ о страшном отчаянии и преступлении.

Феликс, как я уже говорила, был тигром, обожавшим избранную им добычу, тигром, притаившимся под искрящимися цветами кактуса, там, где его полосатая шкура теряется в густых зарослях; то был тигр, который долго и тихо сидит в засаде, чтобы затем внезапно прыгнуть на жертву, показавшись ей на глаза только вместе со смертью.

Однажды утром, когда неожиданно нагрянула зима, я спустилась в парк, чтобы пройтись по аллее, на которую выходило окно рабочей комнаты Леона. Я его не видела, но знала, что он смотрит на меня, и специально прогуливалась у него на виду. Вечером, перед сном, он находил тысячу способов, чтобы рассказать мне, сколько раз я проходила, и повторял мои мельчайшие жесты с помощью условных знаков, которые были понятны только нам двоим, и эти беседы приносили нам величайшее блаженство. Но в то утро Леон остановил меня на повороте к цветнику.

– Не ходите туда, – сказал он, – капитан приказал перенести мой рабочий стол подальше от окна, где он стоял раньше. Он догадывается о наших чувствах. Я видел, как он направился к аллее. Скорее всего, он хочет проследить за нами. Я выскочил, чтобы предупредить вас.

И тут я увидела вдалеке направлявшегося к нам Феликса.

– Бегите! – шепнула я Леону.

– Не стоит, – тихо возразил он, – он лишь убедится, что нам есть что скрывать. Успокойтесь и отвечайте мне беззаботным тоном, как только я заговорю с вами.

Капитан также заметил нас. И тем не менее он нисколько не ускорил свой шаг; эта неторопливость устрасила меня, ясно показав, что он уверен в своих подозрениях и нисколько не сомневается в правильности того, что намеревается сделать. Все время, пока он шел по длинной аллее, я чувствовала сердцем его жесткий и леденящий взгляд; когда он приблизился на расстояние в несколько шагов, Леон проговорил как ни в чем не бывало:

– Что ж, сударыня, я скопирую для вас эту новую пьесу.

– Буду вам очень признательна, сударь, – отозвалась я.

Феликс остановился, подарив нам мерзкую пренебрежительную ухмылочку.

– Господин Ланнуа, не соблаговолите ли вы пройти за мной, у меня есть кое-какие распоряжения.

Мной овладела внезапная идея – узнать, о чем они будут говорить, и я откланялась:

– Я вас оставлю.

Быстрыми шагами, почти бегом, как будто очень торопясь, я удалилась; на самом деле сквозь густые тисовые заросли я вскоре незаметно подобралась вплотную к тому месту, где остались Леон и Феликс.

Капитан не спешил прерывать молчание, желая, видимо, дать мне время отойти подальше.

Первым заговорил Леон; его голос произвел на меня странный эффект: он был так не похож на тот, который я привыкла слышать. Голос, мой любимый голос был полон нежности и застенчивости, сейчас же его слова воплощали гордость и независимость.

– Так что за распоряжения для меня у господина капитана?

– Одно-единственное, сударь, – ответил Феликс с удивившим меня хладнокровием. – А именно: будьте готовы покинуть нас завтра, поутру.

– Я не для того приехал сюда, чтобы выполнять ваши поручения за пределами плавильных мастерских.

– А это уже ваше дело, какие и чьи поручения вы будете выполнять в дальнейшем; вы закончили курс обучения, господин Ланнуа, и я считаю, что пора вам убираться под крылышко к папаше.



Эти слова ошеломили меня. Пришлось мне схватиться за ветку граба, чтобы не упасть в обморок. Ответ Леона хотя и ужаснул, но все-таки ободрил меня.

– Значит, господин капитан, – сказал юноша, – вы меня прогоняете?

– Я этого не говорил, – холодно возразил Феликс.

– В самом деле? – с едва уловимой насмешкой заметил Леон. – Так вы, выходит, вовсе не такой грубиян, как кажется...

– Оставьте при себе свои шуточки, мой мальчик, – презрительно проронил капитан.

– Хорошо, но только если вы оставите при себе свои пустые распоряжения, мой грозный капитан. – Леон рассмеялся.

– Но вам придется повиноваться им тем не менее.

– Только когда их подтвердит тот, кто является здесь хозяином.

– Хозяин здесь – я!

– Это не совсем так, сударь, пока что; господин Буре – вот кто здесь хозяин. Ведь я прекрасно знаю, что вы должны войти в фирму на паях после того, как получите приданое Генриетты. Как приятно, наверное, разбогатеть с помощью женитьбы на богатой и миловидной девушке! Но свадьба еще не состоялась. А до нее вы такой же приказчик, как и я, господин капитан, и хоть вам и нравится отдавать приказы, мне не нравится получать их от вас.

Я думала, Феликс взорвется. По его голосу было понятно, что он с трудом подавил в себе ярость.

– Что ж, сударь, как вам угодно: все ваши рекомендации будут выполнены и вскоре господин Буре повторит вам то же самое.

– Значит, – вышел из себя Леон, – вы донесете на меня!

– На вас? Доносить? С чего вдруг, господин Леон? Я считаю вас весьма порядочным молодым человеком; вы достаточно прилежны в учении и неглупы. Но что делать? Может быть, это каприз, но я не желаю больше лицезреть вашу физиономию: она действует мне на нервы.

– Знаете, господин капитан, я ведь могу расценить ваши слова как оскорбление.

– Да ну? И что же дальше?

– Я потребую у вас удовлетворения!

– О нет, милый друг, это невозможно. Ваш отец отправил вас к честным предпринимателям; мы получили его сына в целостности, сохранности и добром здравии, а посему должны, как порядочные люди, вернуть его назад в том же виде. Потом, когда ваш папаша уведомит нас, что вы благополучно прибыли домой, – вот тогда, если вас не утомит еще одна прогулка в эти края, тогда пожалуйста – я на ходу вам уши отрежу, если, конечно, попросите.

– Ну-ну, посмотрим, – проронил Леон с презрением, которое, несмотря на все мое отчаяние, доставило мне удовольствие, так как должно было унижить Феликса. – Рассчитываю на вашу обязательность, милый мой, как вы изволили выразиться; а пока, мой очень и очень милый друг, я хотел бы сообщить вам: вы глупец.

Выдержка изменила капитану, и он вскричал:

– Ах ты щенок!

– Э-э, капитан! Идемте же, у меня есть шпаги.

– Нет. – Феликс опять взял себя в руки. – Сначала нужно вас выгнать отсюда.

И, опасаясь, видимо, собственного гнева, капитан быстро удалился. Я хотела было подойти к Леону, но силы оставили меня, и я упала в обморок.

Очнувшись я в гостиной нашего дома, в окружении родных. На всех лицах царил гневное осуждение, только брат смотрел на меня с какой-то странной мягкостью.

Рассудок еще не совсем вернулся ко мне, когда брат почти что нежно спросил:

– Генриетта, виновна ли ты?

Ах! Горе, горе и проклятие тем, кто говорит с невинными людьми на языке, который предполагает преступление или грех!

Эти слова – виновна ли ты? – для моей семьи означали совсем иное, нежели для меня, но я поняла это только много позже. О бедное дитя, посмевшееся влюбиться, и влюбиться к тому же как дитя! Я думала только о том, кого собирались изгнать, и на вопрос «Виновна ли ты?» промолвила только:

– Смилуйтесь, пощадите Леона...

– Несчастная! – Мой отец аж подпрыгнул.

– О Генриетта! – с ужасом в голосе прошептала Ортанс.

Отец, которого матушка едва сдерживала, выкрикивал страшные проклятия. Я словно остоленела; признавая свою ошибку, так как пошла наперекор воле семейства, я сознавала свою абсолютную невиновность. Не представляя, что такое грех прелюбодеяния, я знала, что не забыла о чести. Подпрыгнув в свою очередь, я твердо заявила:

– Вы спросили меня, виновна ли я, но в каком преступлении? Виновна в любви к господину Ланнуа – да, это правда; виновна, что призналась ему в этом, – да! Виновна, что приняла его любовь, наконец! Но другого греха за собой я не знаю!

И я выскочила из гостиной, не в силах вынести отчужденные, осуждающие взгляды близких – и это в тот момент, когда было разрушено все мое счастье! Мной овладело отчаяние от одинокого сознания всей глубины пропасти, куда, казалось, я падаю, познавая через боль, любовь, которую уже познала через радость – любовь необъятную, любовь, грозившую мне смертью или безумием, если я лишусь ее, ибо эта любовь являлась средоточием души моей.

Тем не менее к отчаянию примешивался и гнев: не найти ни слова сочувствия у близких, казалось, даже чему-то радовавшихся, – вот что меня возмущало. Я обвиняла их так же, как они меня; и в это время неслыханное событие разогрело мою ярость до последней степени. Когда я распахнула дверь своей комнаты, то неожиданно увидела Феликса; он разворотил ящики секретера, копаясь в моих вещах и бумагах. От ужаса и отвращения я вскрикнула.

– Что там еще? – тут же откликнулся мой брат, который последовал за мной вместе с женой.

– А... Да так, один неуклюжий лакей портит тут мебель! – вскричала я, негодуя.

– Генриетта! – возмутился Феликс, которому грубость моих слов не оставила даже времени на то, чтобы покраснеть от гнусности своего поступка.

– Вон! – бросила я ему. – Убирайтесь из моей комнаты, и чтоб я вас больше здесь не видела!

Брат и Ортанс застыли на пороге моей каморки, покраснев от смущения, что ясно дало Феликсу понять, как им было стыдно за него. К тому же ярость, должно быть, придала мне небывалую властность, так как отважный капитан вышел без единого слова; чело его помрачнело, глаза горели бешенством. Мы обменялись роковыми для нас обоих взглядами: в них горели моя неприязнь и отвращение к нему и его месть и ненависть к Леону и ко мне.

Феликс выскочил, и едва я захлопнула за ним дверь, как услышала его слова, обращенные к брату:

– Мне не удалось найти доказательств.

Доказательств? Доказательств чего? Моей любви? Но в этом не было необходимости! Я призналась, я кричала о ней во всеуслышанье! Значит, он искал доказательств моего бесчестия. Бесчестия!!!

О! Пусть не забывает тот, кто читает этот печальный рассказ, на какой начертан он книге; пусть поймет он, из какого дьявольского расчета позволили ей, после многих других, скрасить мое одиночество. Поначалу я писала не на столь ужасающих страницах. Первым было сочинение, которое называлось «Фоблас», за ним последовало еще несколько – все более и более мерзких и развратных, подсунутых в мой пустынный саркофаг, дабы отравить мою душу; те несколько страниц, что я смогла осилить, осквернили мой взор, прежде чем я поняла наконец, что же все-таки имеется в виду.

Сегодня я знаю, каких доказательств искал Феликс; знаю, что означает это слово – бесчестье! Но тогда – Бог мне свидетель – мои помыслы были столь же чисты, сколь девственна была моя плоть, и любовь, которой они стыдили меня, была ангелом небесным, что снизошел ко мне, не осквернив белоснежные крылья грязью земной.

Меж тем все говорило мне, что обвинения моего семейства шли гораздо дальше, преувеличив мою настоящую вину; раздосадованная суровостью домашних и оскорбительной беспремонностью Феликса, я искала свою ошибку и жалела, что не совершила ее в действительности; мне не хотелось, чтобы мои родные, а особенно Феликс, испытали облегчение, узнав, что я невинна: я доставила бы им радость своим целомудрием, в котором они мне уже отказали.

Мое состояние гнева и горячки было слишком сильным, но вскоре ярость утихла, на смену ей пришла боль.

Я теряла Леона; я теряла его внезапно, без прощаний и клятв, так, что мы не успели сказать друг другу: «Будем страдать и надеяться вместе». Это было ужасно! Несколько раз я порывалась спуститься и признаться отцу, брату или Ортанс, что я невинна, попросить, чтобы они не отпускали Леона или хотя бы дали мне с ним повидаться: от горя у меня совсем помутился разум, как раньше от гнева.

Еще мне захотелось выйти и побродить наудачу по дому или по парку, чтобы встретить или хотя бы увидеть его издалека. Конечно, я бы этого не сделала: я бы остановилась на первой же ступеньке и повернула обратно – я понимаю это, клянусь. Но в тот момент, когда эта мысль внезапно возникла у меня в голове, я подбежала к двери и толкнула ее, но она не отворилась. Они заперли ее снаружи!

О! Да простит им Бог мой грех, ибо это они со всей силой подтолкнули меня к нему. Как! За невинное страдание – ни слова утешения; за боль, которая только могла стать греховной, – ни доброго совета, ни призыва к моим нежным родственным чувствам, ни просьбы не огорчать их, ни даже приказа оберегать честное имя семьи! Под замок! Под замок, словно закоренелого преступника! В тюрьму, как последнюю уличную девку!

Да, Боже, они заслужили мое преступление, и, несмотря на всю тяжесть назначенной мне кары, я не раскаиваюсь в нем; это они погубили меня! Поскольку дверь была заперта, я открыла окно. Они не смогли заточить мой взгляд, и вопреки их воле я все-таки увидела Леона, но Леона удалявшегося, Леона верхом на лошади в самом конце дороги, которая простиралась передо мной. Итак, он изгнан, а я в тюрьме – и все это в одночасье. Палачи и те не так проворны.

Не знаю, что уводило его тогда от меня, от моего отчаяния и негодования; но, что бы то ни было, я выбросилась бы из окна, если бы Леон не подал мне знак: «Надейся и жди!» Я воспрянула духом и уже спокойнее смотрела, как он уезжает, исполненная решимости бороться за свое счастье с кем угодно любыми средствами. Едва я потеряла его из виду, прогрохотал засов – мне возвращали свободу, считая, видимо, что теперь это не опасно. Такая свобода мне была не нужна!

О! Воля возбудила бы только тщетные надежды; я не увидела бы Леона, даже если бы мне позволили бежать за ним. Они этого не понимали, а тем более не догадывались, почему я упорно не хотела выходить; и никто, хотя все уже были уверены в моей невинности, ибо как я потом узнала, протестующие заверения Леона просветили их, – никто не пришел ко мне с утешением, чтобы снять с меня обвинения; они оставили на моей душе клеймо позора, так как Феликс говорил им, что не нужно обращать внимания на детскую влюбленность, а тем более на детские обиды.

Итак, я оставалась у себя в полной уверенности, что они считают меня согрешившей; даже убедившись в моей невинности, они не посчитали нужным извиниться. Может быть, мне стоило взмолиться о прощении, но это значило бы оправдываться перед Феликсом, что было для меня совершенно немыслимо. О! Я в полной мере испытала две великие страсти,

присущие женщине, – любовь и ненависть. Я была готова умереть за свою любовь к Леону, и смерть была краше для меня, чем возможность потешить самолюбие своего палача.

Меж тем наступил час ужина, и меня вполне могли бы позвать к столу. Но... меня наказали. Я была так молода; они забыли, что я влюбилась и что любовь – высшее наслаждение души. Мне смеяться хотелось над такой карой. Никто даже не удосужился вспомнить самое себя! Та же Органс, вышедшая замуж в шестнадцать лет, и не думала о том, что стала женщиной и матерью в том же самом возрасте, в котором считала меня капризным дитятей. Но все-таки кто-то пожаловал ко мне: то была горничная, которая что-то принесла; я уже хотела отослать ее, но она украдкой передала мне бумажку; несколько слов были неясно начертаны на ней карандашом:

«Мне приходится уезжать, но вечером я вернусь. Нужно поговорить: нам необходимо найти какой-то выход... В десять часов я буду у маленькой калитки в парке. Ответьте – придете ли вы? Я жду».

По странному стечению обстоятельств я никогда до того не видела почерка Леона, и записка не была подписана; и все-таки я ни секунды не сомневалась в ее авторстве и, быстро черкнув под тем же текстом «Да», вернула листок служанке.

Признаться, это движение, которое предопределило мою судьбу, я сделала не раздумывая. Служанка торопилась; ждал и Леон. К тому же и я чувствовала, что мне надо увидеть Леона; не потому, что я любила его – могу поклясться, – а потому, что хотела рассказать ему, что буду делать, и узнать, что он рассчитывает делать дальше; словно нам предстояло держать совет насчет будущего в момент общей беды.

Только когда мое короткое послание отправилось по адресу, я сообразила, что только что назначила свидание; и все-таки это было совсем не то, что называют любовным свиданием. Если бы накануне Леон умолял бы о нем на коленях, я бы ответила решительным отказом. А в этот день я сама попросила бы его прийти, если бы он меня не опередил. Общее несчастье объединяло и оберегало нас. Еще одно опасение внезапно взволновало меня: а вдруг это ловушка, которую приготовил мне Феликс? Но зачем? Чтобы заставить меня совершить ошибку? Ну и что! Ради спасения своей души, ради единственной надежды, которая осталась в моем отчаянном положении, я была готова на любой проступок; еще одно упрямство, еще одно непослушание, очередной бунт против Феликса и новая попытка избавиться от его притязаний. Любовь здесь уже была ни при чем – если бы мне понадобилось записать заранее все, что будет сказано на этом свидании, едва ли я упомянула бы любовь, зато мои слова свидетельствовали бы о решимости заставить вмешаться семейство Леона и смягчить позицию моих близких. Да, я и сейчас могу поклясться, что и не помышляла о плотской любви; я уже подсчитывала, сколько мне осталось шансов на то, чтобы не наложить на себя руки, не ведая, что иду навстречу другим опасностям.

Время шло, и в наступившей темноте я без страха ждала той минуты, когда наконец выскользну из комнаты. Только один раз у меня по спине пробежал легкий озноб: смутный образ падшей девицы, которая бежит из отчего дома, промелькнул, словно призрак передо мною, пока я спускалась по лестнице, казалось, стонущей под моими ногами. Мне приходилось раньше видеть полотна, которые изображали нечто подобное, и теперь в моем воображении их героини принимали мое обличье.

Будь я хоть немного опытней, я, наверное, отступила бы тогда перед этими туманными предостережениями; но против меня действовали моя чистота и неискушенность. Бедное дитя! В ту минуту я жила только сердцем, не понимая, что и сердце может быть обесчещено.

Я прошла через сад и открыла калитку, ведущую в парк; Леон ждал. Он вошел и взял меня за руку; в первый раз он дотронулся до меня, но я не испытала никакого волнения, настолько была смущена.

– Генриетта, – прошептал он, – зайдем в этот домик; здесь мы будем в безопасности; а то вдруг старый служака вздумает побродить по парку; идем же.

Опасаясь Феликса, я не стала противиться Леону. В полной темноте мы вошли в домик. Леон помог сесть мне на диванчик и расположился рядом.

Если бы я заговорила первой, то задала бы такой вопрос:

«Что же теперь с нами будет?»

Но Леон опередил меня; казалось, он и не помнил о наших бедах, так как жарко прошептал:

– О Генриетта, как давно я уже умираю от желания поговорить с тобой! Уже полгода я люблю тебя! Что за изощренная пытка – вот уже шесть месяцев меня зовут твои жгучие глаза, а я ни разу не смог поговорить с тобой толком и рассказать тебе о своих терзаниях!

Его слова и тон, которым они были произнесены, покоробили меня и внушили какой-то страх. Я пришла не для того, чтобы слушать о любви, – я и без слов прекрасно все знала, ведь я сама так любила! И теперь, когда он впервые без помех выразил вслух свои мысли, я почувствовала некоторое разногласие наших сердец. Неужели он любил меня меньше, чем я, раз чувствовал необходимость говорить об этом? Но я сказала ему о другом:

– Леон, что будет с нами? Вот где пытка, вот в чем беда!

– О нет! – ответил он, еще понизив голос. – Это не так, если только ты любишь меня так же, как я! Мне придется уехать, но я скоро вернусь! Мой отец весьма состоятелен, а его нежность ко мне не имеет границ; я расскажу ему все, и мы вместе приедем просить твоей руки; они не посмеют отказать нам.

– Вы уверены?

– Да! Я добьюсь твоей руки! И хочу верить, что ты будешь ждать меня...

– Леон, – я взяла его за руку, – клянусь, пусть я умру – никто другой, кроме вас, не будет моим мужем.

Он сжал мои ладони, прижал к себе и повторил:

– О! Ведь ты любишь меня, Генриетта... Любишь... Ты будешь моей – клянешься?

Я только что сама сказала ему об этом. Мне показалось, что на такой вопрос я не должна отвечать. Но внутри меня поднималось странное волнение. Сердце мое то сжималось, причиняя боль, то расширялось, угрожая задушить; мои ладони трепетали в сильных руках Леона, я содрогалась от озноба и задыхалась, а он продолжал, не забывая в то же время притягивать меня поближе:

– Ты ведь любишь меня? Любишь?

Неведомая мне раньше мутная волна нахлынула в сердце и ударила в голову; казалось, сознание оставляет меня, а на его месте остается только головокружение, от которого я вот-вот упаду; я едва смогла выдавить из груди сдавленный стон:

– Пустите... Оставьте меня...

Не обращая внимания на мой испуг, он крепко обнял меня.

Я оттолкнула его, не понимая, чего он хочет:

– Нет! Нет!

– Ты любишь меня, и ты будешь моей, – шептал он, – ты будешь мне принадлежать, будешь, милая моя Генриетта, очень скоро... а вернее, сейчас, и тогда я поверю, что ты любишь меня так, как я тебя, и что жизнь твоя принадлежит мне так же, как все мое существо принадлежит тебе!

– Да, – подтвердила я, – и я уже поклялась: я буду вашей, Леон! Но, Леон, не пора ли остановиться?

– Почему вы так противитесь? – настаивал он, силой удерживая мои руки; и тут я почувствовала, как его губы прикоснулись к моим.

Я задрожала всем телом и вскочила, совершенно растерявшись.

– Нет, нет, нет! – вскричала я, отказывая скорее круговерти внутри себя, чем своим желаниям, ибо, клянусь именем Господа, я не ведала тогда, чего он от меня добивался.

– Генриетта, Генриетта! – повторял он.

– Ах! – в крайнем испуге воскликнула я. – Леон, Леон, вы меня не любите!

И я зарыдала.

– О! Как ты могла сказать такое, Генриетта? – грустно произнес он и опять обнял меня. – Я не люблю тебя? Ради этой любви я полгода переносил оскорбления старого солдафона, который решил, что ты – его собственность; только, чтобы между нами не было крови, я не убил болвана, посмевавшегося заявить мне, что ты будешь принадлежать ему.

– Этого не будет никогда!

– Никогда? Ты сказала – никогда? Но он остается, а я уезжаю. И все будут умолять тебя, угрожать, твердить, что я тебя не люблю, и возводить на меня всяческую напраслину. И кто знает, может быть, в минуту сомнений, страхов и слабости ты уступишь и предашь меня...

– Леон, никогда!

– О! По тому, как ты сопротивляешься моей любви, не скажешь, что ты не уступишь перед их ненавистью.

– Смилуйся, Леон, пожалей! Я люблю тебя!

– Генриетта, разве ты не чувствуешь, как рвется твое сердце, как кипит твой разум? О! Неужели ты любишь меня не так, как я тебя?

А ведь все обстояло именно так: мое сердце разрывалось, я трепетала всем своим существом, а мысли и разум блуждали где-то далеко. Я была в его руках; его дыхание обожгло мое лицо, губы встретились с моими, и, хотя все происходило в полной темноте, я закрыла глаза. Я отдалась на волю неведомой греховной стихии, но мне казалось, что я не должна видеть этого; хотя и в полном сознании, я оставалась в руках Леона недвижимым и безжизненным телом. Мучительный упадок духа и сил подавили мое сопротивление – он мог бы убить меня, и мне ничуть не было бы больно. Я ровным счетом ничего не чувствовала; напрасно он пытался расшевелить мое безжизненное тело крепкими объятиями, тщетно пытался обнаружить усиленное биение сердца и вызвать хоть слово в ответ: мне казалось, я умираю – и все; я знала, что теперь я виновна, опозорена и обесчещена, но не понимала почему.

Только его счастливое восклицание вырвало меня из этого оцепенения; я хотела оттолкнуть его, отругать, но его губы заглушили мои проклятия, а поцелуи осушили мои слезы; я была в его власти.

Я заплакала, ведь только что я утратила свои иллюзии. Я познала то, что мужчины называют высшим блаженством.

Блаженство? Разве это не надругательство над любовью? Бедный падший ангел, я упала с небес на землю, ибо я была настоящим ангелом; будь я обыкновенной женщиной, подобной многим другим, я бы или сопротивлялась, или тоже была бы счастлива; но я не представляла, что такое мужская любовь, и потому уступила.

Меж тем счастливое иступление Леона немного успокоило меня, и я позволила себе снизойти до него, когда он, встав на колени, проговорил:

– Ах! Благодарю тебя, душа моя! Теперь ты принадлежишь мне, как ребенок принадлежит своей матери. Теперь они не посмеют не отдать мне твою руку, или же мы умрем вместе. Генриетта, Генриетта, ну скажи, что прощаешь меня...

Мне показалось, я понимаю причину его упоения: он только что убедился в моей любви. О, ничтожный залог любви женщины – ее честь! Я затаила в себе раскаяние и разочарование, не желая омрачать блаженство, только что подаренное Леону.

И вот тогда, только тогда, он заговорил о планах на будущее; я позволила говорить ему сколько угодно. Мне ничего не оставалось, как всецело довериться ему; я утратила какое-либо

право на совет, на какую-либо просьбу – я могла больше не заботиться о себе; он хотел получить мою жизнь – я дала ее, и теперь он один мог распоряжаться нашей общей судьбою.

Вскоре мы разошлись – он уехал, а я вернулась к себе.

Наступила ночь непрерывных рыданий, за которой последовал день ужасных мук.

О! Можно ли вообразить терзания страшнее? Помощь, которая могла бы спасти меня, если бы пришла своевременно, слишком запоздала. Ортанс, отец и матушка, встревоженные моим упорным нежеланием спускаться, поутру явились в мою каморку и объяснили, что безумная ревность Феликса сбивала их с толку; что они не знают за мной другого греха, кроме вполне простительной влюбленности, что мне позволят сколько угодно плакать и страдать; в то же время они выразили надежду, что я пойму необходимость вернуть покой и радость всей семье и поборю эту страсть, скорее неосторожную, чем греховную.

Боже мой, что это было за утро! Старик отец, матушка – сама добродетель, милая Ортанс и всегда столь справедливый брат собрались вокруг моей постели и повторяли одно и то же со слезами на глазах виноватыми голосами. И я не бросила им в лицо: «Безумцы, палачи! Уже поздно: сначала вы позволили своему чаду упасть в канаву, а теперь протягиваете ему руку; не нужно мне ваше участие!» Я не сказала им ничего. Я только извивалась в рыданиях, не слушая утешений; они решили, что я при смерти, и оставили наконец меня в покое.

О! Если бы я знала в тот момент, где разыскать Леона, я бы выскользнула из дома, нашла бы его и сказала: «Ты так хотел меня; бери же меня целиком, дай мне крышу над головой, семью, пропитание и имя, ибо я стыжусь родного имени, дома и того хлеба, что мне давали: все это я бессовестно ворую; я отрекаюсь, отвергаю все это!»

Болезнь избавила меня от отчаяния; горячка не отпускала меня добрых двадцать дней.

Когда жар спал, слабость не позволила мне что-либо предпринять; у меня хватало смелости лишь на то, чтобы лгать и дрожать от страха.

Я почувствовала, что, несмотря ни на что, заслуживаю жизнь, только когда неведомое раньше ощущение, более могущественное, святое и невыразимое, чем любовь, посетило меня, закалив мою душу, – я догадалась, что скоро стану матерью. Прежде чем обычные признаки уведомили меня об этом, не знаю, какое внутреннее чувство подсказало мне, что я не имею права умирать. Меж тем то была лишь смутная надежда, приходившая ко мне в часы одиночества; не знаю, почему я смотрела с совершенно новым для себя любопытством на дочурок моей сестры. Я восстанавливала в памяти их лица и умиротворительное агуканье в первые дни после рождения. Я бережно сажала их себе на колени, ласково баюкала и старалась припомнить колыбельные, что напевали им кормилицы. И вот, однажды вечером, когда я встала на колени в своей комнате, с отчаянной горячностью обращаясь к Богу, умоляя Его отвернуть от меня несчастья, которые я предчувствовала, всеми силами души обещая Ему искупить свой грех праведной жизнью, полной раскаяния и добродетели, я поняла, что во мне пробуждается еще одна жизнь.

О Господи! Сколько же любви ты дал сердцу женщины! Но еще больше любви ты дал ее чреву. Не могу передать, каким криком счастья я, бедная погубленная девушка, приветствовала существо, нарождающееся во мне для того, чтобы стать неопровержимым свидетелем моего греха; не могу передать, какую священную обязанность я почувствовала к созданию, которое, не успев даже родиться, обесчестит, а то и убьет меня.

Этот святой долг возвратил меня к жизни, вырвав из состояния страшного уныния. В течение двух месяцев после отъезда Леона я не имела о нем никаких вестей; при мне избегали всяких разговоров о случившемся, хотя я догадывалась по непрерывному шушуканью близких, что моя судьба была предметом постоянных дискуссий в семье. Я готовилась к тому, что назревало; я знала, что от меня будут скрывать действия Леона, пока он не преодолеет все препятствия, что нас разделяют; я не беспокоилась, ибо верила любимому.

Но когда я поняла, что уже не одна, тогда пришел страх уже не только за себя и моя тревога стала столь ужасающей, что не давала мне спать. Я стала стремиться разорвать завесу окружавшей меня таинственности. Но прошел еще целый месяц, а ничто не говорило, что намерения семейства на мой счет переменились. Похоже, неразумной девчонке, тосковавшей от дикой страсти, из жалости предоставили право убиваться сколько угодно. Обращались со мной ласково, идя навстречу моим малейшим прихотям, если только у меня случайно выскакивало слово, хоть немного напоминающее желание; но в душу ко мне никто не заглядывал. Ни матушка, ни папенька, ни Органс не считали нужным протянуть мне руку, пожалеть и сказать, чтобы я выбросила из головы свою детскую влюбленность.

Положение, которому я подчинялась, дабы себя не выдать, вскоре стало невыносимым. Что с Леоном? Почему он не нашел способа уведомить меня о предпринимаемых им шагах? Почему я сама не поставила его в известность о том, что со мной происходит? На смену унынию пришло горестное возбуждение. Служанка, передавшая мне как-то записку Леона, теперь избегала меня, явно опасаясь ответственности за свое сочувствие. Как-то я узнала, что за одну только фразу в мой адрес ей пригрозили увольнением. «Бедная девочка, – сказала она, – умрет у них на руках, а они и не заметят».

Добрая женщина была права: я бы умерла, если бы мне дали умереть; но меня решили убить, и я стала защищаться; я противлюсь до сих пор; сколько же это еще будет длиться?

Меж тем время шло, от Леона не было никаких известий. О, мучительные дни и ночи с внезапными страхами и глубоким тягучим ужасом! Если вдруг брошенное кем-нибудь невзначай слово случайно задевало мое положение, я чуть не падала в обморок; затем, оставшись одна, воображала тот момент, когда мне придется во всем признаться или же правда сама выйдет наружу; в бессонной ночи передо мной вставала устрашающая картина: я на коленях в окружении проклинающего меня семейства. Но странным образом ни в моем воображении, ни во сне, ни в самом кошмарном бреду ни разу я не видела Феликса; только какой-то безобразный призрак парил у меня над головой, отвратительно хохоча. Оттого ли это происходило, что в глубине души я понимала – угрожать этому человеку, проклинать его – бесполезно, или оттого, что всей моей фантазии не хватало, чтобы придумать мольбу, которая тронула бы его жестокое сердце?

Я так страдала, что порой мне казалось, мужество вот-вот покинет меня. Я еще не знала тогда жалкую способность человеческой души переносить любые мучения, так что она терпит любые удары, прежде чем угаснуть или потерять чувствительность.

Очень скоро я начала понимать, что это такое. Мне пришлось испытать боль от жгучих ран, разъедавших душу, и леденящие объятия, которые сжимали грудь, останавливая сердце. Не знаю, согласилась бы я сегодня выйти из своего склепа, чтобы заново пройти все эти муки. Первая из них, и единственная, в которой присутствовала какая-то надежда, настигла меня в тот час, когда душа моя настолько устала, что даже малая толика радости означала для нее только новые терзания. Все равно как в тот час, когда сон сковывает веки столь неодолимой тяжестью, что не хочется открывать глаза даже, чтобы взглянуть на собственное дитя.

Вся семья собралась тогда в гостиной; мы представляли собой грустное зрелище, нам докучали даже счастливые детские улыбки – настолько мой вид обескураживал всех своей мрачной безысходностью. Слуга приоткрыл с опаской дверь и тихонько доложил:

– Экипаж одного господина только что остановился у ворот; он идет сюда.

– Он назвался? – спросил брат.

– Да, сударь.

– Ну? Так кто же он?

Слуга запнулся, но потом медленно произнес, глядя на меня:

– Господин Ланнуа.

– Леон! – вскочила я.



– Нет, это его отец. – уточнил слуга, отступая.

На мой радостный возглас все обернулись ко мне.

– Вы сами не замечаете, как с ума сходите, – раздраженно-презрительно обронил отец. – Господин Ланнуа – ну и что? Нужно кричать перед прислугой? Скройтесь в свою комнату... Уходите! Пора поставить точку в этом деле.

По выражению папенькиного лица я видела, что он с большим трудом сдерживает гнев. Я вышла, опустив голову, и прошептала:

– Ах, это вы не замечаете, что я скоро потеряю рассудок.

Едва я осталась одна, как мне страшно захотелось увидеть гостя. Господина Ланнуа, отца Леона, посланца Леона, моего второго отца, мою последнюю надежду; я воображала его почтенным и добрым старцем, несущим снисходительность и поддержку. Я тихо пробралась в кабинет и там, из-за занавесок, разглядела господина Ланнуа и услышала его речь.

Господин Ланнуа оказался моложавым стариком, жизнерадостным и краснолицым, невысоким и плотным, с комичными и вычурными манерами, пронзительным и заурядным голосом. Не удивляйтесь, что в ту первую минуту я так хорошо все подметила – это потому, что каждая из только что описанных черт обдала холодом мое сердце. О, если бы отец Леона имел суровое неумолимое лицо, я бы задрожала от страха, а не от стыдливого отчаяния, ибо заранее почувствовала, что все мои мольбы будут скорее непоняты, чем отклонены.

Можно встать на колени даже перед самой смертью, но не стоит умолять сияющую от самодовольства непроходимую глупость. Пусть эти слова опять ударят меня со всей жестокостью, но я их повторяю, ибо этот человек принес мне тяжелейшее из всех моих несчастий – он отнял достоинство у моих страданий. Он заставил меня покраснеть, но не от стыда, а от отвращения.

Да, когда я задумывала этот рассказ, я считала, что самым ужасным будет описание перенесенных мной пыток, но теперь вижу, что есть вещи, которые невозможно объяснить. Да, когда я поведаю, как меня живьем заточили в этой могиле, вдали от свежего воздуха и солнца, когда изложу в малейших деталях условия моего существования в этой келье, где я медленно угасаю, – да, тогда меня поймут и пожалеют; но как мне передать тот ужас, который испытываешь перед скотской грубостью, что бесчувственными лапами мешают с грязью жизнь и душу несчастной девушки? Ну что ж, я попытаюсь – нужно, чтобы кто-нибудь узнал о моих бедах, и, когда мое желание исполнится, может быть, найдется чуткое сердце женщины, которая поймет меня, оплачет и попросит небо, чтобы мои страдания в этом мире зачлись мне на том свете.

Вначале господин Ланнуа обменялся с моими родными учтивыми приветствиями; затем они перекинулись несколькими фразами о делах; наконец, гость воскликнул, устраиваясь поудобнее в кресле:

– Э-э! Как это? Кажется, здесь кого-то не хватает?

– Кого?

– Черт побери! Ну конечно! А где же наша прелестница, где Генриетта?

– Сударь... – начал было отец.

– Ну-ну, папаша, не надо напускать на себя такой важный вид, мой сорванец все рассказал мне; он любит маленькую проказницу, она его тоже, что весьма понятно, если учесть, что не каждый день моя фабрика выпускает в свет такое совершенное изделие, как этот негодник. Я бы рекомендовал вам поскорее прибрать его к рукам, а то, знаете, хе-хе, матрица ведь утеряна – жена оставила этот мир и понаделать таких больше не сможет, хе-хе.

– Сударь, – вставил наконец отец, потрясенный этой речью, – подобное предложение в такой форме...

– О, форма отличная, смею вас уверить, – так и светился торжеством господин Ланнуа, – я даю этому сорванцу полсотни тысяч экю, наличными, только наличными – заметьте!

– У нас другие планы насчет Генриетты, – сухо возразил мой отец.

– Возможно, но ведь молодые любят друг друга, соображаете? А раз любят, так сказать, заниматься этим делом, то, хе-хе, тут и до урожая недалеко...

Конечно, из всех, кто выслушивал эти скабрзности, я была самой невинной и не подготовленной к подобного рода двусмысленностям, но тем не менее до меня дошло их значение; не желая услышать еще что-либо более сальное, я убежала. Я выскочила в сад и принялась вышагивать по аллеям, словно обезумев, – меня только что лишили последнего шанса на спасение. В ту минуту я ясно поняла, что мое семейство, конечно, откажется от предложения, сделанного в такой форме, и я была воспитана в настолько строгих и достойных манерах, что не могла никого возненавидеть за такой отказ. Что же еще сказать? Бог мой! Да, если бы я не согрешила, не знаю, не отвратил бы этот человек меня от счастья, которое он предлагал. Даже сейчас, когда я нанесла на бумагу грубости из словарного запаса господина Ланнуа, я стыжусь и краснею.

Нужно еще рассказать, как пришла беда и каким образом меня выкинули с этого света так, что никто и не заметил.

Вся в слезах, я металась по парку, захваченная тем помутнением, что ведет к самоубийству. Увы! Если бы в тот момент передо мной открылось море, я бы бросилась в пучину без раздумий! Но я бродила среди цветущих клумб с растоптанной душой, сжимая голову, которая разрывалась от рыданий. И вдруг я увидела, как господин Ланнуа вышел из дома и возбужденно-яростной походкой направился к решетке, возле которой стоял его экипаж. Какой бы отвратительной и грубой ни была его помощь, только он мог дать мне последний шанс. Я устремилась к нему и, увлеченная горем, крикнула ему:

– Как? Вы уже уезжаете, сударь?

В моем отчаянном голосе было нечто столь душераздирающее, что господин Ланнуа опешил, изучая меня с каким-то удивлением; но затем он заговорил все тем же смертоносным тоном, разбивавшим всякие надежды, как колесо безжалостной машины, которой все равно, что дробить – железо, камни или несчастную жертву, вовлеченную в ее неумолимые шестерни:

– Да, черт раздери, убираюсь, и как можно скорее! Какого дьявола разговаривать с этой деревенщиной? Корчат из себя святош! Протестанты и бонапартисты – этим все сказано!

– Сударь! Сударь! – всхлипнула я. – Вы забыли, что мне придется умереть, если вы уедете?

– Да ну? Умереть? Кому это – вам?

– Меня зовут Генриетта, сударь.

– А, Генриетта! Милочка, дорогуша! Принцесса Леона! Увольте, душечка, пусть ваши родственнички сами ищут вам муженька! Ты смотри, до чего они важные!

И, отодвинув меня с дороги, он уже хотел удалиться; но я остановила его:

– Сударь! Сударь! – Я умоляюще сложила руки. – Но ведь Леон любит меня, а я люблю Леона!

– Ну что ж! Оставьте про запас сие благое чувство, оно еще вам пригодится в будущем!

Его слова били мне прямо в душу и, словно пудовые кулаки грузчика, который почем зря лупит женщину, опрокидывали меня при каждом ударе; но после каждого удара я поднималась вновь и, несмотря на новый синяк, пыталась до него докричаться. Наконец я взглянула на этого человека, который источал жизнерадостность и здоровье; и умирающая, погубленная девушка, судорожно схватившись за его одежду изо всех сил, прошептала тихо и отчаянно:

– Я провинилась, сударь... Я скоро стану матерью, я...

И упала к его ногам.

Он спокойно смотрел на меня, в то время как я чуть не задохлась, а затем, отвернувшись, начал насвистывать, припевая:

Вот уж чего я не знал, хе-хе!

Чего не знал, так не знал, ха-ха!

Я лежала лицом к земле, надеясь умереть – настолько меня душили страшные рыдания.

Тем временем меня заметили из дома; брат, отец и Феликс принесли бегом, чтобы положить конец этой ужасной сцене, прекрасно понимая, что она унизительна как для меня, так и для них; а господин Ланнуа все продолжал свою дурацкую песенку.

Когда Феликс поднимал меня, господин Ланнуа торжествующе хохотнул:

– Потише, потише, а то ребеночка помнете!

– Что вы хотите этим сказать, сударь? – возмутился брат.

– Все то же, милостивые государи, – заржал господин Ланнуа, продолжая свою отвратительную игру словами. – Это, знаете ли, иногда случается у молодых людей: посеешь любовь – пожнешь прибавленье!

Я снова упала на землю, и надо мной склонилась ужасающая личина неведомого призрака из моих снов.

Именно так смотрел на меня Феликс.

Его лицо устрашающе перекосилось; затем он выпрямился и, посмотрев в глаза господину Ланнуа, выпалил:

– Подлый клеветник! Вы нагло лжете, сударь!

Господин Ланнуа побледнел, задрожав всем телом. Этот столь грубый с виду человек оказался трусом:

– Помилуйте! Она сама мне сказала...

– Разве вы не видите, – продолжал Феликс, – что бедная девочка не в своем уме?

– Как? Я не знал, честное слово... – торопливо проговорил господин Ланнуа. – Я передам сыну, это исцелит его, избавит от глупого увлечения! Так она рехнулась – прекрасно, прекрасно! Это немного вразумит Леона.

Я сделала усилие, пытаюсь подняться и закричать, ибо господин Ланнуа, казалось, был убежден в истинности слов Феликса; и конечно, все мое поведение только подкрепляло это мнение... Я проползла немного на коленях, желая сказать хоть что-нибудь, но тут силы оставили меня и...

## VIII ПОЛУЗАКЛЮЧЕНИЕ

Луицци читал рассказ, не в силах оторваться; ничто не отвлекало его – ни движения Генриетты, ни плач ее чада, худосочного и бледного создания, родившегося, безусловно, в этом мрачном застенке. Устремив взгляд на рукопись, он с жадностью поглощал строчку за строчкой, подобно кухарке или даме высшего света, увлеченной романом Поля де Кока, как вдруг несчастная узница схватила свой документ и быстро спрятала его в то же место, откуда достала. Минутой позже Луицци увидел, как полы ковра на противоположной от него стене раздвинулись и появился Феликс с корзинкой в руках. Сердце Луицци загорелось яростью при виде капитана. Он был готов закричать, но вовремя вспомнил, с помощью какого сверхъестественного чуда он присутствовал при действе, происходившем далеко от него, и приготовился смотреть со вниманием зрителя, не желающего упустить ни малейшей детали.

Капитан выставил на стол различную снедь из корзинки, и Луицци наконец понял, почему Феликс никогда не ужинал вместе со всей семьей, а требовал обслуживать его по вечерам прямо в домике. Первые минуты после появления Феликса прошли в обоюдном молчании; меж тем лицо последнего сияло внутренним торжеством, которое, казалось, только и ждало удобного момента, чтобы вырваться наружу.

– Так что, Генриетта, – произнес наконец капитан, – каждый день будет все тот же результат?

– Вы сказали – каждый день? А что, сударь, существуют еще дни и ночи? Для меня остались только бесконечные сумерки, вечная темень и горе, которому неведомы ни вчерашний день, ни завтрашний. Я страдаю сегодня, как страдала раньше и как буду страдать; я думаю все то же, что и накануне и что буду думать всегда. На белом свете уходящая ночь или наступающий день могут стать причиной для перемены решения, но я не знаю ни дня, ни ночи, ни утренней, ни вечерней зари; моя жизнь не знает времени и заключается в одной и той же боли и в одной-единственной мысли.

– Генриетта, – продолжал Феликс, располагаясь перед пленницей словно для того, чтобы было сподручнее уловить волнение на бледном лице, на котором, казалось, застыло только одно чувство боли. – Генриетта, вовсе не день или ночь могут повлиять на столь непоколебимое решение, как ваше; вот уже шесть лет, как наша семья, воспользовавшись вашим беспамятством, спрятала от всех глаз вашу постыдную слабость в этой келье, откуда вас может освободить только одно слово, и вы никак не хотите его произнести...

– Вы никогда не услышите его! – перебила Генриетта. – Единственной надеждой в жизни для меня была любовь Леона, и единственной надеждой в могиле остается только его любовь.

– А меж тем он предал ее, – ухмыльнулся Феликс, – он женился на другой.

– Нет, Феликс, вы лжете. Леон не мог отдать сердце другой женщине, если я что-то еще понимаю.

– Вы не забыли, что умерли для него и для всей вселенной?

– И все-таки Леон не предавал меня; это вы совершаете грех по отношению к нам обоим.

– Что ж, я принимаю этот грех на душу, хотя бы потому, что он делает вашу надежду несбыточной.

– Нет, я уже сказала, сударь: я вам не верю, Леон не мог жениться. Тот, кто посмел заточить меня живьем в могиле, тот, кто взял на душу больший грех, чем убийцы или отравители, для кого законы заслуженно предусматривают только один исход – эшафот, тот не остановится и перед прямым обманом или поддельными письмами, чтобы причинить мне еще большее страдание.

– Есть бумаги, Генриетта, которые невозможно подделать – например, приговор суда. Скоро я предъявлю вам документ, из которого следует, что Леону Ланнуа много лет придется провести на галерах. Вот тогда мы посмотрим, будете ли вы все так же лелеять свою драгоценную любовь и все так же строить из себя оскорбленную добродетель.

– Пусть даже это правда – все, что вы мне тут наговорили! – воскликнула Генриетта. – Тогда я умру с любовью! Но если какая-нибудь случайность вызволит меня отсюда, тогда я буду обожать его по-прежнему и рядом с его женой, и в позорных кандалах на каторге!

– Генриетта, – мрачно продолжал Феликс, с яростной нервозностью оглядываясь вокруг, – разве вы не понимаете, что чаша терпения уже переполнена и вам придется так или иначе смириться с судьбой?

– Навряд ли ваше терпение длилось дольше, чем мое заточение. И если мне суждено умереть здесь, не увидев белого света, так что ж – давайте, капитан, хоть сейчас! Ибо если вам надоело пытаться меня, то я устала от терзаний, смерть положит конец и моим и вашим мукам.

– Генриетта, – сказал Феликс, – выслушайте меня внимательно: последний раз я даю вам возможность выбора между жизнью и смертью; я обманул вас, когда сказал, что вас считают умершей; мои слова в присутствии господина Ланнуа были им подхвачены и повторены; все подумали, что вы сошли с ума, и мы воспользовались этим, распространив слух, что мы отправили вас за пределы Франции. Так что для всех вы пребываете в каком-нибудь желтом доме то ли в Америке, то ли в Англии; вы можете никогда оттуда не вернуться, а можете приехать и завтра. Но вы должны понимать, Генриетта, что между вами и мной стоит слишком большое преступление, чтобы я не сковал ваши уста цепями, которые вы не посмеете разорвать. Вы получите свободу, только став моей женой и оставив мне вашего отпрыска как заложника на случай, если вздумаете мне мстить.

– Вы правы, Феликс, – согласилась Генриетта, – между нами – подлое преступление; но оно будет куда более омерзительным, чем вы думаете; я хочу, чтобы вы пошли до конца. Весь ужас моих мук невозможно даже представить; но клянусь, я не стану сокращать отмеренный мне срок ни на один день, ни даже на час; вам придется убить меня, Феликс, и предстать пред Богом и людьми с обгавленными кровью руками, так как я тоже вас обманула: я не верю больше в любовь Леона и вовсе не из любви черпаю силы для борьбы с отчаянием. Только ради мести я еще существую! Не вздумайте расслабиться хоть на минуту, капитан! Да, я порой мечтала: отдаться вам, запутать вас до того, что вы поверите в мою любовь, купить таким образом один час свободы, один час, которого мне хватит, чтобы вы предстали перед судом человеческим; но я отказалась, и не из страха перед грехом, а из опасения, что не сумею отомстить вам как следует. Мне больше по нраву обращение к суду Божьему, пред которым вы предстанете просто грязным убийцей.

Слушая, Феликс смотрел на Генриетту тем безжалостным неподвижным взглядом, который, казалось, примеривается, как наверняка поразить жертву, чтобы избежать лишнего шума и возни; наконец он отвел глаза, подошел к двери, через которую вошел, плотно прикрыл ее, словно желая еще глубже закопать в тиши тайну этой могилы, повернулся к Генриетте и глухо произнес:

– Генриетта, от вашей смерти преступление не станет более подлым, угрызения не будут ужаснее, но уж беспокойства точно станет поменьше. У нас гость; он бродил сегодня вокруг этого домика, мысленно удивляясь, видимо, почему никто не переступает через его порог. Этот хлыщ должен войти сюда завтра, чтобы его подозрения не переросли во что-то большее; кроме того, когда он войдет, никакой крик, никакой писк или плач не должны подсказать ему, что эти стены скрывают живое существо. Так вот, Генриетта: или ты говоришь мне «Да», или смерть.

– Смерть, только смерть! – крикнула Генриетта.

– Не забывай, несчастная, что мое преступление есть преступление и твоей семьи, после того как они стали невольными соучастниками, они стали и вынужденными сообщниками;

после того как они позволили упрятать тебя сюда на несколько дней, они оставили тебя здесь на недели, затем на месяцы и годы. Так что мой прошлый грех они взвалили и на себя, а будущий – тем более разделят вместе со мной; не забывай, что не только меня ты увидишь на эшафоте; там же окажутся и твой дражайший папенька, и любимая матушка, и ненаглядный братец...

– Пусть! – вскричала Генриетта. – Они начали терзать меня твоими руками, так пусть и прикончат твоими же лапами; я отволоку на плаху без всякой жалости – если только смогу – и тебя, и всех своих родственничков. Неужели ты не понял, что только что возродил мою надежду? Так здесь есть человек, который тебе подозрителен? И этот человек бродит вокруг дома? И он может меня услышать? О! Если Богу угодно, чтобы это сбылось, пусть он придет, и да услышит он мои вопли сквозь стены проклятой тюрьмы! Помогите! Помогите!

Генриетта начала кричать так пронзительно, что Луицци, увлеченный этим страшным спектаклем, шагнул вперед, словно повинувшись этому горестному призыву. Испуганный Феликс кинулся на женщину:

– Замолчи, несчастная! Замолчи!

Но в этот момент Генриетта проскользнула в дверь, что вела наружу из зловещей темницы; быстрым отчаянным движением она открыла ее и бросилась бежать, не переставая кричать. От страха и ярости Феликс машинально схватил нож, который незадолго до того положил на стол, и рванулся за ней; он уже догонял ее на первых ступеньках узкой винтовой лестницы, когда Луицци, забыв, что он присутствует при этой ужасной сцене только благодаря дьявольскому наваждению, устремился на Феликса с криком:

– Стой, мерзавец! Стой!

Ему казалось, что он вот-вот схватит капитана; но вдруг, словно наткнувшись на невидимое препятствие, барон упал, оглушенный сильным ударом. Острая боль во всем теле смешивалась с общим ошеломлением от падения. Мало-помалу Луицци пришел в себя и открыл глаза; иллюзия кончилась. Он лежал на земле под окном своей комнаты; отдавшись на волю эмоций, он выбросился в окно прямо через стекло. Барон хотел сделать усилие, чтобы подняться и бежать к домику, где происходила кровавая трагедия, но силы оставили его, и он потерял сознание...

*Конец первого тома*

## Том второй

### I НОВЫЙ ДОГОВОР

Луицци очнулся в комнате, предоставленной ему господином Буре; рядом с постелью горела лампа, у изголовья сидел слуга.

Прошло довольно много времени, прежде чем барону удалось собрать воедино осколки воспоминаний. Понемногу несчастье и его причины восстановились в памяти или, вернее, представились ему как кошмарный сон, в реальность которого он отказывался верить. Луицци приподнялся на своем ложе, чтобы осмотреться, и почувствовал страшную слабость. Заметив повязки на руках, он понял, что ему пускали кровь, и, смутно припомнив, какой высоты было окно, в которое он умудрился вывалиться, удивился, как вообще остался жив; затем ему в голову пришло подозрение, что он, наверное, сломал себе что-нибудь. Пошевелив поочередно всеми конечностями, барон прислушался к ощущениям в суставах и сочленениях и с облегчением обнаружил, что все цело.

После самообследования Луицци вернулся к размышлениям об ужасной сцене, свидетелем которой он стал и страшную развязку которой хотел предотвратить. Прикованный к постели слабостью и болью, он начал искать глазами какой-нибудь предмет, за который мог бы зацепиться, или кого-нибудь, к кому мог бы обратиться с просьбой. Тогда он и обнаружил находившегося в комнате слугу.

Этот шалопай крайне легкомысленно относился к несомненно данному ему поручению наблюдать за малейшими движениями больного, ибо целиком погрузился в чтение какой-то газеты и при этом беспрестанно покусывал ногти, отличавшиеся необычайной красотой. Некоторое время Луицци изучал его, но так и не припомнил такого среди прислуги господина Буре. Наглый и беззаботный вид бездельника определенно не понравился барону. Впрочем, больные, словно женщины, терпеть не могут, чтобы окружающие занимались чем-нибудь, кроме них. Раздражение Луицци перешло чуть ли не в гнев, когда этот лакей, подленько ухмылявшийся и тихонько насвистывавший какой-то мерзкий мотивчик, вдруг принялся похохатывать:

– Ну и умора! Вот это да!

– Похоже, вам попалась весьма забавная статейка! – с яростью прорычал Арман.

Лакей покосился на Луицци:

– Судите сами, господин барон: «Вчера состоялся поединок – дуэль между господином Дилуа, торговцем шерстью, и господином Шарлем, его молодым приказчиком. Последний, получив пулю в грудь, скончался сегодня утром. Всякие домыслы о причине ссоры отпали сами собой после внезапного отъезда госпожи Дилуа».

– Великий Боже! – Луицци аж подбросило. – Шарль убит!

Лакей продолжал как ни в чем не бывало:

– «Полагают, что предположения жены одного известного в нашем городе нотариуса о том, что госпожа Дилуа не чуралась интимных отношений с юным Шарлем, недалеки от истины».

– Что! Так и написано? – ошеломленно переспросил Луицци.

– О, это еще не все, – рассмеялся лакей. – Слушайте дальше: «Десять часов вечера. Нам стало известно о происшествии еще более трагическом. Только что маркиза дю Валь покончила с собой, выбросившись с верхнего этажа своего дома. В этом самоубийстве есть странное обстоятельство, которое необъяснимыми узами связывает его с событиями вокруг госпожи

Дилуа, а именно записка, найденная в сжатом кулаке маркизы. Вот несколько строчек из нее: «Этот А. – подлец; он не сдержал данного тебе слова и все разболтал. Он погубил меня... И тебя... Тебя! Бедная, бедная моя Люси! Какое горе...» И подпись: «Софи Дилуа». Все задаются вопросом, кто же сей подлец, обозначенный инициалом А... То ли это имя, данное при крещении, то ли фамилия. Удивляет также обращение на «ты» между женщинами, принадлежавшими к различным слоям общества, ибо они не знали друг друга и даже в детстве не могли быть близкими подругами по пансиону, так как маркиза до замужества не покидала дома матери (бывшей графини де Кремансе), а госпожа Дилуа воспитывалась из милости бедной пожилой женщиной, принявшей ее в дом чуть ли не в младенческом возрасте».

Ужас и оцепенение не отпускали Луицци несколько минут. Софи Дилуа, Люси, Генриетта, госпожа Буре – все эти женщины словно привидения в белых одеяниях витали вокруг него.

«Я убил одну и позволил убить другую...» – думал он; как будто чей-то неземной голос подсказал ему эту фразу, и он повторял и повторял ее про себя.

Барон растерянно оглядывался вокруг, не в силах двинуться с места; не было на свете человека, с кем он мог бы поделиться тем, что только что узнал; и в полном отчаянии Арман протянул к небу молитвенно сложенные руки:

– О Боже мой! Боже! Что же делать?

Едва он произнес эти несколько слов, как лакей вдруг преобильно шлепнул его по пальцам.

– Это что еще такое? – возмутился слуга. – Вы перебегаете к врагу при первой же опасности? Это недостойно ни француза, ни дворянина!

– А-а, Сатана, так это ты...

– Да, я.

– Кто тебя звал, холоп?

– Как кто? Ты ведь хотел знать историю госпожи Дилуа и маркизы.

– Ты отказался рассказывать мне о них.

– Вовсе нет; я только отложил свою повесть на неделю, которая уже прошла.

– Значит, я валяюсь здесь...

– Уже двое суток.

– А что с Генриеттой?

– Не торопись, хозяин. Ты все узнаешь, но в свое время.

– Неужели Феликс убил бедняжку?

– Если бы он ее убил, то поступил бы разумно – оба избавились бы от мучений; особенно Генриетта, в глубине души она уже устала от роли, которую продолжала играть из самолюбия.

– Как ты можешь такое говорить? Она дышала любовью, которая никому и не снилась!

– Э нет, хозяин! Она уже не любила Леона и, по правде говоря, не любила его никогда.

– Ты, нечистый, готов облить грязью все что угодно!

– Вовсе нет, и объясню почему: Генриетта обожала не Леона, а любовь, которую к нему испытывала. Этот юноша встретился ей как раз вовремя, когда ее душа готова была распасться, вот он и стал воплощением ее прекрасных грез; он оказался рядом тогда, когда ее сердце пылало желанием сплестись с кем угодно, лишь бы найти опору. Но Леон вряд ли был достоин той страсти, которую породил; я очень сомневаюсь, что он понял бы ее, если бы только оказался способен осознать всю силу этой любви. Леон давно забыл и думать о Генриетте, считая ее умершей; он женился, обзавелся парочкой отпрысков, которых назвал Нини и Лоло, потихоньку лысеет и быстро наращивает брюшко; он не прочь пропустить пару стопочек и вздремнуть после обеда; совсем недавно он полностью обанкротился и потерял все свое состояние. Если бы Генриетте позволили ввериться Леону, она настрадалась бы куда больше, чем в могиле, ибо в могиле умерли бы только ее надежды на неземное счастье, а в жизни ей пришлось бы пережить утрату всех самых святых чаяний и веры в любовь.



В голосе Сатаны слышалась горечь, и Луицци пристально всмотрелся в него, словно захотел проникнуть в самые сокровенные мысли демона:

– Ты считаешь несчастьем – потерять веру и надежду?

– То было бы бедой для Генриетты – вот и все, что я имел в виду. Терпеть не могу общие теории, из которых выводят абсолютные принципы, – они так же хороши, как униформа. Это все равно что ты судил бы о маркизе дю Валь по поведению госпожи Буре – ведь обе они отдались мужчине после пары часиков общения...

– О, кстати! Так правда, что Люси умерла? И газета не врет?

– Нет. Все верно.

– И это я убил ее?

– Ты спустил курок заряженного ружья.

– Она была в незавидном положении?

– О, в весьма и весьма незавидном! – ухмыльнулся Сатана. – Я кое-что расскажу тебе, и тогда суди сам...

– О, только не сейчас, – простонал Луицци, – только не этим вечером. Как-нибудь потом...

– Нет, барон, ты меня выслушаешь, ведь я предупреждал; раз уж ты требовал откровенности, то, будь милостив, терпи до конца.

– Знаю, но неужели нельзя увильнуть от этой обязанности?

– Ну, если ты дашь мне несколько монеток из того кошелька...

– По месяцу моей жизни?

– О нет! Из-за такой мелочи я не стану лишать тебя удовольствия послушать рассказ о причиненном тобою же зле.

– Ты же видишь, нечисть, у меня нет сил слушать.

– Я дам тебе их, сколько захочешь.

– Я накроюсь подушкой, я заткну уши!

– Это для меня не преграда.

– Умолкни, Сатана, умоляю; я готов слушать твои душещипательные истории, но только не сейчас.

– А что толку говорить, когда раны зарубцуются и сердце оправится от удара? Рассказ имеет смысл, пока один страдает, а другой лечит. Я что, раб тебе и должен повиноваться беспрекословно? Разве ты не знаешь, что тот, кто нанимает убийцу, сам оказывается в его власти? Ты купил услуги Дьявола, а потому принадлежишь ему!

Произнеся эти слова, Сатана, чей облик несколько затерялся в полумраке комнаты, вдруг приобрел черты властителя ада и улыбнулся той прекрасной и пугающей улыбкой, что вызывает сожаление у самого Господа Бога, напоминая о прошлом величии милого и нежно любимого ангела, которого он был вынужден наказать и который оставил в его божественной душе незаживающую рану от невозможности когда-нибудь даровать ему прощение.

Жалкий и дрожащий Луицци не вынес этой улыбки; она ввинчивалась ему в сердце, словно зазубренный шуруп, разрывающий плоть при вращении.

– Смилуйся, – всхлипнул он, – я выслушаю тебя, когда захочешь.

– Хорошо, но учти – момент я выберу сам. А что ты мне за это дашь?

– Месяц моей жизни.

Дьявол расхохотался:

– Ты, верно, уверен, что в твоей мошне полно монет, раз так гордо кидаешься ими.

– Боже! Боже мой! – возопил Луицци, шаря под подушкой в поисках своей жизненной кассы.

Найденный кошелек показался ему почти пустым.

– Что, я так близок к смерти?

– Э-э, насчет будущего мы не договаривались, а потому мне нечего тебе ответить! Вот о прошлом... о прошлом я расскажу с удовольствием.

И совершенно непринужденным тоном он начал:

– Госпожа дю Валь, которую ты угробил...

– Ну хватит, довольно... – простонал Луицци.

Ужасный вихрь закружился в голове Луицци, жар стучал в виски, бледные, изможденные призраки толпились вокруг него. Рассудок покидал барона, но страх перед безумием пока еще был сильнее страха перед смертью, и он выдохнул:

– Ладно, бери, только оставь меня в покое.

Дьявол схватил кошелек и открыл его; Луицци, увидев поспешность Сатаны, хотел было вырвать обратно драгоценные монеты, но не смог и пошевелиться; он видел, как пальцы Сатаны скользнули внутрь и вытянули одну монетку. В ту же секунду ледяной холод объял сердце Армана, жизнь его остановилась, и больше он ничего не чувствовал.

Пробило три часа.

## II ДИЛИЖАНС Возвращение к жизни

Пробило три часа; Луицци почувствовал, как его дернули за ногу, и грубый мужицкий голос рявкнул:

– Эй, ты, быстро давай в экипаж!

Луицци проснулся в какой-то убогой комнатухе; он спрыгнул с кровати, ощущая себя совершенно здоровым и полным сил. Барон растерянно оглянулся: его кошелек и колокольчик лежали на столе; но где он? Почему его будят? Он открыл окошко. Стояла холодная ночь. В просторном дворе запрягали дилижанс. К Арману вернулись воспоминания, и прежде всего о новой сделке с Дьяволом. Он понял, что находится не у господина Буре и не в Тулузе. Зима еще продолжалась, но та ли зима? Или минуло уже много зим?

Луицци взял огарок свечи, который ему только что принесли, и первым делом всмотрелся в маленькое зеркальце, висевшее на гвозде над небольшим комодом из орехового дерева. Его лицо почти не изменилось, если не считать отросших бакенбард. «Сколько же времени отнял у меня Дьявол?» – подумал Луицци.

– Быстрее, быстрее! Все в экипаж! – крикнул тот же человек, который разбудил Армана. Затем он снова появился на пороге:

– Как? Вы еще не одеты? Вы же торопились больше всех! Даю вам пять минут: не будете готовы – пеняйте на себя.

Луицци машинально оделся; он прекрасно отдавал себе отчет, что в его жизни произошел какой-то необъяснимый разрыв, но инстинктивно понимал, что не должен выказывать удивления. Вошедший слуга подхватил саквояж Луицци; барон последовал за ним, пообещав себе внимательно наблюдать за происходящим и действовать смотря по обстановке. В непроглядной темноте Луицци, поднимаясь в дилижанс, заметил только, что в нем находились еще двое мужчин и одна женщина; все так укутались в шали и одеяла, что было непонятно, чем они дышат.

В ту пору еще было принято спать в дороге, это считалось так же естественным, как теперь – пообедать в пути. Едва пассажиры расселись по местам, как подали сигнал к отправлению. Сегодня привыкшие к путешествиям люди мало переживают, если приходится прерывать обед – они дожевывают на ходу, а десерт рассовывают по карманам; тогда же опытные путники могли, не просыпаясь, встать и перенести свой сон в карету, чтобы продолжить его в пути. Для Луицци это было благом, ибо давало ему возможность спокойно поразмыслить.

Сколько же времени прошло? Как получилось, что он, богатый и привычный к роскоши человек, оказался в простом публичном дилижансе? Куда и откуда он едет? Вопросы так мучили его, что он решил разрешить их с помощью того, кто мог это сделать. И он достал колокольчик и звякнул им один раз. Почти тут же рядом с ним уселся Дьявол в облике едущего по делам приказчика; Луицци показалось даже, что он видел, как у постоялого двора этот тип поднимался на империал. Он распознал Сатану только по особенному блеску зрачков в глазных впадинах.

– Это ты? – спросил он. – Сколько времени ты отнял у меня, бес?

– Всего-навсего полтора месяца. Как видишь, я не обобрал тебя до нитки. Я поступил как ловкий делец. Сначала прикинулся верным компаньоном, а потом ограбил при первом удобном случае. Смотри – я тебя предупредил, так что держись настороже.

– И как же я прожил эти шесть недель?

– Хм... Как обычно, – пожал плечами Дьявол.

- Что я делал?
- Я не собираюсь рассказывать тебе о твоей собственной жизни.
- Как? У меня не будет ни единого воспоминания об этих неделях?
- Ты можешь узнать о них от кого угодно, но только не от меня.
- А к кому ты посоветуешь обратиться?
- О, это не мое дело.
- Скажи хотя бы, где я сейчас нахожусь?
- В дилижансе королевской почтово-пассажирской службы.
- Куда я еду?
- В Париж.
- Где мы в данный момент?
- В одном лье от Кагора.
- А почему я еду в дилижансе?
- Это уже твоя история, и я не могу ничего сказать по этому поводу.
- Но, в конце концов, не могу же я жить, не зная своего прошлого!
- Что ж, придумай его.
- Прошрое?

– Ну да! Ведь нет ничего проще! Большинство людей так и делает – и ты знаешь это лучше, чем кто-либо! Помнишь ту игривую и резвую малышку-актрису, в которую ты имел глупость втюриться по уши? У тебя была тысяча удобных случаев, чтобы стать одним из тысячи ее любовников; но ты все прохлопал, потому что любил ее всем сердцем. Когда ты наконец очухался от своей нездоровой страсти, то вдруг увидел, что, по мнению твоих друзей, эта женщина давно уже твоя; они и вообразить не могли, что ты настолько неуклюж, что не довел дело до конца. Ты посмотрел на себя со стороны, нашел себя смешным, понял, что эта артисточка по меньшей мере три раза назначала тебе свидания и что она принадлежала тебе по праву, а значит – и на самом деле; ты позволил окружающим думать что угодно, затем и сам стал думать то же, а сегодня ты убежден, что так оно и было; эта женщина теперь числится среди побед, которыми ты любишь прихвастнуть, ведь так?

Луици весьма уязвил краткий, но наглядный урок Дьявола, тем более что он не мог спорить о чувствах, в которых чертовски хорошо разбирался его собеседник, а потому ограничился только еще одним вопросом:

- Разве она не была бы моей, если бы я того пожелал?

– Разве горячо любимая мужчиной женщина уже принадлежит ему? Такого не случится ни разу из десяти тысяч интрижек. Женщины, как правило, отдаются тем, кто любит их не настолько, чтобы трепетать перед ними. Я не знаю и двух женщин, которые стали бы любовницами обожающих их мужчин; потом они плачутся, что их то и дело обманывают. А ведь это только их собственный промах; женщины применяют оборонительную тактику, грубую или величественную, но препятствующую только тем, кто воспринимает их всерьез. Женщина, которая, вместо того чтобы позволить взять себя, осмелится отдаться сама, была бы самым совершенным созданием, а также и самым любимым. Но подобная женщина – лишь прекрасное исключение из правил.

– Мессир Сатана, – сказал Луици, почувствовав вдруг совершенно неожиданную уверенность в себе. – Из всех причин, что вынудили Вседержителя низвергнуть вас в преисподнюю, ваша склонность к теоретизированию не была ли одной из первых?

– Между нами говоря, – добродушно ответил Дьявол, – других причин просто не существовало.

- У меня возникло острое желание последовать его примеру.
- И конечно, за тот же грешок?
- Да-да, за твое нескончаемое пустословие. Плетешь черт знает что.

– Э нет, не за это, а за то, что мои слова тебя не устраивают; вот если я начну рассказывать о последних шести неделях твоей жизни, ты будешь слушать развесив уши.

– Но я ведь так ничего и не узнаю?

– Похоже, у тебя слишком мало воображения, чтобы придумать себе подходящее прошлое. Даже последний деревенский остолоп и тот смышленей тебя. В этом дилижансе едет некий господин де Мерен; он из хорошей семьи, но в Берлине его поймали за руку при нечестной игре и упрятали на три года в кутузку, где он подружился со старым французским пронырой, который шпионил в Индии в пользу Наполеона. Наслушавшись баек сокамерника, бывший шулер выучил их наизусть, до малейших деталей: и как он оказался в Индии, где совершал множество славных подвигов во славу императора, и как он вернулся в Европу; теперь господин де Мерен собирается явиться в парижском свете так, словно он только-только прибыл из Калькутты. В данный момент мошенник вынашивает идею издания в двух томах in-8<sup>2</sup> «Индийских мемуаров». Ставлю на кон наш договор против чего тебе угодно – этот человек в ближайшие пятнадцать лет станет членом Академии наук, и за заслуги в области географии его наградят орденом.

– Я рад за него, – хмыкнул Луицци, – но этому проходимцу не грозит в любое мгновение встретить настоящего первопроходца из Индии, который уличил бы его во лжи. Я же постоянно рискую оказаться рядом с якобы знакомым мне человеком.

– Именно это с тобой сейчас и происходит.

– Как?

– Все в дилижансе знают твое имя, а вот тот толстяк имеет полное право называться твоим другом.

– И, без всяких сомнений, они заговорят о том, что мы делали, например, вчера?

– Обычное дело; вы, люди, только этим и заняты – болтаете о дне вчерашнем, чтобы восполнить его пустоту и никчемность, или о прекрасном будущем, и нимало не заботитесь о дне сегодняшнем; да, так вы все и существуете, называя это жизнью; и лучшее доказательство моих слов в том, что ты прожил полтора месяца самым обычным образом, а тебе кажется, что ты был мертв все это время только потому, что не можешь вспомнить, чем занимался.

– Но как мне отвечать моим попутчикам? – Луицци встревожился не на шутку.

– Поистине, ты жалок!

– Ну в самом же деле, ну будь же милостив! Хочешь, я отдам тебе еще несколько дней будущей жизни – лишь бы узнать, что я делал совсем недавно!

– Болван!

– Это ты о ком?

– О себе! Не будь я таким тупицей, я бы правильно определил границы человеческой глупости; сейчас я ясно вижу, что если бы только пожелал, то хапнул бы за бесценку всю твою жизнь, мой мальчик.

Раздосадованный, Луицци умолк; тишина – лучший советчик, и Арман подумал: «Черт подери, если все эти ничтожества могут смутить меня фактами из моего прошлого, которого я не знаю, то и я могу при случае поставить их в неловкое положение, узнав о кое-каких тщательно скрываемых ими грешках! Что ж, придется столкнуться с ними лицом к лицу, как и подобает отважному человеку, получившему вызов от записного дуэлянта: и, вместо того чтобы защищаться, я покажу им острие шпаги, всегда готовое проткнуть их, если они вздумают сделать неосторожный выпад. Я уже знаю о господине де Мерене вполне достаточно для того, чтобы он был заинтересован в моем молчании. Продолжим разведку, и тогда увидим, кто кого будет больше стесняться!»

Луицци не произнес всего этого вслух, но Дьявол тут же откликнулся:

---

<sup>2</sup> Ин-октаво, то есть в одну восьмую листа. – *Примеч. пер.*

- Довольно разумно для представителя людского племени, а тем более для барона; так с кого мне начать?
- Да хотя бы вот с этого храпящего борова, которого ты записал в мои друзья.

### III

## ПОРТРЕТЫ

### Шутник. Бывший нотариус

Дьявол, бесцеремонно положив ноги на противоположную полку, начал:

– Фамилия этого храпуна Гангерне; подобные типы встречаются каждому хотя бы раз в жизни: невысокий, плотный толстяк с прямыми короткими волосами, низким лбом, серыми глазами, сплюснутым носом, круглыми щечками; шея плавно переходит в плечи, плечи – в пузатую утробу, из которой растут ноги; он катается, как шарик, беспрерывно хохочет и жизне-радостно вопит, при встрече подкрадывается сзади и закрывает вам глаза, спрашивая: «Кто?»; этот шутник просто обожает выдернуть из-под вас стул в тот момент, когда вы вознамеритесь сесть, или стащить у вас носовой платок, как раз когда вы соберетесь высморкаться; короче, он из тех людей, что с невинным нахальством заявляют в ответ на ваш справедливый гнев после их проделок: «Ну как, здорово я пошутил?»

Господин Гангерне родом из Памье, где и проживал безвыездно вплоть до недавнего времени. В его шутовском арсенале полным-полно разнообразных штучек и фокусов. Он может незаметно привязать к связке звонков на воротах кусочек мяса, так что все окрестные бродячие псы устраивают вокруг него соревнования по прыжкам в высоту, поднимая слуг по десять раз за ночь. Он весьма понаторел в искусстве подмены вывесок: однажды он снял вывеску парикмахера и, распилив ее, присоединил к вывеске соседа. Получилось: «Господин Робло, прокат экипажей и самых модных париков!» На следующий день, а вернее ночь, он содрал с дерева афишу кукольного балагана и приклеил ее над входом в аптеку, и наутро весь славный город Памье хохотал до упаду над результатом его проделки: «Господин Ф..., фармацевт, клоун из Парижа!»

В округе господин Гангерне пользуется еще большим почетом, чем в городе. Он знает, как состричь щетину с щетки и ловко подкинуть ее в постель лучшего друга, так что тот звереет от чесотки и через четверть часа выскакивает из кровати. Просверлив отверстие в перегородке, он пропускает в него веревочку, искусно цепляет ее за одеяло, и когда ничего не подозревающий сосед засыпает, потихоньку тянет за веревочку, пока не стащит одеяло на пол; продрогшая жертва (а Гангерне выбирает для подобных фокусов холодные и сырые ночи) просыпается, подбирает одеяло, тщательно в него закутывается и уходит в безмятежный сон, а весельчак опять повторяет все сначала, раздевая догола бедолагу, который, замерзнув и ничего не понимая спросонок, начинает ругаться в одиночестве, и тут через дырку до него доносится насмешливый возглас: «Ну как, здорово я придумал?»

Если же Гангерне встречается одного из тех зануд, чье напыщенное выражение лица так и напрашивается на розыгрыш, то это для него просто праздник. Например, пока его избранник спит, он втихую тащит его одежду, затем зауживает и сшивает все рукава и штанины; утром он внезапно будит свою жертву и приглашает срочно идти на охоту. Бедняга никак не может влезть в панталоны, а Гангерне все поторапливает его:

– Бог мой, как же вы медлительны! Что с вами, дорогуша? Э-э, да ведь у вас ноги распухли!

– У меня?

– Чудеса, да и только!

– Вы так считаете?

– Не знаю, может, я ошибаюсь... Но одевайтесь же, нас ждут. Впрочем, все подтвердят, что вас разнесло, как беременного!

– Но я не могу никак одеться.

– Ну и раздуло же вас... А-а, знаю: это приступ скоротечной водянки!

Все продолжается до тех пор, пока Гангерне не насмеется до колик и не признается: «А здорово я вас разыграл, да?»

Из огромного числа его проделок одна мне кажется особенно безобразной. Он вздумал позабавиться над человеком, который славился своим бесстрашием, но тем не менее перепугался самым позорным образом.

Уютно устроившись в постели, этот господин вдруг почувствовал в ногах что-то холодное и липкое; нащупав ногой продолговатое и круглое туловище, он схватил его рукой: то была змея, свернувшаяся в клубок; он вскочил, завопив от ужаса и отвращения, и в этот момент в дверях появился лучезарный Гангерне:

– Анекдот, да и только! Неужели вы испугались? Это же всего-навсего кишка из угриной кожи, набитая...!

В яростном негодовании человек переломал бы шутнику все кости, но Гангерне ловко окатил его водой из ведра и убежал с громким жизнерадостным криком: «Здорово! Вот это, я понимаю, подловил!» Хозяева дома сбежались на возникший шум и едва успокоили оцепеневшую жертву розыгрыша, объяснив, что без этого неистощимого на выдумки очаровашки-затейника они погибли бы от скуки, особенно в деревне.

Берегитесь его, барон; он из тех невыносимых созданий, что бесцеремонно вламываются в чужую жизнь, переворачивая неуклюжими лапами фигуры вашего счастья и грусти, подобно настырному псу, который не вовремя лезет в игру в кегли. Они еще несноснее собак, не говоря уж о том, что от них труднее избавиться; они так и норовят подстеречь малейшее движение вашей души, чтобы всласть над ним поиздеваться; эти весельчаки тем опаснее, что одинаково любят выставлять на смех и злейших врагов, и лучших друзей; и почти всегда они делают вас сообщниками своих розыгрышей над другими, так как вы тоже получаете от них удовольствие. А потому, когда подловят вас, вы не найдете у окружающих никакого сочувствия точно так же, как и вы не испытывали ни к кому жалости. Вы останетесь наедине со своим нелепым гневом, если только вообще сможете сердиться.

Среди людей этой породы встречаются и совершенные пошляки, которые в конце концов теряют всякое к себе уважение, так как в их репертуаре только давно избитые, дрянные шуточки. Просунуть башку в подвальное окошко сапожника, заклеенное бумагой вместо стекла, и спросить, не здесь ли живет министр финансов или архиепископ; протянуть веревку поперек лестницы, чтобы устроить соседям непрошеную, но зато бесплатную возможность прокатиться на заднем месте; разбудить посреди ночи нотариуса, передав последнюю просьбу умирающего о срочном составлении завещания, хотя клиент мирно поживает и находится в добром здравии, и тысяча других дешевых розыгрышей; все это недостойно настоящего мастера, и Гангерне сознает это лучше кого бы то ни было.

Поэтому на его личном счету числятся оригинальные изобретения, принесшие ему немалую славу. Одно из них, поистине остроумное, он осуществил в загородном доме на многолюдном приеме. Среди приглашенных дам Гангерне проявил особое расположение к тридцатилетней красотке, которая, однако, была помешана на парижской изысканности и краснорозежу толстяку предпочитала романтично-бледного юношу, на вид, впрочем, довольно тупоумного. Напрасно Гангерне пытался выставить его в смешном свете перед своей избранницей; она приписывала неловкость юноши его поэтической отчужденности, а легковёрность – вполне уважительному прямодушию. Однажды вечером все разошлись спать после ее бурных похвал в адрес бледного юнца, которые Гангерне перенес с терпением, не предвещавшим ничего хорошего. Через полчаса из гостиной первого этажа на весь дом раздался жуткий вопль: «Пожар! Горим!» Мужчины и женщины устремились на крик в полураздетом или, если угодно, в полуодетом виде. С лампами и подсвечниками в руках они гурьбой ворвались в гостиную и что же увидели? Гангерне безмятежно развалился в кресле. Он ничего не ответил на раздраженные



расспросы, но, властно схватив за руку бледного юношу, подвел его к прекрасной даме и торжественно произнес:

«Позвольте представить вам ночной колпак, в груди коего бьется самое пылкое и романтическое сердце нашего времени».

Все покатались со смеху; красotka же так и не смогла простить этого ни Гангерне, ни ночному колпаку.

Тем не менее месть вовсе не является целью фокусов Гангерне; на первое место он всегда ставит искусство высмеивания как таковое. Прежде чем поведать тебе историю, которая покажет этого любителя пошутить в его истинном свете, я хочу поведать о розыгрышах, которыми он больше всего гордится. Так вот: в городе Памье он жил напротив уважаемой буржуазной четы, владевшей небольшим домиком.

По воскресеньям супруги обедали и играли в пикет у одного из родственников, жившего довольно далеко; начинали они с небольшого стаканчика пунша, закусывали кукурузным пудингом в сахарном сиропе, вволю запивали все это немалыми дозами пенистого белого вина из Лиму; в результате почтенная парочка возвращалась домой, перебивая пение икотой и сшибая углы.

В одно роковое воскресенье они кое-как приковыляли к своему порогу; отсчитав десять шагов от соседской калитки (именно это расстояние они обычно преодолевали, прежде чем попасть наконец домой), супруги остановились. Муж долго рылся в карманах, пытаясь достать ключ; наконец ключ нашелся, и начались поиски замка, но его на месте не оказалось.

«Где этот чертов замок?» – проворчал муж.

«Да-а, славное было вино! Ты сегодня явно переусердствовал, господин Ларке, – уколола его женушка. – Где ты ищешь замок? Перед нами еще соседская стена».

«И правда, – согласился господин Ларке, – пойдем дальше».

Они поплелись вдоль стены, пока не наткнулись на ворота соседа слева; держась за стенку, пошли обратно и опять пришли к калитке соседа справа. Добрые люди всерьез обеспокоились состоянием своего рассудка, не понимая, как это они умудрились допить до такого умопомрачения. Они продолжили поиски собственной двери, но от калитки справа снова попали к воротам слева. «Куда, к бесу, провалилась наша дверь? Кто спер нашу дверь?» Почтенных обывателей обуял страх: неужто они совсем рехнулись? Опасаясь насмешек над честными буржуа, которые никак не могут найти собственную дверь, они еще битый час ползали вдоль стены, измеряя, шупая и осматривая ее; но никакого даже намека на дверь так и не обнаружили – перед ними выросла неведомая и неумолимая преграда, которая ввергала их в полное отчаяние. Тогда-то они и завопили от неподдельного ужаса, призывая на помощь; наконец, сбежавшиеся на жуткие крики соседи обнаружили, что дверь аккуратно замурована и оштукатурена заново, и в тот момент, когда они задались вопросом, кто же сыграл с достойной четой такую злую шутку, Гангерне высунулся из окошка, через которое он в компании с несколькими такими же завзятыми шутниками с превеликим удовольствием наблюдал за тщетными усилиями господ Ларке, и проверещал собравшейся толпе свою вечную присказку:

«Это только шутка!»

«Но ведь они чуть не спятили!»

«Ба! Подумаешь, дело какое! Зато мы всласть повеселились!»

Королевского прокурора попросили повлиять на отношение Гангерне к юмору, и нашему фигляру пришлось несколько дней провести в кутузке, несмотря на его искусную самозащиту, которая состояла в беспрерывном повторении одной-единственной фразы:

«А здорово я пошутил! Не правда ли, господин судья?»

При всем его тщеславии, Гангерне не может похвастаться всеми своими проделками; есть одна, авторство которой он будет отрицать всегда ввиду того, что ее творцу обещали оторвать уши, если только удастся его найти. Эта проделка, впрочем, была спровоцирована пренебре-

жением к его персоне в некоем престижном аристократическом салоне. Речь идет ни более и ни менее как об одной известной даме благородного происхождения, которая принимала у себя самые что ни на есть сливки общества славного города Памье.

Среди истинно аристократических обычаев старинного дворянского рода она свято соблюдала, в частности, два: во-первых, никогда не разбавляла приличное общество, которое собиралось в ее доме, людьми сорта Гангерне, а во-вторых, передвигалась исключительно в портшезе с помощью собственных слуг.

Как-то ее пригласили на бал к супрефекту, где присутствовал и Гангерне. В полночь, под проливным дождем, она покинула собрание. В тот момент, когда ее портшез поравнялся с водостоком в виде львиной пасти, который низвергал шумным потоком небесные воды на городскую улицу, справа и слева раздался разбойничий свист, и на дорогу выскочили четыре мордоворота.

Носильщики сочли за лучшее спастись бегством, и, когда благородная дама уже прощалась с жизнью, отрезвляющий водопад ледяной влаги вылился ей прямо на голову. Полотняный верх исчез, словно по волшебству, и львиный зев выливал бурную дождевую реку внутрь портшеза, пока его владелица безуспешно пыталась открыть дверцу. Набарахтавшись вволю, она кое-как взобралась на сиденье и оттуда, словно демон, посаженный на церковную кафедру, заверещала, призывая все кары небесные на головы мерзавцев, заставивших ее принять столь жестокий душ; негодяи меж тем ответили на оскорбления только изысканно-вежливым поклоном.

Величайшей гнусностью сочли тот факт, что подлецы, не забыв запастись зонтиками для себя, не посчитались с пудрой на лице достойнейшей женщины.

В Памье, где Гангерне жил в окружении серых и неотесанных личностей, в течение десяти лет он слыл самым жизнерадостным весельчаком и пользовался в своем кругу всеобщей любовью; лишь немногие испытывали к нему своего рода презрение, но были и такие, что просто боялись его. Последние с трудом переносили усмешку, не сходящую с его розовых губ: беспощадное высмеивание всего самого святого смущало их не меньше, чем кошмарная ухмылка омерзительного призрака; а безобразная присказка «Это только шутка!» нагоняла порой больше жути, чем слова трапписта: «Умри, брат!» И в самом деле, беда была не за горами: Гангерне подстерегала встреча с человеком, который погиб только потому, что шутнику приспичило засыпать его градом безжалостных насмешек. Так или иначе, но пробил час, когда только на свежевырытой могиле наш герой мог произнести свою любимую фразу: «А здорово я пошутил!»

Три недели назад господин Эрнест де Б... пригласил своих многочисленных друзей на большую охоту; приехал и Гангерне. Пока гости собирались, Эрнест поспешно дописывал письмо; наконец он его запечатал и положил на камин. Гангерне, конечно же, не сумел преодолеть любопытство, схватил конверт и прочитал адрес:

«Ха! С чего вдруг ты вспомнил о жене своего брата?»

Эрнест ответил с деланным равнодушием:

«Я просто предупреждаю, что к семи часам вечера мы заявимся к ней в усадьбу. Если ее вовремя не уведомить, то вся наша компания из пятнадцати прожорливых глоток рискует получить не самый изысканный ужин».

Эрнест позвал слугу и вручил ему письмо; никто не заметил, что Гангерне исчез вслед за лакеем.

Наконец сборы были окончены; уже в разгар охоты Гангерне признался спутнику, с которым отделился от остальных:

«Славно мы сегодня вечером посмеемся!»

«И над чем же?»

«Я дал слуге лундир, попросив не вручать письмо адресату».

«Вы что, взяли письмо себе?»

«Да нет же, черт побери! Я уверил посыльного, что речь идет о небольшом розыгрыше, а потому нужно отнести конверт мужу, а не жене. В данный момент он, должно быть, председательствует в суде. А когда узнает, что сегодня к нему в гости нагрянут пятнадцать оглоедов, не страдающих отсутствием аппетита, он от ярости сожрет собственную селезенку. Господин председатель скуп, как Гарпагон, и одна мысль, что мы опустошим его погреба и кладовые, заставит его разделаться поскорее со всеми делами, хотя бы и приговорив десяток невинных, и на всех парах лететь домой, чтобы предотвратить грабеж».

«Однако, – ответил спутник Гангерне, – этот фокус мне совсем не по вкусу».

«Ба! Подумаешь! Это же только шутка! Но самое забавное зрелище ожидает нас в усадьбе. Околевав от голода и жажды, веселая компания завалится в гости, рассчитывая на изысканное угощение, а там – шаром покати!»

«А вы не подумали, что эта приятная неожиданность уготована и мне? – возмутился молодой господин, перед которым разоткровенничался Гангерне. – Да вы сами в первую очередь окажетесь в дураках!»

«Вот уж нет! Только не я! Я запасаюсь холодным цыпленком и бутылочкой бордо; если хотите, я охотно с вами поделюсь».

«Спасибочки! Лучше уж я разыщу Эрнеста и предупрежу его».

«Боже! Друг мой, – закричал Гангерне, – да с вами, оказывается, каши не сварить!»

Но юноша, не обращая внимания на шутника, бросился напрямик к компании друзей. На его вопрос о том, где находится Эрнест, они ответили, что тот уже удалился в сторону усадьбы своей невестки. Тогда молодой охотник направился туда же, решив предупредить госпожу де Б... о проделке Гангерне. За поворотом дороги он увидел Эрнеста, который уже подходил к замку, и ускорил шаг, пытаясь догнать его; они подошли к воротам почти одновременно, но Эрнест первым перешагнул порог. Как только за ним с грохотом захлопнулась створка ворот, послышался ружейный выстрел, а затем и яростный крик:

«Ну, раз я промахнулся, то держись! Защищайся!»

Молодой человек бросился к решетке закрытых теперь ворот и стал свидетелем ужасной сцены. Господин де Б... со шпагой в руке в яростном отчаянии бросился на Эрнеста.

«А-а, так ты любишь ее! И она тебя любит! – орал он сиплым от бешенства голосом. – Так вы обожаете друг друга! Так я прикончу сначала тебя, а потом ее!»

Письмо, которое с легкой руки Гангерне передали председателю суда, выдало тайну уже четырехлетней любовной связи, и, забыв о наказаниях за оскорбления, нанесенные обществу, муж решил отомстить за оскорбление собственной чести.

Тщетно друг Эрнеста, забравшись на решетку, призывал обоих вспомнить, что они братья; почтенный судья, ослепнув от злобы, гонял Эрнеста из угла в угол. Внезапно распахнулось окно, и появилась госпожа де Б..., бледная и растрепанная.

«Леония! – крикнул Эрнест. – Уходи!»

«Э-э нет! – возразил муж. – Она останется! Я ее запер, так что не беспокойся, она не помешает мне отправить тебя прямо в ад!»

И он вновь ринулся на родного брата, да с таким ожесточением, что от ударов шпаг посыпались искры.

«Это я должна умереть, я! – рыдала женщина. – Меня, меня убейте!»

Друг Эрнеста, несчастный зритель этого страшного спектакля, вторил крикам госпожи де Б...; он звал, тряс решетку, но ничего не мог поделать; он собирался уже перелезть через стену, когда Леония, потеряв голову от отчаяния, выпрыгнула в окно и упала между любовником и мужем. Рассудок последнего совершенно помутился от бешенства, и он направил шпагу на женщину; но Эрнест отразил его выпад и, в свою очередь закипев от возмущения, воскликнул:

«А-а, так ты хочешь убить ее? Что ж, защищайся!»

Теперь уже он в неудержимой ярости пошел в атаку на брата.

В этот момент уже никто не мог бы их разнять! Они были одни во дворе, только бедная Леония с разбитым при падении коленом лежала между ними. Схватка становилась все ожесточеннее. Оба брата уже истекали кровью, но, казалось, раны только увеличили их злобу. Тем временем юноша-охотник достиг гребня стены и собирался прыгнуть во двор; здесь он увидел, что к усадьбе быстро приближается вся компания охотников. Гангерне бежал одним из первых; приблизившись, он поинтересовался:

«Вы чего так вопите? С вас что, шкуру живьем сдирают? Ваши крики слышны за добрую четверть лье! Что происходит?»

Увидев шутника, юноша прыгнул прямо на него, схватил за шею и, что было сил ударив лбом о решетку, ответил:

«Смотрите: это просто смешная история, сударь! Это только шутка, мерзкий фигляр!»

Господин де Б..., пронзенный шпагой, распростерся подле своей жены.

– А что случилось потом? – спросил Луици.

– Господин де Б... скончался, Эрнест исчез, а госпожа де Б... отравилась на следующий день после братоубийственной дуэли.

Как раз, когда Дьявол завершал эту фразу, Гангерне заворочался во сне и пробормотал:

– Веселенькая история!

– Но ведь он конченный мерзавец, – возмутился Луици. – Не понимаю, как с ним еще разговаривают после этого!

– Ба, дорогуша, а кто знает о его проделке?

– Ну хотя бы тот молодой господин, которому Гангерне сам признался...

– А если, – сухо возразил Дьявол, – если за молодым господином числятся не менее гнусные поступки, чем роковая забава Гангерне? Если он трусливой ложью погубил репутацию одной женщины и вогнал в гроб другую? Если этот самый Гангерне вполне способен при случае добавить к инициалу А... в записке некой госпожи Дилуа несколько букв, которые раскроют всему свету, кто тот беззаботный сплетник, совершивший эти подлые преступления? Так что молодой человек помалкивает и, более того, не брезгает подавать руку конченому мерзавцу, как вы изволили выразиться.

– Как? – изумился Луици. – Так этот свидетель...

– Да-да, мой дорогой барон, это вы. И вы свято храните секрет Гангерне...

Тут одно обстоятельство потрясло Армана, и, забыв обо всем услышанном, он весело воскликнул:

– А! Ты все-таки рассказываешь о моем прошлом!

– Постольку, поскольку оно пересекается с прошлым других – с превеликим удовольствием.

– Ага! Тогда, – обрадовался барон, так как у него возникла надежда узнать побольше о себе, расспрашивая о других, – скажи-ка мне, кто этот худущий и озабоченный даже во сне человек, который как раз ворочается и бормочет: «Да, жена моя».

– Он из той породы кретинов, что никаким боком тебя не касаются.

– Посмотрим, – настаивал Луици, не доверяя Дьяволу.

– Ну что ж, как хочешь, но пеняй на себя, если мой рассказ доведет тебя до беды.

– Не бойся, я не выброшусь из дилижанса, как в Ла-Форж – из окна.

– Ничтожество! Ты думаешь, если принять меры предосторожности против одной опасности, так тебя не подстережет другая? Ты подобен тому чудаку, который, украсив свою пустую тыкву лиловой шишкой, постоянно смотрит вверх и, полагая себя в полной безопасности, заносит ногу над невидимой ему ямой.

– Ну и что? Меня не пугают рытвины.

– Первейшей из них, любезный барон, – продолжал Дьявол, – будет выслушивание моих теоретических построений.

– А ты, конечно, не в состоянии без них обойтись.

– Полно, дружище! Разве не ты грозился издать мои рассказы? Уж не думаешь ли, что Дьявол порядочнее других литераторов, которые так наслаждаются плоскими рассуждениями, метафизическими обобщениями и нравоучительными отступлениями?

– Ладно, – согласился Луици. – Ночь темна, а я чувствую себя таким бодрым, словно отсыпался целых шесть недель; так что давай, я слушаю.

– Итак, – начал Дьявол, – это произошло в те давние времена, когда звери обладали даром речи, как говорит ваш Лафонтен. На самом деле тогда происходили еще более чудные вещи – например, молодые люди, не страдавшие недостатком разума, становились нотариусами. Теперь многие сообразили, что даже умеренные занятия нотариальными услугами неизбежно ведут к ожирению и моральному вырождению, а уж чрезмерное усердие приводит к полному слабоумию. А потому те, у кого осталось хоть какое-то желание избежать интеллектуального самоубийства, охотно воздерживаются от выбора столь губительного поприща.

Поскольку пока еще никто не додумался подвергнуть профессию нотариуса химическому анализу, я тоже не знаю, какая злокачественная субстанция приводит к такому плачевному результату; но результат от этого несколько не меняется. Стоит только повнимательнее осмотреться вокруг, и ты убедишься, что мое длинное предисловие вовсе не парадокс.

Как только человек становится нотариусом, он лишь условно может считаться мыслящим существом. Контора нотариуса является тем пеньком, который постепенно срастается со своим хозяином и обволакивает его целиком, подобно тем полурастениям-полуживотным, которых естественные науки относят как к лишайникам, так и к ракообразным.

Не существует карьеры, которая не оставляла бы тому, кто решил посвятить себя ей, хоть какого-то свободного пространства для работы мысли и души; известны адвокаты и медики, булочники и точильщики, имеющие представление о поэзии и литературе; даже ростовщики порой не чужды высокого искусства, а среди менял нет-нет да и попадется знаток живописи или музыки; но я не поверю, если мне покажут нотариуса, у которого к пятидесяти годам осталась в башке хотя бы одна извилина. Не хотелось бы затрагивать здесь интимные вопросы, но существует ли в обществе более плодородная на рогоносцев прослойка, чем пролетарии нотариальных контор? Они придерживаются слишком высокого мнения о нравственности женщин; впрочем, с тобой толковать об этом совершенно излишне. Их поприще почти наверняка приносит хотя бы относительный достаток и позволяет им общаться с представителями всех слоев общества. Практически невозможно представить, чтобы их жены не нашли выше или ниже себя того, кто отвлек бы их от неизбежной серости супружеской жизни. Мужчина, с восьми утра до восьми вечера занятый в конторе, на весь день оставляющий дома свою благоверную, которая к тому же нимало не беспокоится о делах супруга, – такой мужчина имеет все шансы быть обманутым, так как создает жене все условия – праздность и скуку.

Жена предпринимателя, то и дело ставящего на карту свое состояние, может интересоваться его бурной жизнью и делами, от которых зависит ее благополучие и положение в обществе; но жена нотариуса может спать, а блага и хлеб насущный все равно не минуют ее (так же как, впрочем, и супруга), ей только и остается, что переваривать их целыми днями. А когда пища становится в тягость, приходится делиться. Это же естественно!

– Мессир Сатана превзошел самого себя, – фыркнул Луици. – Обещав мне наскучить, оказался просто несносным!

– Это только доказывает, что человечество неизлечимо.

– Почему же?

– Потому что вы, люди, закрываете глаза, как только вам демонстрируют причины, по которым вы скатываетесь в кретинизм.

– Да что мне за дело до тупоумия каких-то там стряпчих?

– Увидишь. Всем богачам рано или поздно приходится хлопотать о наследстве или жениться, а следовательно, обращаться к нотариусу, к этой машине по производству завещаний и брачных договоров.

Луици решил, что рассказ о нотариусе, который мирно посапывал в метре от него, не зная, что ему в этот момент перебивают все косточки, должен так же, как и рассказ о Гангерне, каким-то образом касаться и его собственной жизни; а потому он запасся терпением, и Дьявол продолжил:

– Конечно, последняя стадия умственной деградации наступает не сразу; старший клерк еще несколько смахивает на человека – он возвращается в кругу блестящих женщин, не отказывается от приглашений на чай и шумные вечерние приемы; нотариус средних лет также старается не отставать от века – по-крупному играет в картишки, заказывает ложу на премьеры, дает обеды, по-старомодному любезничает с молоденькими женщинами и позволяет себе несколько легкомысленные эскапады с не самыми дорогими красотками, чей ум или внешность шокирует добропорядочное общество.

Перейдя сорокалетний рубеж, нотариус играет в вист уже только по маленькой, а обедать предпочитает дома; театр наводит на него скуку, зато в деревне он чувствует себя прекрасно; в любую погоду он выходит на прогулку, дабы размять кости, снимает номер для дочери привратника, отдает в ремонт старые шляпы и подает прошение об ордене Почетного легиона. К пятидесяти годам он уже круглый идиот, а к шестидесяти – впадает в полный маразм. Профессия нотариусов крайне вредна, и лучшие ученые умы напрасно бьются над облегчением участи бедняг. За открытие метода сохранения потенциала их мозга нужно учредить не меньший приз, чем за исследования в области охраны здоровья зеркальщиков или лудильщиков.

Итак, жил да был в Тулузе нотариус – некий господин Литуа. Его больше нет, хотя он еще не умер. Попросту говоря, он больше не работает, ибо недавно ему стукнуло шестьдесят пять лет и его доход достиг твердых шестидесяти тысяч ливров в год после тридцати лет беспорочной службы. Это человек-контракт; если пригласить его на обед, он ответит:

«Я подписал другое обязательство».

Когда же он заходит к Эрбола за деликатесами, то говорит:

«Я хотел бы сделать приобретение в виде греческой куропатки или тетерева; беру этот холодец из головы кабана и все ее содержимое; пришлите мне эту форель в надлежащей форме».

Кроме всего прочего, он настолько влюблен в свою профессию, что выучиться на нотариуса, быть нотариусом, работать нотариусом – всегда казалось ему верхом устремлений, совершеннейшим счастьем и высшим из наслаждений для мужчины. Так что ты ничуть не удивишься, учтя его наклонности, что он до столь преклонного возраста не мог оторваться от любимого дела. И все-таки почечные колики – результат многолетней верности сафьяновому креслу – уведомили его, что настала пора бросить контору и сменить сидячий образ жизни на длительные прогулки и свежий воздух. Двенадцать лет назад он решил продать свою слишком тяжкую ношу и положил глаз на своего старшего клерка, господина Фейналя. Этот расторопный двадцативосьмилетний малый был не лишен остроумия, услужлив, весел, смешлив и влюбчив. Господин Литуа прекрасно знал все его недостатки, но предпочел именно Эжена, поскольку у того за душой не было ни гроша. Продать дело богатому человеку за мешок звонких монет значило бы отлучить себя навеки от прошлой жизни, уступить другому предмет своей тридцатилетней любви, объект своей страсти, вечно юной и неизменной.

Господин Литуа не чувствовал в себе такой смелости; он рассчитывал, что молодой человек, должный ему двести тысяч франков, пребудет в его полной власти, и он сможет порой наведываться тайком в контору, чтобы, подобно утренней пчелке, ухватить то тут, то там по чуточке сладкого меда и клевать уже проданный товар, как воробей – зрелый плод; прикос-

нуться пером к брачному договору, как бабочка, задевающая розу, – в общем, пестовать свое дело, бесценное обожаемое создание, которое, как говорил господин Литуа, стало его дочерью после того, как было его женой.

Эжен Фейналь с радостью принял предложения господина Литуа. Последний знал, что после женитьбы Эжен оплатит свой пост, и, чтобы молодой человек не тревожился, объявил ему, что в одном маленьком городке под Тулузой у него есть клиентка, с помощью которой он рассчитывает облагодетельствовать своего преемника тремястами тысячами ливров приданого. Эжен обеими руками ухватился за столь редкую удачу и в порыве энтузиазма согласился на некоторые условия, не учтя всех их последствий и того, что если уж господин Литуа начал какое-то дело, то делал его на совесть, не оставляя ни малейшего шанса на отступления от буквы договора.

На случай, ежели Эжен, паче чаяния, преставится до женитьбы, старый крючкотвор застраховал его жизнь на круглую сумму в двести тысяч франков, получая, таким образом, плату за свою практику даже в случае смерти молодого человека и оставляя на плечах его наследников заботу о продаже конторы. Еще совсем зеленый и горячий, Эжен любил развлечения в веселом обществе и именно потому мог неосмотрительно поставить на карту свою судьбу.

Будучи прежде всего порядочным человеком, Эжен первое время испытывал чувство глубокой благодарности к господину Литуа. Последний дал ему определенную отсрочку, понимая, что юноше необходимо какое-то время на завоевание репутации, прежде чем предложить свою руку и сердце невесте с немалым приданым.

Весь первый год после вступления в должность Эжен страдал только от чрезмерной докучливости прежнего патрона; примечательно, что господин Литуа, который раньше ограничивался только незначительными советами старшему клерку, теперь опекал молодого нотариуса во всем, даже в мелочах. Но это мало трогало Эжена – ведь он был богат, неглуп и счастлив. Да, поистине счастлив! Ибо влюбился не на шутку в одну грациозную красотку, которая попросила его вести дело по разделу имущества.

Эта светская красавица, не нашедшая счастья с мужем, искусно использовала свою природную бледность, изображая бесконечную грусть, жеманничала, слегка картавя, восхитительно одевалась и обожала господина Шатобриана. Выражаясь канцелярским языком, вышеозначенная особа явилась приятной победой для Эжена. Он не рассказывал о нем ни одной живой душе, но весь свет, естественно, был в курсе. Пересуды в конце концов зашли так далеко, что достигли ушей супруга прелестницы.

Сей муженек согласился на раздел совместного имущества, но, поскольку она носила его имя, ему вовсе не по нраву пришлось малоуважительные сплетни на его счет. Он дождался удобного случая и однажды вечером, когда его женушка и Эжен выходили со спектакля, предостерегающе отхлестал молодого нотариуса по щекам в присутствии более чем двухсот свидетелей. Дуэль назначили на следующий день.

В восемь часов утра у Эжена собрались секунданты; он уже готовился отправиться в отдаленное предместье, как вдруг к нему неудержимо, как фурия, ворвался господин Литуа.

Прежде чем кто-либо понял, кто без всякого предупреждения вломился в дом к порядочному человеку, бывший нотариус бросился на Эжена и, схватив его за ворот, закричал:

«Вы не пойдете туда, не пойдете!»

«Сударь, – прохрипел Эжен, с трудом высвобождаясь, – что вам нужно?»

«Сохранить ваше честное имя».

«Сударь, что вы хотите этим сказать?!»

«Я хочу сказать, что вы не будете драться на дуэли».

«Но меня оскорбили!»

«Вполне возможно».

«Но я тоже оскорбил моего противника!»

«Возможно».

«Он ждет, и я горю желанием проучить его».

«Возможно».

«И один из нас останется на месте встречи».

«А вот это никак невозможно».

«А вот это мы увидим!»

«Да не пойдете вы, я сказал!» – крикнул экс-нотариус, с грозным видом расправив плечи между Эженом и выходом.

Последний еле сдержался, чтобы не взять гнусного старикашку за шкуру и не отбросить в сторону.

«Полноте, господин Литуа, – взмолился он, – вы слишком много на себя берете; я еще не мертвец, черт подери!»

«Тем хуже».

«Как вы сказали?»

«Да-да, сударь, тем хуже: ибо, когда вы окажетесь на том свете, вы не сможете обокрасть меня, подравшись на дуэли!»

«Сударь!»

«Не вопите попусту, дорогой Эжен; вот, прочитайте лучше».

«Что это? Страховой полис?»

«Да. Вот смотрите здесь, внизу».

И Эжен прочел: «Компания не обязана платить условленную сумму, если застрахованный умрет за пределами Европы или же будет убит на дуэли».

«На ду-э-ли! – повторил по слогам господин Литуа. – Понятно теперь, милейший? Ergo, вы не будете драться, если только не выложите мне двести тысяч по курсу, и немедленно!»

Смущенный Эжен в растерянности не знал, что и сказать.

«Сударь, – обратился он к одному из секундантов, – вы не возьмете на себя труд... попросить моего противника подождать до завтрашнего утра?»

«Завтра утром поединок тем более не состоится, – опять вставил нотариус, – я предупредил полицию, за вами будут следить!»

«Но, сударь! Вы хотите обесчестить меня!»

«А вы – оставить меня без единого су в кармане».

«Но я же не могу забрать вашу контору с собой в могилу...»

«У меня нет больше конторы, а есть только должник на двести тысяч! Разве мог я знать, во что превратится мое детище в ваших руках? Нотариус, который гуляет с великосветской любовницей и дерется из-за нее на дуэли, – да где это видано? Я не дал бы и тридцати тысяч за вашу должность. А вы должны мне двести! И ваша персона служит мне порукой; рисковать ею – значит продать чужое имущество, присвоить не принадлежащий вам вклад; это есть, я повторю, мошенничество чистой воды, и ваши друзья тому свидетели!»

«Честное слово, – ухмыльнулся один из секундантов, – разбирайтесь сами, а мы вернемся, как только вы закончите».

Эжен так и не смог избавиться от господина Литуа; час поединка минул, и совершенно напрасно молодой нотариус отправил противнику записку с просьбой назначить встречу на другой час; муж красотки, узнав о причине опоздания Эжена, не считал ее уважительной, заявив, что тот, кто пропускает подобное свидание, дает повод полагать, что не придет и на следующее; как человек, не лишенный остроумия, он был абсолютно убежден, что насмешкой отомстит куда больше, чем пистолетом, а потому впоследствии любил пересказывать анекдот о нотариусе, торговавшемся за свою свободу со старым патроном.



То была весьма уморительная сценка, где молодой человек всячески подлизывался к неприступному старикашке: «Даю десять тысяч, только пропустите меня...» – «Нет!» – «Двадцать тысяч!» – «Нет!» – «Тридцать!» – «Тридцать тысяч раз нет! Двести тысяч франков наличными или ничего!»

История прогремела на всю Тулузу, и Эжену не удалось восстановить свою репутацию светского человека. Доверие к нему как к нотариусу также было подорвано. Молодой человек, который не может постоять ни за себя, ни за свою возлюбленную, не заслуживает никакого уважения; и все клиенты, под влиянием своих жен, открыто или же завуалированным образом отказались от его услуг.

Господин Литуа, встревожившись не на шутку, использовал все возможные средства для восстановления репутации своего протеже; но прежде всего он подумал о том, как застраховать себя от материальных потерь, и объявил Эжену, что обещанное ранее знакомство с богатой невестой должно состояться через два месяца. Молодому нотариусу, после злосчастной несостоявшейся дуэли и носа не казавшему в мало-мальски приличные салоны, пришлось теперь самому навещать клиентов победнее; у одного из них он и познакомился однажды с девушкой ослепительной красоты, необыкновенной скромности, с кротким и нежным нравом – одним словом, ангелом во плоти. Девушке пришлась по душе его милая обходительность, элегантность манер, изысканная вежливость и доброе сердце; они полюбили друг друга, и Эжен в порыве страсти, забыв о своих тяжких обязательствах, торжественно обещал жениться на ней. Бедняжка Софи, она поверила ему!

Но это совсем другая история, и мне кажется, тебе еще рано ее знать. Так что я вернусь лучше к Эжену Фейналю.

На следующее утро после своей священной клятвы Эжен получил от господина Литуа приглашение к обеду; ничего не подозревая, бедный юноша явился к патрону в назначенный час. Господин Литуа встретил его у порога и с заговорщическим видом провел в рабочий кабинет, где радостно возвестил, что Эжен сейчас увидит невесту.

Молодой нотариус побледнел, словно перед ним ударила молния:

«Но я даже не знал...»

«Как не знали! Я предупредил вас еще два месяца назад!»

«Но...»

«Никаких но! Вы что, забыли, что срок первого стотысячного платежа истекает, и если ваш брак не будет улажен на этой неделе, то вы больше не нотариус!»

«Но, сударь! Это же варварство чистой воды!»

«Варварство? Я, можно сказать, подарил вам триста тысяч франков! Дорогой мой, у вас с головой все в порядке?»

Эжен понял, что если взглянуть с деловой точки зрения, то он и в самом деле совсем свихнулся, и покорно последовал за старым интриганом в гостиную, окинул ее равнодушным взглядом и – какой сюрприз! – увидел юную очаровательную девушку. Забыв о вчерашних клятвах, он затрепетал от тихой надежды.

«А где же ваша тетушка?» – весело спросил старый нотариус.

«Я здесь», – проскрипела некая персона с иссушенным, как у мумии, лицом.

«Мадмуазель Дамбон, знакомьтесь – вот ваш жених».

Эжен почтительно поклонился.

«Барышня, покиньте нас, – бросил господин Литуа миловидной девушке, – нам нужно обговорить кое-какие дела».

Эжен восторженными глазами проводил ее до двери; она обернулась и, ехидно прыснув, упорхнула.

«Итак, Эжен, – торжествующе произнес старый хрыч, – поцелуйте руку невесты!»

Эжен почувствовал, как под ним разверзлась земля и только машинально удержался на ногах, хотя душа его чуть не провалилась в преисподнюю. Обветшавшая невеста поняла, какой произвела эффект; но жених ей понравился, и она сочла, что когда он будет ей принадлежать, то так или иначе ей удастся заставить его быть поласковее. Она дала Эжену время прийти в себя, а затем так живо и решительно начала расписывать свои владения, виноградники и поля, что начинающий нотариус, уже подточенный местами гангреной профессиональной болезни, вскоре нашел, что она не такая уж раскрашенная кукла, как ему показалось вначале, не так уж худа и почти что привлекательна. Тем не менее в его душе еще долго продолжалась мучительная борьба между вчерашним обещанием и суровой необходимостью; об этих терзаниях он поведал лишь своему другу накануне свадьбы.

Не он первый из братства нотариусов женился на престарелой дурнушке из-за денег, но известно, что другим это стоило немалого труда, и их почитают ловкачами. Эжену же вынужденное сватовство поставили в упрек, словно трусость; кроме того, его замучили насмешками, а раны от этого опасного оружия не заживают никогда и, стоит их только слегка разбередить, доставляют смертельные мучения.

Юный стряпчий и его залежалая дева, как ее называли, стали излюбленными персонажами городских анекдотов. В самом деле, госпожа Эжен Фейналь сохранила всю чопорность, щепетильность и неприступность, присущие старым девам. Хихикали и над тем, что вскоре он стал отцом двух крепышей-близнецов; всем известно, что женщины с лихвой умеют наверстывать упущенное, и новоиспеченные пацаны стали еще одним объектом для скабрёзностей.

Вскоре супруга Эжена обнаружила, что она стала чем-то вроде достопримечательности, которую приглашают, лишь бы порасспрашивать о близнецах; она взъелась на мужа, обвиняя его в том, что он не может заставить уважать свою жену, и жизнь Эжена превратилась в бесконечную ругань; сварливость жены высыпала рожистым воспалением на лице, и из дурнушки она превратилась в форменную уродину; характер ее не отставал от внешности, и не прошло и полутора лет, как родной дом стал адом для Эжена.

Тогда-то муженек, чтобы отвлечься, с головой ушел в дела; но было уже поздно – контора обезлюдела, клиенты разбежались. Он внимательно подсчитал расходы и увидел, что от приданого, после уплаты двухсот тысяч и процентов за сделку, осталось восемьдесят тысяч, которые быстро таяли – в основном из-за расходов по дому, которые никак не возмещались доходами от нотариальных услуг. Нужно было или существенно ограничить потребности, или же решиться на нечистоплотные аферы.

Эжен не захотел мириться ни с унижением, ни с позором и решил продать должность. Первого марта 1815 года он едва не оформил сделку на триста пятьдесят тысяч, но, запоздав на какую-то неделю с подписанием контракта, год спустя получил за свою практику всего пятьдесят тысяч франков. Сегодня господин Фейналь живет в Сен-Годенсе с сорокавосемилетней женой и четырьмя детьми на две тысячи двести ливров ренты; он предан до страсти искусству выращивания роз, ходит в башмаках из орлеанской опойки и тиковых гетрах, поигрывает по мелочи в бостон и упражняется на кларнете. Не все чувства и стремления угасли в душе его, хотя он и протер не одни штаны за конторкой нотариуса: он переживает свое несчастье и находит себя смешным. Вот что за удивительное создание, которому всего сорок четыре года от роду, сопит напротив тебя.

– Да что мне за дело до этого создания, – не вытерпел Луицци. – Ради чего ты так долго заливаешь о перипетиях его жизни?

– Как? – подленько ухмыльнулся Дьявол. – Ты еще не понял, каким образом сей субъект вмешался в твою собственную жизнь?

– Если я ничего не продавал, не покупал, не заключал брачный договор – этот кабальный контракт по продаже своего имени без приобретения счастья...

– Плохо, очень плохо... – фыркнул Дьявол.

- Что ты сказал?
- Продолжай, продолжай... Я не собираюсь повторять все сначала.
- Так вот, когда люди не совершают ничего похожего, у них нет большого желания общаться с нотариусом.
- И у тебя не было никакого дела с господином Барне?
- Было, конечно. Но господин Барне являлся моим личным поверенным.
- Но разве ты не пожелал обратиться к нему только потому, что он являлся доверенным лицом кого-то еще?
- Хм, да, в самом деле, он был нотариусом маркиза дю Валя... Ну и что?
- Ты все еще не понял? Мальчишка тупоголовый! И как ты собираешься жить в Париже, где почти все нужно хватать на лету? В этом городе никто не даст тебе ни намека о тайных интересах, настолько все сознают их цену.
- Уж очень ты хитер, лукавый, где мне понять тебя!
- Так вот, господин барон: как известно, при подписании брачного договора почти всегда присутствуют двое нотариусов – со стороны жениха и со стороны невесты.
- Вполне возможно. И что же?
- Кем был господин Барне?
- Поверенным маркиза дю Валя.
- А кто представлял интересы мадемуазель Люси де Кремансе, ставшей маркизой дю Валь?
- Вот этот сударик! – догадался наконец Луицци.
- Очень хорошо! Отлично! – прогундосил бес назидательно, словно невежда-монах, получивший наконец от неразумного дитяти удовлетворительный ответ на вопрос о двуединстве Бога Отца и Бога Сына.
- И конечно, он присутствовал при той невероятной сцене, тайну которой так свято хранит господин Барне?
- Очень хорошо! Отлично! – все тем же гнусавым тоном повторил Дьявол.
- И ты думаешь, он соблаговолит рассказать мне обо всем?
- Ты знаешь, я обещал открыть тебе сам эту тайну, но он окажет мне немалую услугу, если избавит от этой заботы, так как у меня есть здесь еще одно небольшое дельце.
- Где, в этом дилижансе?
- Да.
- И что за дельце?
- Так, один из моих фортелей.
- Что за фортель ты придумал на этот раз?
- Увидишь.

При этих словах Дьявол растворился в воздухе, но не исчез совсем для Луицци: благодаря чудесному сверхвидению, которое было предоставлено ему Сатаной, он увидел, как нечистый превратился в почти невидимую мушку микроскопических размеров. Покружив немного по купе, мушка шаловливо ужалила кончик носа бывшего нотариуса, который машинально ухватил за коленку сидевшую рядом с ним даму.

Потревоженная дама пребольно врезала по пальцам господина Фейналя ридикюлем с тремя тяжеленными ключами. Нотариус пробудился от неожиданности, и в тот же момент господин Гангерне схватил его за горло с грозным криком:

- Кошелек или жизнь!
- В чем дело? – заорал перепуганный до смерти нотариус.
- Шутка! – захохотал Гангерне, и все пассажиры, проснувшись, начали весело обсуждать происшедшее.

Тем временем Луицци, которого больше интересовало дальнейшее, чем поведение соседей по дилижансу, прикрыл глаза и притворился спящим, не спуская в то же время глаз с Дьявола в обличье миниатюрной мушки.

А мушка вылетела из дилижанса и закружилась над его передком.

Здесь между кучером и господином де Мереном, старожилом берлинских тюрем, прикорнул миловидный юноша едва ли двадцати лет от роду; лицо его хранило печать самодовольной глупости, что, впрочем, Луицци навряд ли заметил, если бы не сверхъестественная проницательность, данная ему Дьяволом.

Благодаря этой же способности барон проник в глубинную сущность молодого человека, хотя в тот момент он нимало не предвидел, куда заведет его любопытство. Он узнал, что юноша был наделен необычайной впечатлительностью, благодаря которой надолго погружался в мечты о фантастической жизни, существовавшей только в его воображении.

Еще в коллеже он зачитывался «Разбойниками» Шиллера, и потому им завладела любовь к вытянутому, с блуждающим взглядом, физиономиям грабителей больших дорог. Он мысленно любовался собой в будущем: пышные усы, красные штаны, желтые сапоги, черные перчатки а-ля Криспен, сабля и три пары пистолетов на боку. Годом спустя, когда он начал изучать право, до него дошла вся никчемность таких грез. Оказалось, во Франции слишком много вооруженных до зубов жандармов и слишком мало воровских малин, и потому Фернан решил, что геройство на манер немецкой драмы вовсе ему не подходит.

Вскоре, как и многим другим молодым людям, ему попало в руки небезызвестное и сомнительное чтиво – «Фоблас», и вот Фернан уже сидит во всех ложах Оперы с маркизами де Б..., во всех смешливых барышнях видит юных девиц де Линьоль и воображает себя мастером шарад, равным своему герою. От этого сумасбродства его избавила одна аппетитная танцовщица, а от страсти к танцовщице его вылечил доктор.

В другой раз, проглотив «Вертера», Фернан вообразил, что должен наложить на себя руки от любви. Потье, дав несколько представлений в Тулузе, положил конец этим намерениям. История войн Революции чуть было не завербовала Фернана в гренадеры, но пришлось на мирное время; а если бы только он мог пересечь Гаронну без тошноты, то стал бы великим мореплавателем и затмил своей славой Америго Веспуччи и капитана Кука.

К тому моменту, когда Луицци рассматривал Фернана, юноша закончил чтение истории пап и не без некоторого восторга смаковал тайны Ватикана. Абсолютное владычество, превосходящее даже королевскую власть, непосредственное представительство самого Бога, помпезное великолепие церковных обрядов – все это ошеломило его податливое воображение, и хотя Фернан мучился завистью к любовным похождениям Борджиа, тихой славе и артистичности Медичи, политической и философской мудрости Ганганелли – папство схватило его за горло. Стать папой казалось ему – в двадцать-то лет! – предназначением более достойным, чем любить и быть любимым.

Это походило на сумасшествие.

Вот в таком настроении души и разума Фернан катил по дороге из Тулузы в Париж. Луицци молча наблюдал, как дьявольская мушка крутилась вокруг носа молодого человека, когда дилижанс прибыл в деревушку под названием Буа-Монде, которая ничем не привлекла бы внимания путешественников, если бы в ней обычно не останавливались на обед; а только два вида людей знают истинную ценность долгожданного обеда – это человек путешествующий и человек выздоравливающий, которому после тяжелой болезни позволили отведать первую отбивную.

Итак, огромный экипаж с гербом Франции на дверцах остановился, как обычно, перед постоянным двором и выпустил толпу пассажиров: мужчин, в шейных платках и шелковых колпаках, и женщин в бесформенных шляпках и несвежих платках; те и другие кутались в измя-

тые плащи, поношенные шубы, старые пальто, забрызганные грязью до такого безобразия, что их не возьмет самая жесткая щетка в самых искусных руках.

Кто не знает, что такое – сойти с дилижанса у постоянного двора? Кто не представляет этих первых комичных движений, которыми все стараются привести себя в порядок? Один усиленно трясет головой и расправляет плечи, растирает руки и с надрывом кашляет, чтобы избавиться от мерзкого ощущения, что он превратился в селедку, и почувствовать себя нормальным человеком, наслаждающимся жизнью; другой немилосердно трясет ногой, чтобы вернуть на положенное место штанину, которая задралась до колена от трения об ногу соседки. Молодка в самом соку не без кокетства разравнивает с помощью пальцев и жаркого дыхания накрахмаленные складки чепчика; другая, выходя из экипажа, тщетно пытается придать первоначальный блеск душегрейке цвета сухих листьев.

После этой секундной заминки все бросаются на просторную кухню, где в древних как мир огромных кастрюлях булькает варево то ли из кролика, то ли из кошки, где шипит на сковородках неизменное фрикасе с сомнительным запахом, где над жарким огнем копятся вертела со столь вожаделенными для изголодавшихся путников чахоточным утенком с соседнего болота и говяжьим окороком.

Через несколько минут, когда мужчины, воспользовавшись фонтанчиком, отсвечивавшим медью в одном из углов кухни, слегка попрыскали водичкой на пропыленные лица и руки, а женщины, исчезнув на какой-то момент, посвежели и привели себя в более или менее боже-ский вид, все расселись за длинным столом в обширной трапезной; тогда-то началось долгожданное пиршество – и всего за какое-то эю с едока.

Чуть погодя завязалась беседа: сперва обсудили великолепных лошадей с последней станции, мастерство фореитора, услужливость кучера и удобства экипажа; затем путники перешли на города, которые им пришлось миновать, на департамент и деревушку, где они оказались, и, наконец, на постоянный двор, где они обедали.

Луицци внимательно слушал, ибо этот разговор мог поведать ему подробности начала этого путешествия. В то же время он не терял из виду дьявольское насекомое, прицепившееся к носу Фернана.

Обыкновенно юноше вполне достаточно прожить на свете восемнадцать лет, увидеть Тулузу с ее Капитолием и Париж со всеми его памятниками, чтобы считать себя вправе презирать все и вся; и потому Луицци не сразу понял, зачем Дьявол взял на себя труд слететь с носа Фернана и ужалить тщедушного, непроницаемого вида юношу, который возвращался в Париж, чтобы завершить там изучение права, начатое в Тулузе; по мнению барона, вовсе ни к чему было заставлять юношу объявлять во весь голос, что они оказались в жуткой дыре, в забытой Богом деревне и в мерзкой забегаловке.

Несомненно, любовь к отчизне, родному краю и, если уж быть совсем точным, к домашнему очагу является весьма похвальным чувством, но, если бы не оно, Жаннетта не бросилась бы на защиту милого сердцу постоянного двора, и скольких бед удалось бы избежать и как дорого стоило бы ее молчание! Но за дело принялся Дьявол, а один Бог знает, совершал ли он хоть одно из своих грязных делишек, не пользуясь самыми добрыми чувствами людей.

Как вы уже догадались, мушка покинула обширный лоб студента и прыгнула прямоком на прелестный носик юной служанки, и едва девушка, которой только-только стукнуло шестнадцать, услышала слова о мерзости местечка, куда черт занес путешественников, как тут же вострепнулась:

– Ба! Сударь, тут сиживали господа почище вас и то не говорили ничего плохого!

Этот возглас привлек взгляды путников к девушке. Грубость одежды не скрывала чрезвычайного изящества ее высокой и стройной фигуры. Миниатюрные ножки в грубых сабо и восхитительные линии рук с потрескавшейся от тяжелой работы кожей недвусмысленно указывали на утонченность натуры и происхождение, не соответствовавшее положению девушки.

Если вам как-нибудь доведется встретить на улице особу с подобными признаками неспособности к тяжкому физическому труду, уж будьте уверены – это результат того, что какая-нибудь девица забыла о целомудрии или какая-нибудь молодка нарушила супружескую верность ради некоего прекрасного сеньора, сотворившего сию аномалию. Конечно, работа и бедность довольно быстро стирают признаки благородных корней, что так хорошо сохраняются у богатых бездельников; но в шестнадцать лет Жаннетта была живым напоминанием о грехах любвеобильной матушки.

Обратил ли на нее внимание Фернан? Нисколько. Он был поглощен грезами о папстве, и ничто не могло низвергнуть его с заоблачных высей – разве что пурпурный блеск кардинальской сутаны заставил бы его открыть глаза. Он не услышал ни насмешливого замечания юноши, ни ответившего ему нежного голоса, ни ротика, блестящего рядом белых, как слоновою кость, зубов, ни длинных пепельно-черных кос, ни огромных серовато-голубых глаз с туманным выражением, присущим легко увлекающимся натурам.

Один только старикашка, уставившись на Жаннетту, спросил вежливым тоном, неприличным для служанок на постоялых дворах:

– И кто же эти блистательные господа, что здесь сиживали, барышня?

– А! Черт их раздери! – вмешался Гангерне. – Конечно же речь идет о наших доблестных генералах, что едва унесли ноги из Испании! – И остряк восславил французское оружие, надломив крылышко цыпленка.

– И вовсе не их я имела в виду, – горячо возразила Жаннетта.

– А! Понимаю! Тогда вы говорили не иначе как о самом папе. Его святейшество Пий Седьмой изволили здесь отобедать! – Гангерне загоготал с присущими ему громовыми раскатами.

– Кто?! – очнулся тут же Фернан. – Что вы сказали?!

– Да-да, сударь, – ответила Жаннетта с уважением к личности, о которой вела речь. – Да-да, наш святой отец, папа римский, оказал нам честь, остановившись в нашей деревушке...

– Как! Сам папа! – вскричал Фернан, смятенно переводя глаза с обшарпанных стен на почерневший потолок столовой. – Как? Сам святой мученик?

Теперь всеобщее внимание, поглощенное до сих пор прелестями юной служанки, обратилось на Фернана. Неразговорчивый попутчик, зажатый на передке дилижанса между кучером и мнимым индусом, Фернан оставался до этого практически чужим в странствующем сообществе, частью которого оказался по воле судьбы.

Но это восклицание, столь странное в устах восемнадцатилетнего сосунка, привлекло к нему любопытные взгляды присутствующих. Только тогда все заметили его ладную фигуру, сосредоточенное лицо, большие черные глаза и широкий лоб мыслителя, за которым почти всегда скрывается или необыкновенный дар к великому, или безумная дотошность в мелочах.

– Да-да, в самом деле, – продолжала Жаннетта, обрадовавшись, что нашелся такой пылкий слушатель. – И его комната с тех пор никому не сдавалась. В ней ничего не меняли, она заперта, и если кто-то входит в нее, то только с глубоким почтением и священным трепетом.

В этот момент дьявольская мушка проникла в нос Фернана, ввинтившись, казалось, до самого мозга. Юноша разгорячился:

– И ее можно посмотреть? Мне необходимо побывать там!

– Что ж, я вас провожу, – ответила девушка. И они вышли вместе.

Меж тем Луицици никак не мог догадаться, что же за игру затеял Дьявол с молодым человеком и служанкой постоялого двора. Их долгое отсутствие было замечено всеми; вдруг на кухне раздался жуткий гвалт. Несколько раз до ушей путешественников донеслось имя Жаннетты, выкрикнутое во весь голос; они решили узнать причину шума и устремились гурьбой на кухню, а в этот момент через другую дверь в столовую вернулся Фернан.

На кухне молодой человек примерно двадцати пяти лет от роду, в охотничьем костюме и с орденами на груди, с необъяснимой силой сжимал руку Жаннетты и орал:

– Отдай мне ключ! Отдай!

Несчастливая девушка имела весьма бледный вид и не могла ни двинуться с места, ни выговорить что-либо членораздельное и словно зачарованная смотрела на молодого человека. Пять или шесть золотых монет упали к ее ногам, притянув алчные взгляды нескольких крестьян, с живостью обсуждавших происходящее. Распаленная от гнева хозяйка постоялого двора сурово процедила:

– Ключ у нее в кармане фартука; заберите его, господин Анри, заберите!

Ярость поначалу лишила Анри какой-либо способности к восприятию; наконец он понял, что ему говорили, грубо обшарил карманы бедной Жаннетты, нашел ключ и как бешеный бросился по лестнице на второй этаж. Путники уже хотели было спросить о причине такого насилия, но тут молодой человек вернулся, одним прыжком преодолев несколько ступенек. Несколько секунд он яростно вращал глазами. Наконец один из крестьян спросил:

– Ну что?

– Да, это правда.

– В той комнате?

– Да.

– Какое святотатство! Какой позор!

– Возможно ли? – изумился другой крестьянин.

В этот момент Луицци послышался резкий смешок, который так часто преследовал его.

– Что за дьявольщина? – произнес Гангерне.

– Как? В той самой комнате? – повторял крестьянин. – Где спал папа?

– Ха! Какая прелесть! – дошло до Гангерне. – Оригинальная идея!

Гневные голоса крестьян ответили руганью и проклятиями. Они бросились к Жаннетте, которая уставилась прямо перед собой и, казалось, потеряла всякое представление о действительности. Наконец она вдруг вскричала:

– Кровать папы! Ах! Я проклята!

В ответ на ее возглас раздался смех, который услышал один Луицци, а Жаннетта вдруг, тихо и жалобно застонав, обмякла и рухнула, словно все ее мускулы разом отказались служить. В тот момент, когда несчастная произнесла: «Я проклята!», она обернулась в сторону столовой, в дверях которой стоял Луицци. Ее взгляд, обращенный на Фернана, поразил барона тем диким выражением, кое было свойственно сатанинскому взору, а когда Луицци оглянулся на Фернана, то увидел в неподвижных глазах студента зловещий свет сжигавшего юношу пламени и понял, какая над тем нависла угроза. Повинуясь первому порыву жалости, он захлопнул дверь и остался в столовой вдвоем с Фернаном.

– Бегите! – сказал Арман.

– Да, – безучастно промолвил Фернан, не двинувшись с места.

– Бегите или же погибнете!

– Я? – меланхолически улыбнулся юноша. – Они не могут причинить мне ни малейшего вреда, судьба не допустит этого. Но я попытаюсь спастись ради них.

– Быстрее, спрячьтесь на империале под парусиной.

Фернан открыл окно, и едва он успел вспрыгнуть на крышу дилижанса, как дверь столовой распахнулась; несколько крестьян, вооруженных кольями, косами, мотыгами и цепями, устремились к Луицци.

– Это не он, не он! – крикнули сразу несколько голосов, и тут же Армана довольно резко спросили, куда подевался Фернан. Не успел он ответить, что, кажется, негодяй подался в сторону Парижа, как все с жуткой бранью и свирепыми угрозами бросились к большой дороге.

Пока запрягали лошадей, Луицци рассказал кучеру, где спрятался Фернан.

– Неплохо придумано, – ухмыльнулся кучер, – на дороге они быстро нагнали бы беднягу, и один Бог знает, что бы они с ним сделали.

– А Жаннетта, как она?

– Сначала все решили, что она умерла со страху, и только потому ее не прибили на месте. Но господин Анри приказал отнести ее в комнату, и там она пришла в себя.

– Кто он такой, этот господин Анри?

– Сын здешнего почтмейстера, – пояснил кучер. – До прихода Бурбонов дослужился до капитана; я воевал под его началом.

– И он знаком с Жаннеттой?

– Он? Ха! Знаком ли с Жаннеттой? Еще бы!

Форейтор щелкнул кнутом, и кондуктор закричал:

– По местам, по местам!

Пассажиры, невеселые и молчаливые, заторопились в экипаж. Арман поднялся последним, заметив, как крайне удивился кучер при виде форейтора, садившегося в седло. Тем не менее он принял из его рук коробку в кожаном чехле и пробормотал сквозь зубы:

– Ну вот, еще один...

Громкие удары кнута помешали Луицци услышать конец фразы.

Лошади бешено помчались вперед и вскоре нагнали крестьян; те преградили дорогу экипажу и попытались любыми способами взобраться на дилижанс, чтобы настигнуть Фернана, который, как они думали, успел уйти далеко вперед. Но кучер ответил категорическим отказом, и форейтор, подстегивая лошадей криком, кнутом и шпорами, оставил вскоре далеко позади возмущенную толпу.

Ни один из пассажиров не проронил ни слова, пока экипаж окончательно не оторвался от преследователей; тогда кто-то спросил, что же стало с Фернаном, и Луицци рассказал, где спрятался юноша. К этому моменту дилижанс оказался в достаточно уединенном месте; и вдруг лошади стали. Форейтор прыгнул на землю и пронзительно крикнул:

– Ну, ничтожный пакостник, спускайся!

Барон выглянул в окно и узнал экс-капитана, одетого в блузу форейтора. В этот момент показался Фернан.

– Что вам угодно, сударь? – холодно произнес он, подойдя к мнимому форейтору.

– Мне угодно пробить тебе башку! – завопил Анри. – Прямо сейчас, здесь!

– Я буду драться с вами на следующей станции.

– А! Хочешь увильнуть, трус! – С этими словами Анри сделал угрожающий жест, нимало не смутивший Фернана. Напротив, молниеносно схватив выброшенную вперед руку Анри, он увлек его за собой, подошел к дилижансу, свободной рукой на добрый дюйм оторвал тяжеленный экипаж от земли и только тогда отпустил противника.

– Как видите, – улынулся он, – в подобного рода игре у вас нет ни малейшего шанса. Я же сказал: на следующей станции буду к вашим услугам. Поскольку вы предлагаете драться, без всякого сомнения, не на жизнь, а на смерть, думаю, вы не найдете ничего плохого в том, что я отдам кое-какие распоряжения.

И, не обращая больше внимания на противника, он вежливо и негромко обратился к Луицци:

– Окажите мне любезность, прошу вас – будьте моим секундантом. Я хотел бы также сказать вам пару слов, и если вы сообразоволиите занять место рядом со мной, то крайне меня обяжете.

Предложение было принято; кучер поднялся на империал, а Арман втиснулся на передок между Фернаном и берлинским старожилем.

Анри вскочил на лошадь и, словно взбесившись, погнал упряжку во весь опор; грузный экипаж летел, как самая легкая коляска.



– Прежде чем поведать вам тайну происшедшего, позвольте попросить вас о небольшой услуге. Я напишу сейчас несколько писем; надеюсь, вы не откажетесь доставить их в Париж?

Луицци кивнул в знак согласия, и Фернан продолжил:

– Пока я пишу, попросите, пожалуйста, подготовить мой багаж, а когда мы будем на станции – распорядитесь о лошадях для меня. После дуэли я отправлюсь по другой дороге; в Париж я не поеду.

Барон поразился хладнокровной уверенности, с которой было принято это решение.

– Не удивляйтесь, – улыбнулся Фернан, – что я так определенно говорю об исходе столкновения, который кажется вам весьма сомнительным. Посмотрите внимательно на этого рубаку. – Юноша показал пальцем на Анри. – Смерть его так же неизбежна, как если бы его уже опустили в могилу; он не жилец.

– Он?! – усомнился Луицци.

– Да-да, – подтвердил Фернан. – Опыение яростью они называют храбростью; а я вам говорю, что ему не жить! Я вижу, как костлявая занесла косу над его головой: смотрите, он сломя голову гонит дилижанс; наш brave капитан торопится драться, а значит – боится. Но хватит болтать о нем – ведь ему только того и надо. Ну, а сейчас, – продолжал он в слегка ерническом тоне, – я хотел бы оправдаться перед вами за то, что вы все, конечно, считаете большим грехом. Только сила обстоятельств толкнула меня на такой небезопасный поступок, только она придавала моей шалости страшный, кошунственный характер. В отличие от этого горе-ухажера, который добрых полгода добивался того же, а теперь так жаждет моей головы, я в глубине души вовсе не считаю себя виновным за полчаса сладкого забытья. По нашим непродолжительным беседам вы можете судить об обуревавших меня чувствах и не должны удивляться моему неожиданно резкому восклицанию и горячему желанию посетить священную комнату. Но едва я в ней оказался, как непрощенная, внезапная идея вернула меня, меня, человека, который всегда жил только иллюзиями, к действительности. Я поднял глаза на Жаннетту; она пристально изучала меня, и ее сердце, как я думаю, переполняло отнюдь не глубочайшее благоговение перед столь почитаемым местом.

Луицци молча слушал, как юноша изо всех сил пытался обелить себя, прекрасно понимая, что тот был только игрушкой в изощренных бесовских руках. Дьявольская мушка усмехалась на носу Фернана, который меж тем провел ладонью по лбу, выразительно вздохнул и проникновенным голосом продолжил:

– Жаннетта не обычная девушка, поэтому я не знаю, какой мой голос из тех, с помощью которых я обращался к ее сердцу, был ею услышан. Хотя эти мужланы и нашли золотые монеты, которые я ей подарил, это вовсе не значит, что она продана. Просто какая-то частичка ее души откликнулась на мои мысли...

Мушка по-прежнему заливалась сатанинским смехом.

– Но я узнаю, – горячился Фернан, – я увижу ее снова, ибо эта девушка принадлежит мне; я оплатил ее любовь покоем всей своей жизни и скоро дам еще одну человеческую душу в придачу. Бедняжка! – горестно ухмыльнулся юноша. – А знаете ли вы, что те слова, которые она произнесла, теряя сознание, – это я прокричал ей в душе? Это я вместо прощания, словно тигр, пожалевший рыдающую жертву, бросил ей про себя: «Ты проклята!»

Луицци содрогнулся. Он внимательно посмотрел на Фернана, словно желая убедиться, не сам ли Сатана принял его обличье. Мушка смешливо жужжала и с остервенением жалила нос юноши. Луицци в какой-то миг показалось, что господин Фернан ломает комедию, превращая свою грубую похоть в романический эпизод из поэмы о Сатане.

Желая увериться в этом, он убедительно ахнул:

– Какой ужас!

– А что вы хотите, – нисколько не смутился Фернан, – бросить вызов самому Всевышнему, оскорбить его святилище, опорочить чуть ли не у него на глазах самое прекрасное и

чистое его творение, так что он никак не сможет его защитить, – весь этот бред обжигал меня, словно адская жаровня; думаю теперь, что Сатана Мильтона вовсе не такое уж невероятное создание.

Луицци невольно вздрогнул и обернулся на тюремного старожила, который, рассеянно стряхнув пепел с сигары, хмыкнул:

– Малышка достаточно мила и без всякого вмешательства Дьявола.

Мушка уязвленно покосилась на господина де Мерена, как бы беря на заметку столь нелестное для себя заявление.

– Приехали! – крикнул в этот момент Анри; он бросил подбежавшему конюху поводья, позвал кучера и забрал у него коробку с пистолетами.

Кому из нас не приходилось присутствовать на дуэли? Кому не знакома смертная душевная тоска от самоуверенного вида того, кто вот-вот уйдет в мир иной? Луицци был едва знаком с Фернаном, однако повиновался всем его пожеланиям, словно прихотям самого близкого друга. Вскоре все имущество Фернана было поручено барону, приказавшему также запрячь коляску. Капитан сидел на придорожном камне, обхватив голову руками. Когда Луицци припомнил, как вел себя Фернан, ему стало страшно за бывшего вояку. Он кликнул кучера в надежде уладить дело миром:

– Неужели мы позволим двум прекрасным молодым людям убивать друг друга из-за трактирной подавальщицы?

– Трактирной подавальщицы? – ответил кучер. – Конечно, сейчас так оно и есть, хотя она скорее создана для того, чтобы подавали ей, а не наоборот... Но это целая история...

– Рассказывайте! – крикнул барон. – Выкладывайте все!

– Слишком долгая история, а время нас поджимает... Все, что я могу вам сказать: у моего капитана есть свои мотивы, и наглый юнец получит по заслугам.

– Вы так считаете?

– Пуля разнесет ему черепушку.

– Я бы не спешил с подобными утверждениями, – нахмурился Луицци. – Если я и опасуюсь, то вовсе не за Фернана.

– Ха! – презрительно фыркнул кучер. – Чтобы молокосос, который даже не знает, что такое воинская служба, надрал уши гвардейцу Наполеона, ветерану битв под Москвой и Ватерлоо, где он успел побывать, несмотря на свои двадцать пять лет?! А как он искусен в стрельбе! Я готов держать бокал из-под шампанского в зубах, и с тридцати шагов этими пистолетами он отстрелит у него ножку! – И кучер открыл коробку Анри.

– Должно быть, они быют наверняка, – спокойно проговорил подошедший к собеседникам Фернан.

Он взял пистолеты и, пощелкав курками, невозмутимо вернул их кучеру.

– Сударь, – обернулся он к Луицци, – совершенство этого оружия удручает, ибо лишает всякой жалости; у меня же нет никакого желания отдавать свою жизнь нашему взбешенному вояке. Готовьтесь.

Анри обнаружил появление противника, молча подал знак рукой, и секунданты подчинились. Луицци понял, что объяснение уже невозможно. Он взял из рук Фернана несколько аккуратно сложенных писем, надписанных твердым и ясным почерком; затем все направились в ближайший лесок, на подходящую для поединка поляну.

Договорились, что противники встанут в тридцати шагах друг от друга и по сигналу начнут сходить на расстояние до десяти шагов; стрелять же они могут в любой момент после сигнала, по желанию. Тщательно заряженные, прикрытые платком пистолеты Луицци передал обоим дуэлянтам, и все разошлись по местам.

Раздался условный хлопок, но едва Фернан сделал один шаг, как прогремел выстрел, и все увидели, как юноша вздрогнул и остановился.

– Капитан – стрелок искусный, но далеко не храбрый, а то бы он меня прикончил, – усмехнулся Фернан, показывая пробитую пулей правую руку; затем он перехватил пистолет левой кистью.

– Поторапливайтесь, – нервно крикнул Анри, – а потом начнем все сначала!

– Не думаю, – глухо произнес Фернан.

И тут же, не воспользовавшись возможностью подойти ближе, выстрелил. Анри упал, сраженный прямо в сердце, так что ни малейший стон, ни единая судорога не выдали, что он прекратил свое существование.

Час спустя Фернан катил в почтовой коляске, а Дьявол вновь возник рядом с призвавшим его Луицци.

– Ну что, мессир Сатана, не хочешь ли поведать, зачем ты вдохнул в юные души гнусные желания?

– Это мой секрет; кроме того, мне не надо ничего рассказывать: ты видел все собственными глазами.

– Да, но был же какой-то пролог к этой истории! Я хотел бы с ним ознакомиться!

– Никакого пролога. Несчастливая сиротка из придорожного трактира и испорченный плохими книгами тупица – только и всего.

– Но почему ты выбрал именно их для этого отвратительного действия?

– Потому что мне нужны были два удивительно невинных, предельно чистых существа, чтобы показать, как элементарно превращаются они в абсолютных мерзавцев, да так, что никто в том не усомнится.

– А совершенный ими проступок не есть ли начало жизни, полной пороков?

– Или порочных мыслей, которые гораздо более пагубно влияют на вашу человеческую мораль, прекрасно отвечая в то же время моим сатанинским интересам. Я отдам все самые громкие преступления века за одну порочную идею; и потому я только что приговорил два сильных духом и полных энергии существа к жизни исключительной, к жизни отверженных, посвященной войне с религией, браком и социальным неравенством. Одно из этих двух существ – женщина, не чуждая страстей, прихотей и амбиций, несмотря на ее смутное происхождение. Уже сейчас она больше сожалеет о погубленном будущем, чем о совершенном грехе. Еще неделя благоразумия – и девушка, в душе которой было заложено так много, стала бы женой капитана Анри; скорее всего, она превратила бы его в человека утонченного и блестящего, чтобы рядом с ним казаться утонченной, заметной и блестящей женщиной. Теперь это уже никак невозможно, ибо Жаннетта не принадлежит к тем, кто считает раскаяние достоинством. Загнанная в угол, она противопоставит этот угол всему свету.

– И конечно, подтолкнет Фернана к совершению серьезных проступков, а то и преступлений.

– О да, согласно вашей морали, это преступления.

– Ты не хочешь рассказать мне о них?

– Ты узнаешь о них и без меня.

– Каким образом?

– Однажды ты прочтешь опус Фернана...

– Как?

– Скажу только, что он будет литератором и сенсимонистом.

– А кто это такие – сенсимонисты?

– Ровно через десять лет, считая от сегодняшнего дня, вспомни кровать папы, и ты поймешь глубинную сущность сенсимонизма.

## IV

### Кое-что проясняется

Дилижанс тронулся в путь, и, естественно, все живо принялись обсуждать последние события. При этом каждый стремился воспользоваться случаем, чтобы поведать о более или менее необычайных приключениях, которые им пришлось пережить или же наблюдать. Само собой разумеется, Гангерне превзошел всех по части подобного рода рассказов. Один из них Луицци слушал с особенным интересом.

– То был, доложу я вам, презабавнейший анекдот! – заявил Гангерне. – В жизни так не смеялся, чуть живот не надорвал. Вы, господин Фейналь, должно быть, знаете эту историю; она случилась три или четыре года назад.

– Гм, гм, – задумался нотариус, – и что же такого сверхсмешного произошло в ту пору в Памье?

– Разве в Памье может произойти что-либо достойное внимания? Что вы! Действие этой истории развивалось в Тулузе, а главным ее героем являлся аббат Сейрак. Вы его знаете?

– Могу ли я не знать, кто такой господин де Сейрак, Адриан Анатолий Жюль де Сейрак, сын маркиза Себастьяна Луи де Сейрака? Если я правильно понимаю, другого де Сейрака сейчас в живых нет.

– Отлично! Это он и есть. Только, похоже, вы знаете его в качестве обыкновенного человека, а не в качестве священника, что далеко не одно и то же.

– Последний раз я видел его десять лет назад, – бывший нотариус насупил брови и зажмурился, словно стараясь что-то рассмотреть в глубине своей памяти, – он выглядел прекрасно; ему исполнилось двадцать пять, он был без памяти влюблен и, похоже, вовсе не собирався облачаться в черное платье. Эге! – встрепенулся нотариус, потерев указательным пальцем переносицу. – Честное слово, могу даже точно указать дату нашей встречи. Черт подери, как раз накануне подписания брачного договора между Люси де Кремансе, чьим поверенным я являлся в ту пору, и маркизом дю Валем; и раз уж вы перевели мои мысли на этот сюжет, я припоминаю по поводу этой женитьбы крайне любопытную историю, которую сейчас вам изложу.

– Нет-нет, я первый! – засуетился Гангерне. – Если вы начнете ваш рассказ, то свой я оставлю при себе!

– Как вам будет угодно, – проворчал господин Фейналь, поудобнее устраиваясь в уголке, – только смотрите, не усыпите меня, ибо во сне я все время вижу жену, а ради этого не стоило ее покидать. Впрочем, я вас и не тороплю – ваша история вернет меня в те ужасные времена, когда я был столь несчастен, в те злополучные времена, когда я служил нотариусом, а потому я стремлюсь вспоминать или слышать о них не более, чем старый каторжанин о галерах.

– Простите, сударь, – вмешался Луицци, – думаю, ваша история не менее забавна, чем история Гангерне, и мне со своей стороны будет очень приятно выслушать вас, но это несколько не мешает нам позволить господину Гангерне изложить его анекдот.

И Гангерне начал:

*Оргия*

– Примерно года три назад я оказался в Тулузе на празднике Тела Господня; ожидалось большое шествие. Маленькой веселой компанией мы расположились в удобной для наблюдения за ее ходом точке, в одном доме; не могу назвать вам ни улицу, ни номер дома, ни имени владельца. Так себе домишко, скажу я вам, где продавалась куча разнородного запретного товара, за которым, правда, не охотится таможня. На первом этаже вдоль улицы расположился небольшой кабачок; на втором – две шустренькие сестрички, двадцати и двадцати двух лет, торговали подтяжками, воротничками и галстуками; на третьем – находился магазинчик,

где три очень близких подружки от двадцати пяти до тридцати лет и одна пожилая дама продавали воротнички, галстуки и подтяжки; на четвертом – лавочку с галстуками, подтяжками и воротничками на витрине держали две девицы, о возрасте и внешности которых я судить не берусь, а впрочем, их совершенно бесполезно расписывать, так как они не имеют ровно никакого отношения к дальнейшему; я рассказываю вам все это только затем, чтобы вы поняли, что дом был весьма населен и торговля в нем процветала. Вот только чем выше этажом, тем ниже ценился товар... Вы меня понимаете, хе-хе...

Гангерне засмеялся во весь голос, но никто его не поддержал. Только сидевшая в углу женщина стрельнула в него взглядом, пронзившим даже густую вуаль, что скрывала ее лицо. Тем не менее балагур продолжал:

– Поскольку нас собралось пятеро обалдуев, то мы предложили дамам спуститься на второй или же подняться на третий этаж, на их выбор, ибо и там и тут найдется изысканная закуска – ветчина и пироги, дичь и фрикадельки, и там и тут на столе игристое шампанское, русильонское вино и пунша хоть залейся – короче, все необходимое для славной пирушки!

Хотя второй и третий этажи постоянно пререкались между собой, перехватывая друг у друга клиентов буквально на лестнице, они прекрасно уживались, как только речь заходила о еде. Я прошу прощения у сударыни, – добавил Гангерне, покосившись в сторону дамы, так и не приподнявшей вуали, – не в обиду ей будет сказано, но женщины по своей природе всегда не прочь вкусно поесть. Не знаю, как ведут себя за столом графини и маркизы, но существа с более ненасытной утробой, чем гризетка, мне видеть не приходилось; она уплетает куриные ножки не хуже извозчика и поглощает спиртное, как старый солдат. Но дело совсем не в том; достаточно сказать, что в девять часов утра стол был накрыт, вино охлаждалось в ведерке со льдом, а наша развеселая компания проскользнула на второй этаж описанного выше дома под предлогом покупки пары сигар в кабачке, ибо как ни гуляй, а приличия соблюдать все-таки надо.

Меж тем праздничное шествие уже началось; девицы, выглядывая из окон, строили глазки гарнизонным офицерам, а мы украдкой наблюдали из-за занавески бокового окна, как под нами проносили Святые Дары; и вдруг небо насупилось, как чернила, и налетевший ливень моментально разогнал процессию.

Все произошло так быстро, а дождь с таким неистовством обрушился на улицы города, что участники шествия и зеваки поспешили спрятаться в первую попавшуюся дверь или подворотню. Целая толпа во главе со священником набилась в парадное нашего дома, так что вошедшие первыми были оттеснены к подножию лестницы. Перегнувшись через перила, я узрел попа, напуганного первой же каплей, и тут же мне пришла в голову блестящая идея.

«Этот святоша должен с нами отобедать!» – сказал я себе.

Я поделился благой мыслью с собутыльниками обоих полов, и они встретили мое предложение восторженной овацией.

Посоветовав товарищам держаться как можно скромнее и благопристойнее, я опустил на собственное лицо вуаль крайнего благочестия и спустился к аббату.

– Отец мой, – обратился я к нему, – здесь вам, должно быть, не совсем уютно; пожалуйста наверх, с нами вы отлично проведете время, переждав непогоду, а мы, моя жена и я, будем очень польщены возможностью предоставить вам убежище.

– Благодарю, сударь, вы очень любезны, – ответил кюре, – но я прекрасно пережду грозу и здесь, на этом месте.

Я продолжал настаивать, твердя, что его отказ поставит нас в неловкое положение, и бедняга в конце концов согласился, только бы меня не обидеть. О пастырь, ну и балда же ты!

В тот момент, когда он распахнул дверь и оказался в рабочем помещении наших барышень, я простер над его головой руку и поклялся сам себе: «Ну-с, друг мой клубучный, пусть черти заберут мою душу, если по выходе отсюда тебя не предадут анафеме!» После чего я

взял свою подружку под руку и сказал кюре: «Имею честь представить вам мою супругу, госпожу Грибу». Этот псевдоним, Грибу, я придумал для того, чтобы использовать в моих не всегда обдуманных похождениях и избежать при этом малоприятных последствий; что касается Мариетты, то она была моей подружкой, которой, признаться, не хватало только благословения священника, чтобы окончательно меня окрутить; в то время она выглядела милой, скромной девушкой с огромными миндалевидными глазами, розовыми, вкусными, как вишня, губками, пышной шевелюрой и поистине королевской фигурой со всеми ее атрибутами, хе-хе; она как бы зажигала все и вся вокруг огнем любви, счастья и совершенно неопишуемого разгульного задора; я не мог дотронуться и пальцем до бархатистой смуглой кожицы этой девицы, чтобы меня не встряхнуло от удара током любви.

Она бросила на гостя такой взгляд, что я сразу понял, как хорошо она вошла в желательную для моей проделки роль.

Такому видному парню, как аббат, с медной, как у мулата, кожей и густой кипой волос на голове, совсем не помешало бы взять на себя труд объяснить столь эффектной девушке, как Мариетта, нечто иное, чем таинства причастия. Меня даже несколько покорило поначалу – я бы предпочел, чтобы кто-нибудь другой вместо Мариетты преподавал ему урок, но в конце концов идея была моя, а потому я не мог требовать от товарищей, чтобы они заняли мое место; только вот Мариетта, мне показалось, с излишней легкостью согласилась приняться за дело.

Как бы то ни было, я никоим образом не отказался от столь блестящего розыгрыша, и мы открыли огонь из всех видов оружия. Во-первых, аббат явно запарился в ризе, отягощенной добрыми двадцатью ливрами золота; мы предложили ему освежиться, и под видом бокала вина, разбавленного водой, я подсунул ему небольшой коктейльчик собственного изобретения, состоявший из русильонского вина, игристого из Лиму и спирта – такой смесью можно свалить и жеребца. Бедный аббат осушил поднесенное не моргнув глазом, но минутой позже его благородно-бледное личико покраснелось, а ясный взор подернулся дымкой.

– Вам нехорошо, господин аббат? – участливо поинтересовался я.

– Да, что-то вино у вас какое-то...

– Ничего удивительного, – бодро продолжал я, – вы, скорее всего, пожаловали к нам натошак, а на пустой желудок вино всегда так действует. Окажите мне честь, отведайте чего-нибудь вкусненького и сами увидите – все сразу же пройдет.

Он имел глупость мне поверить и согласился занять место за нашим столом – большего мне и не требовалось; я посадил его между собой и Мариеттой. За столом было достаточно тесно, и, пока слева я подливал ему вина, изготовленного по моему рецепту, Мариетта справа раззадоривала его по-своему. Есть вещи, которые невозможно пересказать, – их нужно видеть, а потому я не могу описать все изменения в лице бедного попика между подносимой мною бутылочкой и змеиными глазками Мариетты; сам черт, угодивший в святую воду, не мог бы корчить таких рож.

Голова нашего гостя мало-помалу закружилась, и наконец я убедился, что он дошел до нужной кондиции, ибо обнаружил, что рука его как бы задержалась в ладонях соседки. Он уже не смотрел на нас совершенно растерянными глазами, как поначалу, а устался на Мариетту так, что она покраснела бы от стыда, если бы такое вообще было возможно. Думаю, насмешница старалась от чистого сердца: смазливый молодой аббат очаровал ее с первого взгляда, и, кроме того, она также пригубила немного моей ядовитой смеси.

Уверившись, что дело практически сделано, я подмигнул товарищам, и они начали исчезать: одного заинтересовало вдруг, что же там происходит за окном, другой якобы решил сбегать еще за бутылкой, женщины пошли принести чего-нибудь сладкого, в общем, один за другим все как бы невзначай испарились; последним вышел я, закрыв дверь ключом на два оборота, хотя, конечно, эта предосторожность не имела смысла; аббат попал в лапы опытного

хищника, который не позволит ему улизнуть, и слишком хорошо я знал Мариетту, чтобы не быть уверенным, что он выйдет от нее проклятым, как жид.

– Ничего себе! – прервал хохот Гангерне Луици. – И вы не побрезговали подобными средствами ради свершения столь гнусного преступления?

– Подумаешь! – еще залиvistее заржал Гангерне. – Это же смешная история, сударь мой разлюбезный, и ничего больше! Или вы верите в добродетель этих шутов в рясах с кучей якобы племянников и племянниц, которых они пристраивают в певческий хор? Мой был довольно молод и, наверное, еще не потерял веры во всякие религиозные глупости, но это не продлилось бы долго: не Мариетта, так какая-нибудь набожная прихожанка не первой молодости выбила бы из него дурь, но куда как менее приятным образом. Впрочем, я не скрываю своего личного мнения; я, можно сказать, либерал, и мне внушают отвращение иезуиты и ханжи, а потому никогда не буду раскаиваться в том, что неплохо посмеялся над этим сбродом, только и мечтающим восстановить у нас десятинный налог и индульгенции.

– Ну же, – нетерпеливо прервал толстяка Луици, чувствуя, что ему, меньше чем кому-либо, подобает возражать пошлой белиберде любителя пошутить, – и чем все кончилось?

– Забавное получилось дельце, честное слово! – продолжал Гангерне. – Подождав пару часиков, дабы улетучились винные и другие пары, я спустился в кабачок и, попросив рюмку водки, сел играть в домино; за партией я с равнодушным видом, как бы ненароком, заметил, что, когда проходил по лестнице, услышал в комнате Мариетты незнакомый голос. Я совсем не ревнив, – добавил я уязвлено, – но решил заглянуть в замочную скважину – и что бы вы думали? Ставлю двести двойных пистолей из чистого испанского золота против двух медяков, что прямо перед дверью, на спинке стула, висит ряса священника!

– Не может быть!

– Сказки!

– Вранье!

– Во заливаает!

– Это, наверное, не наш аббат! – раздались крики со всех сторон.

– Не знаю, не знаю, – ответил я, – но спорю на две кружки пунша, что там наверху есть священник.

– Я с удовольствием оплачу эти две кружки, – ответил один из посетителей кабачка, – и без всякого пари, лишь бы увериться в правдивости ваших слов.

– А я охотно оплачу их, – ответил я, – лишь бы убедиться, что мои подозрения в отношении Мариетты беспочвенны!

– А я поставлю по кружке всем присутствующим и дам сто франков, лишь бы она прокрутила этот фокус! Эх! Как давно я мечтаю застукать одного из тех скользких попики, что уговорили мою тетюшку отдать все наследство городской больнице! Он у меня попотеет, прохвост!

– Ну так что? По рукам?

– По рукам.

Сказано – сделано; меж тем все посетители кафе, а их насчитывалось около тридцати, сгрудились вокруг нашего стола и засвидетельствовали уговор об угощении пуншем всего благородного общества.

– Однако, – не преминул я заметить, – поскольку присутствующие заинтересованы в угощении, нужно, чтобы все своими собственными глазами увидели то, что происходит наверху.

Сие предложение не вызвало ни у кого возражений, и толпа устремила к лестнице через заднюю комнату лавки; затем мы на цыпочках прокрались на второй этаж. Заперев дверь, я предусмотрительно спрятал ключ под половику; я рассчитывал, что, толкаясь у замочной скважины, эти пьянчужки обязательно нащупают его ногами и найдут.

Славная мысль посетила меня очень кстати, ибо, по правде сказать, не разглядев ничего через скважину, все уже было решили, что я ошибся, но в этот момент посетитель, столь потерпевший когда-то от поповского произвола, нашел-таки пресловутый ключ, быстро схватил его и отпер дверь. В самом деле, первое, что мы увидели за ней, – это четырехугольный наплешник аббата; мы бросились к двери в комнатку Мариетты, но, похоже, наше приближение было вовремя обнаружено, так как эта дверь была закрыта изнутри на засов, а потому нам не удалось застичнуть парочку *flagrante delicto*<sup>3</sup>, как пишут в *jus romanum*<sup>4</sup>. Проигравший пари заорал, что он сейчас разнесет дверь, а я, понимая, что дело не требует больше моего участия, спустился в кабачок. Несколько посетителей, не пожелавших подниматься вверх, весело переговаривались у выхода на улицу. Мало-помалу к ним присоединились знакомые и друзья, что проходили мимо, и вот уже довольно многочисленная толпа прислушивалась к происходившему наверху. Поскольку я не люблю оставаться в гуще потасовки, если есть малейшая вероятность, что дойдет до тумачей, то расположился на другой стороне улицы, чтобы насладиться развязкой маленькой комедии по моему сценарию. На втором этаже раздавались бешеные вопли тех, что ломались в дверь Мариетты, а внизу из толпы кричали:

– Кидайте попа сюда!

– Но, сударь, это же чистой воды убийство! – воскликнул Луици.

– Подумаешь! – загоготал Гангерне. – Смешная история – только и всего! К тому же второй этаж – не высота для священников, ибо они, как кошки, падают всегда на четыре лапы; и наш герой самым замечательным образом доказал данный постулат, так как, хотя его и не выбросили в окно, выходящее на улицу, он улизнул, выпрыгнув в сад. Так что через полчаса, когда на улице собралось кипевшее от возмущения сборище в четыре или пять тысяч зевак и прибывшие полицейские выломали дверь, птичка уже упорхнула. Тем не менее в клетке остались ее перья, хотя и не говорившие конкретно о личности их обладателя, но выдававшие, к какому семейству она принадлежала.

– Толпе не удалось застукать аббата де Сейрака, – заметил Луици, – и как же узнали, что там был именно он?

– Бог мой! – ответил Гангерне. – Конечно же все это прекрасно знали, так как два дня спустя я увидел его в церкви Сен-Сирнен; аббат плакал и молился как безумный. Он несомненно узнал меня, так как невольно приподнялся с колен, и думаю, если бы мы находились в более уединенном месте, он попытался бы взять реванш.

– И по-моему, он был бы не совсем неправ, – хмыкнул Луици.

– Возможно, – продолжал Гангерне, – но могу поручиться, что в этом случае я вразумил бы его точно так же, как ранее заставил потерять рассудок. Кроме того, прошу заметить, я не причинил ему особого вреда: вся эта история не помешала ему стать викарием, во-первых, семейка быстро замяла дело, а во-вторых и в главных, иезуиты очень не любят давать либералам возможности насладиться бичеванием своих собратьев. Его даже не отправили куда-нибудь отдохнуть на пару месяцев. Это значило бы признать его виновным и предать общественному порицанию, что, впрочем, было им вполне заслужено.

– Вы находите? – попытался возразить барон.

– В конце концов, – не обратил внимания на слова Луици Гангерне, – ему грех жаловаться на судьбу; он познал то, чего до тех пор скорее всего не знал, и взял в любовницы самую прекрасную девушку в Тулузе.

– Как? – удивился Луици. – Аббат де Сейрак стал встречаться с Мариеттой?

– Да-да, – продолжал Гангерне, – так что мне пришлось однажды вечером, когда я застал его у Мариетты, выпинать его за дверь...

<sup>3</sup> На месте преступления (*лат.*).

<sup>4</sup> Римском праве (*лат.*).



– А точнее, – раздался голос женщины в вуали, – в один прекрасный день, когда вы вздумали заявиться к Мариетте, он спустил вас с лестницы.

Гангерне и Луицци вздрогнули при звуках этого голоса, который показался им знакомым, и оба уже собирались расспросить женщину, притаившуюся в уголочке, но тут нотариус, так рвавшийся рассказать свою историю, наставительно произнес:

– Все это и в самом деле забавно; но чего вы наверняка не знаете, так это причин, по которым господин де Сейрак сделался священником!

– А вы знаете! – обрадовался Луицци; ему показалось, что тайна, окружающая историю несчастной Люси, наконец-то прояснится.

– Гм, – ответил нотариус. – Как сказать... Это не совсем то слово; но, кажется, я догадываюсь, так как вот что произошло в день, когда состоялось бракосочетание Люси де Кремансе и маркиза дю Валя.

## V Cosi fan tutte

5

– Ну что ж, приступайте, – попросил Арман.

И бывший нотариус начал:

– Как вы, наверно, знаете, эта свадьба состоялась во время Ста дней. Граф де Кремансе, отец Люси, беззаветно служил, подобно многим другим дворянам, не в обиду будет сказано господину барону, прохвосту Бу-о-на-пар-те.

(Это имя написано таким образом только потому, что так его произносил господин Фейналь.)

В 1814 году, после падения бандита Буонапарте, граф вернулся из армии и узнал, что его женушка, оставленная в Тулузе ради того, чтобы, пока он сопровождает узурпатора в походах, по-прежнему радушно потчевать его друзей, взяла привычку каждый божий день принимать маркиза дю Валя. Генерал Кремансе, ибо мерзавец Буонапарте пожаловал графу генеральский чин, спросил у супруги, что же этот самый маркиз делал так часто в его доме. Госпожа Кремансе, креолка по рождению, не боявшаяся ни Бога, ни черта, когда ей в голову ударяла очередная фантазия, но опасавшаяся до дрожи собственного мужа, ибо он немедленно и без всяких колебаний оторвал бы ей руки и ноги, если бы только заподозрил хоть на секунду, что происходило на самом деле, – так вот, госпожа Кремансе ответила, что господин дю Валь ежедневно приходил только за тем, чтобы ухаживать за его дочерью Люси.

– Он бывал здесь что ни день, – заявил генерал, – а это слишком часто, чтобы теперь отвертеться от женитьбы!

Поначалу госпожа Кремансе не придавала его словам большого значения, вообразив, что с помощью нежных ласок и ненавязчивой лести она потихоньку избавит мужа от засевшей в его голове идеи. Но генерал, упрямый, как ишак, и полный непримиримой злобы, как дикий осел, твердо стоял на своем: «Или маркиз женится на моей дочери по-хорошему, или же я его заставлю!» Госпожа де Кремансе согласилась только для виду, ибо любовь ее к маркизу еще не остыла; маркиз же дал немедленное согласие, поскольку госпожа Кремансе уже давно его не привлекала. Тем не менее он искусно ломал комедию, дабы уверить мать, что он женится на дочери только ради спасения их общей чести.

Графиня действительно поверила и позволила событиям развиваться своим чередом и даже несколько способствовала им, запретив появляться в доме господину де Сейраку, которому ранее, в отсутствие генерала, пообещала руку дочери; несмотря на отчаяние Люси, она вынудила дочь согласиться на замужество, отвратительное для бедной девочки, не предвидевшей, впрочем, сколько несчастий оно ей принесет.

Как бы то ни было, дело продвигалось, и наконец настал день подписания договора. Похоже, только в этот день госпожа Кремансе обнаружила, что маркиз вовсе не приносил себя в жертву, соглашаясь на женитьбу, а, наоборот, был безмерно счастлив; по всей видимости, она подслушала, как он разговаривал с Люси тоном, в котором чувствовалось больше любви, чем смогла когда-то внушить она сама. Но было поздно поворачивать оглобли: с обеих сторон были приглашены родственники и свидетели, контракт обговорили в общих чертах, а на вечер назначили его чтение в присутствии семейств.

Доведись мне прожить сто лет, все равно я буду вспоминать тот день так же ясно, как вчерашний. Все собрались в просторной гостиной особняка графа де Кремансе. Члены семейств

---

<sup>5</sup> Так поступают все женщины (*ит.*).

расселись вокруг возлежавшего в шезлонге генерала; доблестного вояку свалил сильнейший приступ подагры, а потому ему понадобилось собрать в кулак все свое мужество, чтобы встать с кровати, добраться до гостиной и присутствовать на чтении. Мой коллега Барне огласил текст, что было, впрочем, чистой формальностью, и вскоре его подписали жених и невеста, генерал, его жена и родственники.

Едва генерал поставил подпись под договором, как тут же извинился и, сославшись на нездоровье, поспешил удалиться; четверо слуг отнесли его на второй этаж, где находилась спальня. Вскоре исчезли и родственники, и в гостиной остались графиня, Люси, маркиз, коллега Барне и ваш покорный слуга.

В течение всего вечера госпожа де Кремансе не произнесла ни слова; но я подметил ее помутившийся, словно безумный, взгляд; и когда она должна была приложить свою руку к договору, то была настолько взволнована, что в упор не видела места для подписи, и два раза перо выскальзывало из ее рук, прежде чем она смогла им воспользоваться.

Мы расположились таким образом: я сидел за столом, раскладывая экземпляры договора; маркиз стоял рядом с Люси у окна – он словно извинялся за то, что скоро станет ее мужем, а несчастная девушка едва сдерживала слезы; напротив них господин Барне объяснял госпоже де Кремансе, какие блага, бесспорно, сулит договор ее дочери, но графиня не слушала, уставившись горящими глазами на дочь и будущего зятя.

Пока я пытался осмыслить значение зловещего выражения ее лица, она, внезапно покинув господина Барне, устремилась к маркизу, вырвала его руку из руки дочери и прокричала:

– Вы лжете, сударь, лжете! Вы не любите эту девушку, вы не можете ее любить! Иначе вы просто подлец!

– Я люблю ее! – рьяно возразил маркиз.

– Ах так! Ну, раз любишь, то ты не женишься на ней!

– Клянусь, она будет моей женой!

– Нет, не будет! – заорала во весь голос графиня, от ожесточения совершенно потеряв рассудок. – Не будет! Дочь моя, – обратилась она к Люси, – всмотритесь как следует в этого мужчину – он был моим любовником! Он был любовником вашей матери! И вы желаете, чтобы он стал вам мужем?

Все произошло молниеносно; господин Барне и я совершенно оторопели; вдруг мы увидели, как несчастная девушка упала перед матерью на колени и взмолилась:

– Матушка, не надо! Кто-нибудь услышит и поверит! Папенька узнает!

– Ну и пусть! Пусть знает, – еще пуще завопила госпожа де Кремансе, – пусть явится и убьет меня! Если уж этот негодяй настолько нечистоплотен, что согласился на такую мерзость, то что ж! Генерал не позволит свершиться гнусному инцесту!

Горячая креольская кровь словно ударила в голову женщины, казалось, пьяной от ревности и гнева. Она опять повернулась к маркизу и бешено прошипела:

– Так ты ее любишь, да? Ничтожество неблагодарное! Любишь? Но ведь она-то тебя не любит, это уж точно! Она любит другого, которому отдастся при первой возможности, как я отдалась тебе! Она наставит тебе рога, как и я – собственному мужу! Она любит господина де Сейрака. Так что берегись, берегись его!

Еще долго она продолжала осыпать маркиза яростными упреками; напрасно он пытался ее успокоить, в то время как Люси, рухнув на пол, сотрясалась от ужасных рыданий и глухих стонов.

Мы, то есть господин Барне и я, от неловкости забились в самый угол гостиной, как бы стараясь поменьше видеть и слышать. Мы уже решили было потихоньку ускользнуть, чтобы не заставлять впоследствии столь могущественных людей краснеть при встрече, когда госпожа Кремансе, могу утверждать это с полной ответственностью, окончательно обезумела; она схватила маркиза за руку, потянула его изо всех сил к выходу и закричала:

– Пойдем, пойдем! Пусть мой муж рассудит, как мы посмотримся вместе, и я расскажу ему все!

В ту же секунду дверь распахнулась и появился генерал. Не знаю, знал ли его кто-нибудь из вас; его жесткий и холодный взгляд, которым он как бы упирался в собеседника, совершенно невозможно было выдержать, не опустив глаза. Закутанный в длинный домашний халат красного цвета, с длинными, совершенно седыми волосами и длинными белесыми усами, он возник перед нами, словно привидение, словно костлявый призрак смерти, который вызывается с помощью магических заклинаний. Он остановился на пороге и глухим голосом, которого я никогда не забуду, произнес:

– Что здесь происходит?

Он стоял, выставив вперед обнаженную шпагу, которая лучше всяких слов говорила, что он все прекрасно понимает. Люси вскочила на ноги и подбежала к нему с криком:

– Сжался, папочка, сжался!

Генерал склонился к ней и с непередаваемым, мучительным и жестоким выражением в голосе ответил бедняжке Люси:

– Сжалиться над вами, Люси, ведь так? Пожалеть дочурку, потому что кто-то другой завоевал ее сердце, и она боится, что отец разгневался на нее! Но ведь любовь ваша невинна и чиста, а потому я прощаю вас; если я узнал бы, что любовь ваша греховна, если она породила бы хоть малейшее подозрение, бросила бы хоть самую легкую тень на женщину, которая носит мое имя, то я убил бы ее немедленно, как убью сейчас!

С этими словами генерал прошел несколько шагов в сторону графини; но Люси бросилась ему на шею, умоляя:

– Папа! Папа! Сжался, во имя всего святого!

Генерал обнял ее и ответил нежно и скорбно:

– Да, дочка, я убил бы вас обеих, если бы вы обесчестили семейство де Кремансе; но я не хочу опозорить это имя...

– Я выйду за маркиза замуж. – И Люси упала перед отцом на колени.

– Хорошо, дочь моя, – вздохнул генерал, выпустив из ослабевших рук шпагу; затем он обернулся к нам и холодно произнес: – До завтра, господа. Не забудьте явиться на праздничную церемонию.

Мы уже были в двух шагах от дверей гостиной, когда генерал почувствовал столь сильную боль в сердце, что его уложили прямо на поспешно принесенный матрас, чтобы не потревожить при подъеме вверх.

– И что же, свадьба состоялась? – спросил Луици.

– Да, на следующий же день, – продолжал нотариус. – Два дня спустя господин де Кремансе скончался, после чего его жена уехала из Тулузы, а юный Сейрак поступил в семинарию, готовясь стать священником.

## VI

### Продолжение

Луицци прослушал всю эту жалостную историю с нетерпеливым интересом. Дилижанс остановился перед длинным и крутым подъемом: все пассажиры вышли, и Арман зашагал рядом с бывшим нотариусом, отдавшись на волю потока тяжких дум, внушенных ему последним рассказом; в то же время Гангерне резвой прытью поскакал вперед, надеясь успеть опрокинуть пару-тройку рюмочек рома в кабаке, вывеску которого он углядел на самом верху подъема; обгоняя Армана, он бросил на ходу:

– Похоже, рассказ нотариуса задел вас за живое, господин барон?

– В самом деле, – подхватил господин Фейналь, – что-то вы призадумались, сударь...

– Да, ваша история приоткрыла мне завесу над одним сумасбродным поступком, подоплеку которого я никак не мог себе уяснить...

– Вот это я как раз могу вам разжевать от и до, – произнесла несловоохотливая дама в вуали.

– Вы?

– Да, я. Узнаете, господин барон?

Женщина подняла вуаль, но Луицци, ясно понимая, что уже видел это лицо, не мог припомнить, где и когда. Тогда женщина тихонько добавила:

– Я та самая служанка, что проводила вас однажды ночью к маркизе дю Валь...

– Мариетта! – воскликнул Луицци.

– Да-да, – ответила она, – Мариетта – мое настоящее имя; под этим именем я служила маркизе, и точно так же меня называли, когда я помогла аббату де Сейраку смыться целым и невредимым из моей каморки.

– Как?! Вы? – Луицци даже поперхнулся от удивления.

– Да-да, та самая Мариетта, что, потеряв голову от любви к священнику, не нашла ничего лучшего, чем очаровать его и завлечь в свою комнатуху, вместо того чтобы нагнать на него страха божьего за совершение даже малейшего греха; та самая, что выбила из него всякие остатки совести и приучила потихоньку к разному распутству, вплоть до того дня, когда, став еще более развращенным, чем я, он с помощью золота и гнусных угроз вынудил меня участвовать в своих грязных делишках.

– Это в каких же? – удивился барон.

– Слушайте.

И Мариетта со вздохом начала свой рассказ:

– Прошло семь лет, как мадемуазель де Кремансе вышла замуж; минуло семь лет, как господин де Сейрак стал аббатом, и все эти годы он любил ее, но отчаяние превратило его любовь в почти что невинную страсть.

Хотя аббат де Сейрак стал любовником проститутки, а ведь я была самой настоящей проституткой, хотя он подавил в себе всякие достойные чувства, предаваясь все более разнузданным оргиям, в которых даже я уже отказывалась принимать участие, он по-прежнему обожал маркизу дю Валь, но теперь то была страшная любовь, куда более омерзительная, чем просто греховная связь.

Увы! Я никак не могла предвидеть заранее, до чего этот человек с его безрассудным пылом и поистине ослиным упрямством способен дойти, свернув однажды на порочный путь, на который сама же его подтолкнула. И я первая испытала на себе последствия этого поворота: что ни день он доводил меня до полусмерти приступами неистовой ревности, хотя и не любил меня ни капельки.

Всего через полгода после событий, о которых поведал вам Гангерне, аббатом овладела навязчивая идея – стать любовником маркизы дю Валь. Для осуществления своего плана он заставил меня поступить к ней служанкой. Перед этим он переселил меня из родного квартала в небольшой домик на другом берегу, куда ежевечерне являлся, каждый раз одеваясь по-новому: то как обычный буржуа, то как военный, но никогда в одном и том же платье или мундире, поэтому никто не мог и заподозрить, что у меня проводит ночи один и тот же мужчина. Он держал меня взаперти, никуда не выпуская; он мог прикончить меня, так что никто и не заинтересовался бы, куда я подевалась. К тому же я боялась его до жути и не знаю, пошли он меня на смертельно опасное преступление, посмела бы я отказаться. Так что волей-неволей я согласилась на его предложение; не могу сказать, каким образом это ему удалось, какие набожные старушечки меня рекомендовали, но стоило мне представиться маркизе, как она тут же приняла меня на службу.

Почти сразу я заметила, что она несчастна и только вера в Бога служит ей прибежищем и утешением; она проводила все время в молитвах, соблюдала все религиозные обряды, ибо бедняжка не могла отвлечься и отойти хоть немного от грустных мыслей с помощью такого святого и сладкого для женщин занятия, как воспитание детей.

Луицци слушал девицу не только с интересом, но и с растущим удивлением, что не осталось незамеченным рассказчицей, и она продолжала:

– Не изумляйтесь, сударь; за те три года, что я прожила у маркизы дю Валь, я познала много разных вещей, и прежде неведомые чувства стали мне ясны как на ладони. Как я уже сказала, она была крайне несчастна, Бог не послал ей детей, ибо начиная с первой же ночи после свадьбы она держалась подальше от мужа, и ни разу он не посмел переступить порог ее спальни.

Да, господин барон, я поняла многое, но что больше всего меня поразило – как слова и манеры сохраняют изысканность и изящество, в то время как душа и тело целиком и полностью проедены пороками.

Несколько раз мне удалось прочесть письма, что заставлял меня аббат относить госпоже дю Валь, и, клянусь, никогда самая чистая и почтительная любовь не выражалась в таких нежных и чарующих словах. Я передавала эти послания маркизе, надеясь, что она их не прочтет. И она долго отказывалась даже дотрагиваться до них, но в конце концов бедняжка уступила моей настойчивости и взяла в руки конверт (а я обманывала ее из страха перед аббатом, сожалея в глубине души об успешности своих уговоров даже тогда, когда делала все, чтобы преуспеть).

Прошло три месяца, прежде чем маркиза пожелала прочитать одно из писем аббата; прошло еще три месяца, и она позволила кюре переступить порог своего дома; против своей воли я толкнула ее на грех, которого я из любви к ней страшилась куда сильнее, чем из-за морали, в которой меня воспитывали: меня нисколько не трогало, что у маркизы будет любовник, меня не смущала кощунственная связь со священником – я боялась, что она попадет в руки ничтожества, обладавшего всеми пороками в их самой грубой форме.

Одна только надежда теплилась во мне – надежда на твердость маркизы; мне казалось, что как только подлец попытается заговорить с ней на неуютном ей языке, она сумеет заставить его замолчать. К тому же я хорошо успела узнать маркизу и не представляла, какими средствами эта скотина сможет взять верх над добродетелью столь чистой и в то же время сильной духом женщины. Увы! Я совсем забыла, господин барон, что сама в свое время имела глупость преподавать ему урок...

– Как! – перебил ее Луицци. – Так он...

– Да, сударь, – продолжала Мариетта, – напившись вредных веществ в бокал с вином, он опоил ее, это святое и достойнейшее создание, и замутил ее разум, точно так же, как я напоила его и сбивала с толку когда-то; таким образом он сломил добродетель женщины, как я одолела

непорочность священника. Он отнял ее девственность у мужа, точно так же, как я отняла его невинность у Бога. Как это все подло! Не правда ли, господин барон?

Мариетта умолкла, а Луицци прикрыл руками глаза, словно защищаясь от яркого света. Они шагали рядом, не произнося ни слова. Так продолжалось довольно долго, как будто барону требовалось долгое время, чтобы осознать всю гнусность происшедшего. Наконец он ответил:

– Да! Отвратительно!

– Увы, – Мариетта понизила голос и приблизилась к барону, – это еще не все; вы не поверите, но, клянусь жизнью, прекрасная, юная, элегантная женщина, которая вращалась в самых блестящих кругах, оказавшись во власти аббата, стала искать забытие от греха, в который он ее вверг, прибегая к средству, что уже причинило ей столько несчастий! Стоило ей остаться одной, как она прикладывалась к крепкому ликеру; она находила бутылку, куда бы я ее ни прятала, и осушала ее, пока не падала без сил и без памяти; ибо она страшно терзалась, пока была в силах, а память приносила только мрачные угрызения и самобичевание. Так она прожила два года; я, как могла, опекала ее, пряча от любопытных глаз света и ее же семейства, и хотела бы уберечь и от вашего взора, господин барон; ибо однажды, в приступе горячего помешательства, которые иногда с ней случались, она заявила:

«Я должна избавиться от этого душегуба! Или он сведет меня в могилу! Поскольку у меня нет ни брата, ни мужа, которые могли бы вырвать меня из лап палача, то мне нужен еще один любовник. Сегодня утром наведаясь Луицци, а ведь он, кажется, любил меня, еще будучи совсем ребенком, и, наверное, сочувствовал и переживал, когда я выходила замуж; так вот, Луицци приходил сегодня поутру, и если он только сам того захочет, я полюблю его; ведь я еще достаточно хороша собой, чтобы ему понравиться, ведь так? О да! – продолжала маркиза, подняв глаза к небу и взывая к Богу – настолько мутился порой ее разум. – Да, я люблю его, и Ты смилуешься над моей несчастной душой, Ты простишь мне эту любовь, Боже, ибо если барон не пожелает снизить до моей любви, то я наплюю на Твое вечное проклятие и убью себя!»

А ведь она запросто могла выполнить свою угрозу, сударь, и потому я вас и ожидала у ворот ее дома, и проводила вас к ней незаметно для зорких глаз аббата, которого я видела прямо перед воротами, где вы должны были появиться; только поэтому я позволила вам пройти в молельню, превращенную священником в бордель. К тому же я оставила ее в совершенно спокойном и уравновешенном состоянии; я надеялась, что она выберет момент и осмелится рассказать вам обо всем, а у вас хватит великодушия, чтобы защитить ее и не терять ее более. Но... она воспользовалась той минуткой, на которую я ее оставила, чтобы, как она, бедняжка, говорила, подкрепиться и утвердиться в принятом решении. И когда она появилась в молельне, где вы ее ожидали, господин барон...

Мариетта умолкла, как бы не решаясь закончить фразу, и это сделал за нее Луицци:

– Она отдалась мне с иступленными рыданиями, причину которых я не понимал...

– Она была пьяна, господин барон, просто пьяна.

## VII

Едва Мариетта успела произнести эти слова, как раздался крик: «Поберегись!» – и почтовая коляска резво обогнала путников, заставив их отпрыгнуть в сторону. Барон заметил внутри коляски удобно расположившихся Фернана и Жаннетту. Фернан выглянул из-за бортика и, даже не подумав придержать лошадей, крикнул Арману:

– Не забудьте! Я доверил вам письмо господину де Марею – вернейшему из моих друзей!

Сверхъестественным образом Луицци заметил, что дьявольская мушка так и не отрывалась от носа Фернана; наоборот, в тот момент, когда молодой человек обратился к барону, она с особым рвением жалила его, трепеща крылышками от возбуждения.

Луицци настолько потрясло все услышанное и увиденное, что он дорого бы заплатил за минуту покоя. Меж тем, переговариваясь с Мариеттой, он добрался до высшей точки подъема, где пора было снова занимать места в карете. Луицци вдруг усомнился, что Сатана вмешивается в его жизнь только рассказами; у него даже возникло подозрение, что нечистый, утомившись работать языком, специально подсадил его в этот дилижанс, да еще в компании с Гангерне, бывшим нотариусом и Мариеттой; его подозрение перешло в окончательное убеждение, когда шустрый толстяк весело проорал:

– Ну вот! С каждым часом все интереснее! У нашего рыдвана полетела большая ось, так что придется проторчать здесь полдня! Но мы славно повеселимся в местной забегаловке! Тут полным-полно слегка протухших яиц для омлета, который мы не без удовольствия оросим картофельной самогонкой и великолепной бормотухой из виноградных отжимок!

– Ничего себе! – в сердцах воскликнул Луицци. – И что, с этой бедой никак нельзя справиться побыстрее?

– Да ради Бога! – ответил Гангерне. – Если вам не жалко уже уплаченных денег и вы не против потерять еще кругленькую сумму – то пожалуйста! Если вам угодно забыть о цене за место в дилижансе и залезть вон в ту почтовую берлину, у которой как раз меняют лошадей...

– Конечно, – нетерпеливо проговорил Луицци, – я так и сделаю, причем немедленно и за любую цену.

– Похоже, ваша кошелек слишком туго набит! – И Гангерне шутливо хлопнул барона по животу.

Луицци спохватился, что и представления не имеет, сколько у него с собой денег, и быстро обшарил карманы, в которых обнаружилась приличная горсть золотых монет. У него и мысли не возникло, что только недостаток денег, а не неведомые ему обстоятельства, рожденные дьявольскими кознями, заставил его воспользоваться дилижансом. Он сообразил также, что берлина оказалась здесь так кстати только по воле Сатаны и, твердо решив идти на поводу у нечистого, приказал выгрузить свои вещи; предварительно он проверил по списку кондуктора, из чего же состоял его багаж, абсолютно неизвестный ему до сих пор. Среди вещей обнаружилась незнакомая барону объемистая кожаная папка. Решив проверить ее содержимое, когда останется один в почтовой карете, он распрощался со своими спутниками, не забыв оставить Мариетте свой парижский адрес.

Наконец, в полном одиночестве, Луицци открыл папку и обнаружил, что, среди всего прочего, в ней находится несколько писем на его имя; он поторопился просмотреть их, тем более что все конверты оказались вскрытыми, как будто кто-то другой или скорее все-таки он сам уже читал эти письма. Первое, за подписью королевского прокурора округа N, содержало следующие слова:

«Господин барон,



Факты, сообщенные вами, настолько серьезны, что я считаю своей обязанностью доложить о них генеральному прокурору департамента Тулузы. Женщина, семь лет заточенная в темнице, так что никто не мог даже заподозрить этого, – такое преступление превосходит всякое воображение. Как только я получу от генерального прокурора распоряжения о дальнейших действиях, я немедленно вас извещу.

С уважением... и проч.».

– Ага! – довольно хмыкнул Луицци. – Похоже, я выложил всю подноготную капитана Феликса; посмотрим, что из всего этого вышло. – Он сунул руку в папку и достал следующее письмо, которое начиналось таким образом:

«Сударь, вы подлец...»

– А! Наверное, – предположил Луицци, – доблестного капитана возмутило, что я не захотел оставить безнаказанным его проделки! – Не задерживаясь на этой приятной идее, Луицци продолжил чтение:

«Вы вынудили меня убить невинного юношу и опозорили женщину, носившую мое имя; если вы не трус, то немедленно должны ответить мне за свое недостойное поведение.

*Дилуа».*

Эти строки озаботили Луицци куда сильнее, чем первое письмо, и он загорелся желанием узнать, как же он ответил на вызов. В поисках письма, которое поведало бы ему, что получилось из этого дела, он обшарил всю папку, но не нашел больше ничего, кроме старых счетов и докладов управляющего. При беглом рассмотрении ему показалось, что все это время он вовсе не пренебрегал своими денежными интересами, действуя весьма удивившим его самого образом. Перебирая и пробегая глазами многочисленные документы, барон обнаружил лист бумаги, обгоревший так, как будто его вырвали из пламени в тот момент, когда он уже схватился огнем:

«...перед смертью несчастная Люси открыла мне тайну моего рождения; и так случилось, что именно вы, вы, Арман, погубили и обесчестили меня. Небеса справедливы.

*Софи Дилуа».*

Новые сведения, почерпнутые Арманом из собственных документов, окончательно завели его в тупик того немыслимого лабиринта интриг, в который он попал; в пору было приывать Сатану для очередных объяснений; но, во-первых, барон не был в полной уверенности, что Дьявол разъяснит все без обиняков, и, во-вторых, ему требовалась хоть небольшая передышка от непрерывных треволнений последних часов. Он решил отложить все дела до прибытия в Париж: там он и узнает, что вышло из его доноса на семейство Буре, каким образом он ответил на вызов господина Дилуа и почему госпожа Дилуа называла его по имени, будто он был ей братом... или любовником?

– Вот это да! – Мелькнувшая фантазия весьма польстила самолюбию барона. – Забавно, если в тот отрезок жизни, из которого я ни черта не помню, мне удалось добиться близости с госпожой Дилуа; а что, я еще и не на такое способен! Может, я стал вымаливать прощение за глупую несдержанность и получил нечто большее? А ведь она хороша и мила, как ангел, эта госпожа Дилуа; и я, должно быть, славно провел время... Дьявол, как же все это случилось? Какое гнусное положение! Не иметь ни малейшего воспоминания о счастье, очевидно, полном упоения, если учесть, сколько зла я причинил женщине...

Луицци остановился на этой мысли и, захваченный ею, продолжал беседовать сам с собой:

– Черт возьми! Хотел бы я однажды подарить себе такое счастье... Обладать женщиной, оскорбив перед тем ее самолюбие, разрушив ее любовь и положение в обществе, – вот поистине восхитительный триумф! И если когда-нибудь мне удастся разыскать госпожу Дилуа, то я непременно затащу ее к себе... Впрочем, только если это уже не произошло.

И он воскликнул с досадой:

– И правда, жаль! Дьявол меня побери со всеми потрохами, если я отдам ему еще хоть один день моей жизни, пусть он даже предложит мне рассказать истории столь же ужасающие, как у преподобного Матюрена, или столь же тоскливые, как у господина де Буйи.

– Я запомню твои слова, – раздался вдруг голос, прошедший от одной портьеры кареты к другой и до такой степени напугавший Луицци, что еще добрых два часа он не смел ни пошевелиться, ни молвить хоть слово ни вслух, ни про себя.

Меж тем путешествие барона продолжалось без каких-либо серьезных неприятностей, и двадцать пятого февраля 182... года он прибыл в Париж, полный решимости выбросить из головы все случившееся в Тулузе, вернуться к своей обычной жизни и предоставить судьбе раскрытие тайны событий, свидетелем и участником которых он стал с тех пор, как повелся с Сатаной.

Еще одно казавшееся ему неколебимым решение состояло в том, чтобы как можно реже вызывать Дьявола, а главное – ни под каким предлогом и ни для какой цели не пользоваться полученными от него сведениями; и чтобы не нарушить эту договоренность с самим собой, он обещал себе не общаться ни с кем из своих недавних попутчиков.

Луицци подумывал окунуться в привычную для молодого холостяка парижскую круговорот и для того возобновить прежние парижские знакомства. И чтобы не нарушить данное себе слово, вечером после приезда он ограничился лишь отправкой по назначению писем Фернана, и в первую очередь того, что было адресовано господину де Марей, поскольку об этом послании ему напомнили особо.

Луицци рассчитывал таким образом избежать ненужных встреч и потому весьма удивился, когда на следующее же утро лакей доложил о визите господина де Марей. Гость показался Луицци красавцем щеголем – не больше; барон без излишних подробностей, сухо поведал ему про знакомство с Фернаном и дуэль. Но где-то было предreshено, что Луицци не удастся так легко, как он думал, порвать ту невидимую нить, которая связывала его с Дьяволом. И вот господин де Марей, друг одержимого бесом Фернана, воспылал небывалыми дружескими чувствами к Арману, и поскольку бедняга барон, как человек светский, не умел отделяться от надоедливых типов, то он позволил новому знакомому увлечь себя на весь день в Парижское кафе, в Итальянский театр, в парк, одним словом, туда, где любят проводить время холостые господа.

Он позволил также препроводить себя в дом, где принимали господина де Марей, и вскоре пришел к выводу, что благодаря чудесному стечению обстоятельств познакомился с очень богатым, очень знатным и весьма недалеким малым, способным вести его в гостиные, где Армана до сих пор никто не знал и посещение которых создаст ему репутацию человека добропорядочного и во всех отношениях безупречного.

Луицци не подозревал, что в этом кругу, так же как и в любом другом, он столкнется с событиями, которые только распалят его любопытство и бросят в лапы Сатаны, и что в его положении лучше было бы иметь дело с откровенным пороком, чем с гнусностями, которые прикрываются лицемерием и ложным подобием добродетели. Стоит, однако, заметить, что Луицци еще не задумывался об истинной цели своего договора с Дьяволом и что исключительная судьба не поставила его вне всеобщего для людей закона, который гласит, что нужно прожить жизнь, прежде чем о ней судить, и осилить дорогу, прежде чем ее выбрать.

Происшествие, из-за которого возобновились регулярные свидания Луици с его наставником, не заставило себя долго ждать.

## VIII ТРИ КРЕСЛА

Два дня спустя после прибытия в Париж Луици вступил в малоизвестный в Париже круг людей, а именно в круг закулисных финансовых воротил. Поймите меня правильно: речь идет не о финансистах-либералах времен Реставрации, соревнующихся в богатстве с несметными состояниями аристократии, не о новоиспеченных богачах, отделывающих шелками и золотом свои апартаменты, где после особенно удачных сделок происходят грандиозные торжества с участием брокеров и менял, не о той новоявленной знати, которая, желая создать фамильную галерею, просит запечатлеть себя на охоте, не стесняясь к портретам членов семьи добавить изображение кучера или пса, не о тех нуворишах, чьи многочисленные драгоценности, нагроможденные в несколько этажей на их разодетых и кичливых женах, никогда не придадут им того очарования и величия, которых истинная аристократка добивается одним наклоном головы, а артистка Оперы – тоненькой ленточкой, с любовью вплетенной в волосы. Мы говорим о людях, сколотивших свои капиталы гораздо раньше; они начали наживаться еще при Директории, вовремя присоединившись к крайне приятному поглощению государственной собственности и прочих радостей жизни.

В самом деле, Франция, пришедшая к Директории через ужасы революции и террора, явно походила на войско, с боями пересекшее страну, изрезанную гибельными пропастями и ошетилившуюся штыками вражеских засад; эта армия, потеряв в сражениях лучшую часть своего авангарда, прорвалась наконец в дружественный город, где оказалась в сытости и безопасности и получила, хоть и ненадолго, передышку. Бог мой, какое блаженство вновь обнять друзей, гулять всюду, пить и есть до отвала, смеяться и обниматься, танцевать – руки вверх, руки вниз, все враз и все вместе, не заботясь о туалетах, манерах и поступках, не обращая ни малейшего внимания на косые взгляды и сплетни, ибо все вокруг вовлечены в ту же круговорот.

Все носятся, бегают и суетятся под бравурные марши оркестра, под звон бокалов и золотых монет на игорном столе; грандиозный карнавал, чудесный разгул, когда память служит оправданием и защитой от воспоминаний, ибо если бы вас попробовали уязвить: «Ну и набрались же вы вчера!» – то вы преспокойно бы отпарировали: «Да-да, припоминаю, вы упились в стельку».

И если бы одна женщина вздумала заметить другой:

«Ваш наряд вчера в Опере выглядел весьма вольно...» – то другая, нимало не смущаясь, возразила бы: «А вы появились в Лоншане чуть ли не в одной сорочке...»

А если бы первая спросила: «Что, малыш Трени стал вашим любовником?» – то ей бы ответили таким образом: «Я же не у вас его увела!» – и т. д и т. п.

И тысяча других, совершенных в безумном упоении поступков, которые мы оставим на совести этих дам, большей частью превратившихся в безобразных, набожных и добродетельных старух.

Произошло же все следующим образом.

В то прекрасное время, столь прозрачное и откровенное, в страну возвратились полчища эмигрантов. Многие из них были еще слишком юными, когда покидали Францию, и большинство провело самое золотое время, от восемнадцати до двадцати пяти лет, в лишениях, нищете и подчас в плохой компании. С необычайным рвением новоприбывшие устремились в этот феерический мир, что давал возможность прикоснуться к столь недостижимой ранее полуобнаженной роскоши Оперы. А денег-то им явно не хватало; их состояния, потрясенные, а то и разрушенные конфискациями, еще не были восстановлены или возвращены. И потому они занимали у мужей, чтобы потратиться на жен, закладывая свое будущее, чтобы позолотить настоящее.

Позднее, когда всеобщий угар несколько развеялся, когда классы начали оформляться, а капиталы, укрепившись, разложились по полочкам, дворяне Сен-Жерменского предместья не смогли полностью порвать со своими кредиторами, задолжав им, с процентами, огромные суммы. Можно моментально пустить на ветер миллионы, но отдавать их – ох как это непросто и нескоро! Возврат долгов пережил Империю. Финансовые воротилы времен Директории малопомалу отошли от дел, плавно перепоручив их смекалистым маклерам, использовавшим сей источник для накопления того капитала Реставрации, о котором говорилось выше, но так и не приняли ни невежества, ни нравов этих лавочников.

Привыкнув к громким именам и к огромному политическому влиянию, они решились допустить в свои гостиные только самых знаменитых биржевиков и толстосумов, и в результате у них собирались как люди, чьи предки сотворили древнюю Францию, так и создатели ее новейшей истории. Позднее, в эпоху Реставрации, эта финансовая верхушка полностью повернулась в сторону Сен-Жерменского предместья и связалась с дворянской элитой самыми тесными узами, быстро переняв у нее надменность, огромные претензии и, в частности, роскошно обставляемую и чисто внешнюю благочестивость. Правда, в этом обществе редко появлялись истинные аристократки, но зато часто попадались мужчины наивысшего света, которые сохранили деловые или дружеские связи с капиталистами этого круга. Во многих семьях подрастали прелестные девушки и юные красавцы, обладавшие очертаниями лиц и рук древнего дворянского рода, несмотря на то что титула графа или барона их папаша удостоился подчас только при Империи, и сиятельные вельможи принимали в них интерес с таким само собой разумеющимся покровительственным превосходством, что никому и в голову не приходило доискиваться до его причин.

Итак, из всех гостиных, что казались Луицци подходящими для становления необходимой ему чистейшей репутации, он предпочел дом госпожи де Мариньон или просто Мариньон – как говорили те, кто удостоивался чести быть принятым в ее доме или оказывал ей честь своими визитами. Госпоже де Мариньон в то время (182... год) было от пятидесяти до шестидесяти лет: очень высокая, довольно стройная, хотя и изрядно костлявая, с прекрасно сохранившимися зубами, пергаментным лицом, в неизменном чепце, изысканно открывавшим седые, тщательно уложенные волосы, со сверкающими глазами, острым носом, тонкими губами, всегда туго зашнурованная и стянутая, она никогда не украшала себя ничем, кроме как душегрейкой из великолепной ткани всегда одного и того же покроя; она столь открыто признавала себя пожилой женщиной, что мужчины уважали ее за силу воли, а ровесницы ненавидели всей душой. Злые язычки ехидно замечали, что добровольный отказ от каких бы то ни было притязаний не совсем искренен, что таким образом госпожа Мариньон (здесь предлог «де» обычно опускался) только мстит тем, кто, в отличие от нее, сумел сохранить свои прелести и, несмотря на возраст, еще пользуется успехом.

Госпожа де Мариньон устраивала многолюдные приемы, благодаря чему Луицци получил возможность завязать ценные знакомства и теперь с полным правом приветствовал у Итальянцев или в Опере самых блистательных господ из тех, что занимают наилучшие ложи. В целом же в этом доме царили весьма строгие порядки: например, музыка исполнялась только профессиональными артистами, ибо госпоже де Мариньон, у которой подрастала необычайно талантливая дочка ослепительной красоты, самодеятельность представлялась опасной. Платные певцы развлекали приглашенных, которым возбранялось развлекать друг друга собственными силами. Желавшие играли в вист по пятьсот франков на кону, но хозяйка никогда не потерпела бы крупного проигрыша; здесь часто давали обеды, редко танцевали и никогда не ужинали.

Все в этом доме казалось столь упорядоченным, правильным и выдержанным, что Луицци пока не приходило в голову разузнавать о каких-либо тайнах общества, в которое он, человек совершенно новый, вошел как по маслу благодаря своей знатности, состоянию и

великолепным манерам. Но одно маленькое событие разбудило его любопытство и заставило взяться за колокольчик из потустороннего мира.

Однажды вечером, прямо во время арии, которую исполняла госпожа Д..., в дверях гостиной неожиданно, запретив слугам докладывать о себе, появилась женщина лет тридцати; мужчины, толпившиеся у дверей, посторонились, и она прошла к просторному полукругу кресел, из которых незанятым оставалось только одно, напротив пианино. Незнакомка, сделав знак извинения госпоже де Мариньон, кивнувшей ей не вставая и с явным раздражением, пересекла салон и села на свободное место.

Луицци заметил, что появление женщины произвело определенный эффект, от него не укрылась также ее резкая бледность, заметно увядающая красота и совершенная элегантность.

Но куда большее впечатление на него произвел тот факт, что две дамы, сидевшие справа и слева от кресла, к которому направилась новая гостья, тут же поднялись и быстро прошли в соседнюю комнату, где уединились картежники. Музыкальная пьеса еще не закончилась, и потому оскорбление было очевидным. Оглушительный скандал разразился при полном молчании действующих лиц, спрашивающих и отвечающих друг другу только при помощи взглядов; забытая слушателями певица механически закончила арию.

Прозвучал последний такт, и госпожа де Мариньон также вышла, чтобы присоединиться к двум женщинам, так жестоко оскорбившим вновьприбывшую. Как хозяйка дома, она вполне могла бы все загладить, присев рядом с обиженной и поболтав с ней несколько минут о том о сем; но, несмотря на ее заметную и крайнюю досаду, казалось, даже в собственном доме она не смела взять на себя такую ответственность.

Луицци уже был отдаленно, то есть самым обыкновенным для великосветских салонов образом, знаком с женщинами, позволившими себе столь странную выходку. В кресле справа только что сидела сорокапятилетняя баронесса де Берг, известная своей фанатичной набожностью и тесным общением с церковниками, бывшими в моде; она славилась своей благотворительностью, поддержкой учебных заведений и безупречным образом жизни. С другой стороны сидела госпожа де Фантан. Ей было пятьдесят лет, но, несмотря на возраст, она была на удивление миловидна – настолько, что в открытую кокетничала своими годами. О ней практически ничего не было известно, если не считать того, что все знали о ее крайне неудачном первом замужестве, в результате которого она рассталась со своими детьми. Поговаривали также, что союз с господином де Фантан навряд ли утешил ее после несчастий первого брака, и удивлялись, что пролитые слезы не оказали никакого воздействия на ее внешность. Ко всему прочему к ней, как и к госпоже де Берг, все испытывали глубочайшее уважение за героический стоицизм, с которым они сносили все беды, а также за великолепное воспитание, данное ими своим отпрыскам: у баронессы был сын, а у госпожи де Фантан – дочь.

Луицци решил оставить пустые размышления на сей предмет, правильно полагая, что ничего интересного в этом направлении не разумеет, и самым непринужденным тоном, каким только ему удалось, спросил у ближайшего соседа, кто же эта гостья, так оскорбительно брошенная между двумя опустевшими креслами.

– Силы небесные! – услышал он в ответ. – Это же графиня де Фаркли.

– Но я ее не знаю...

– Внебрачная дочь маркиза д'Андели.

– А-а! – протянул Луицци с видом человека, не узнавшего ничего нового после содержательной лекции.

– Да-да, – его собеседник уже начал терять терпение, – та самая Лаура де Фаркли, о которой так божественно говорят: «Кто хочет лавров, ищите Лауру». Вам ясен каламбур?

– Вполне. Мне кажется, история ее похождения была бы очень занятна...

– Да вам все ее расскажут!

– Именно, именно так, – в разговор вмешался известный в то время щеголь, славившийся идеальными стрелками, складками и узлами своих туалетов. Он говорил, не поворачивая головы, словно застыл в ошейнике накрахмаленного белого галстука. – Вы справедливо полагаете, что ее историю могут рассказать только все, все вместе, ибо никто не знает ее целиком.

– Но, – возразил первый собеседник Луицци, – вот вам, пожалуйста, пример: господин Косм де Марей. Он был, говорят, ее любовником и, я думаю, в состоянии дать нужные сведения барону.

– Ба! – фыркнул другой. – Косм, как и все остальные, знает только своего предшественника и последователя...

– А может быть, и напарника...

– Весьма возможно, но он не принадлежит к людям, строго ведущим учет; и он не столь силен в арифметике, чтобы делать сложные подсчеты.

– Но я хотел бы тем не менее его выслушать... – настаивал Луицци.

– Ах, дорогуша, – воскликнул один из фатов, – уж лучше я перескажу вам «Тысячу и одну ночь». К тому же, еще раз позволю себе повторить, что никто, кроме самой госпожи де Фаркли, не поведаст вам ее историю; а для верности ей нужно каждое утро выпускать новое издание своих походов, исправленное и, главное, дополненное.

Луицци пропустил мимо ушей последнюю прелестную шуточку, ибо, когда ему объявили, что только сама госпожа де Фаркли может поведать ему о себе, тут же понял, что самым полным образом узнает все от того, кто столько раз удовлетворял его любопытство.

Но, чтобы этот новый опыт принес ему больше пользы, чем предыдущие, Луицци решил сначала узнать о госпоже Фаркли от нее самой. Ему хотелось услышать, что и как она будет говорить о себе. Он полагал, что, станет ли эта женщина бравировать своим постыдным поведением или же попытается скрыть его под лживой маской и сделать вид, что оскорбления ею не заслужены, другого такого случая, чтобы исследовать порок в его наивысшем развитии, ему может не представиться.

Не откладывая дела в долгий ящик, барон пересек заполненную мужчинами гостиную и, раскланиваясь с женщинами, мало-помалу приблизился к госпоже Фаркли и сел рядом с ней. Женщина не могла не посмотреть на того, кто занял пустующее место. Этот жгучий взгляд, быстрый и пронизывающий, внушил Луицци какой-то необъяснимый страх; ему показалось, что уже не первый раз он испытывает на себе чары этих глаз, у него даже мелькнула мысль, что он видел это бледное и утомленное лицо тогда, когда оно было еще юным и непорочным.

Однако, покопавшись в памяти и не найдя ничего связанного с этим мелькнувшим видением, барон решил завязать разговор, благо зазвучавшая в это время музыка служила вполне естественным предлогом для начала беседы. Не успел Луицци произнести первую, ничего не значащую фразу, как в гостиной вновь появилась госпожа де Мариньон. Когда она увидела барона рядом с госпожой Фаркли, на ее лице невольно отразилось чувство явного недовольства. Тем не менее она подошла к госпоже Фаркли и сказала совершенно непринужденно:

– А я вас ищу, милая моя госпожа Фаркли! Хотела бы спросить, что вы думаете об этой кашемировой шали, которую я собираюсь подарить племяннице: у кого еще такой изысканный вкус, как у вас! Никто лучше вас не понимает в этом деле!

– К вашим услугам.

– Я злоупотребляю вашей любезностью...

– Ну что вы, вовсе нет.

– Да, кстати, а как поживает господин д'Андели?

– Как всегда, сударыня, как счастливый человек.

– Он постарел?

– О да, ровно настолько, чтобы продолжать веселиться ночами напролет на балах; сегодня он ждет меня в Опере.

– Вот кого называют настоящим отцом!

– Да, поистине, он замечательный!

Во время этого короткого разговора госпожа Фаркли, засобиравшись, взяла с кресла шарф, веер, букет – весь этот очаровательный арсенал женщины в бальном наряде. Как только она покинула гостиную вместе с госпожой де Мариньон, как явились госпожа де Фантан и баронесса дю Берг; вскоре вернулась и госпожа де Мариньон, но уже одна. Нельзя прогнать незваную гостью более откровенно, чем это было сделано с госпожой Фаркли. Луицци оставался на месте и поднялся из кресла только при виде пожилых недотрог. Те поблагодарили его за любезность так сухо, что он никак не мог сомневаться в неуместности своего поведения. А госпожа де Мариньон выразила вслух то, о чем говорили гневные взгляды ханжей; проходя мимо Луицци, она как бы невзначай обернулась с видом презрительного удивления:

– Как! Вы еще здесь? А я думала, вы давно в Опере, на свидании...

Эти слова загнали Луицци в тот тупик, который подчас превращает мужчину в самого злобного из всех существующих на свете зверей.

Поначалу он всей душой воспротивился грязному обвинению, брошенному госпожой де Мариньон в адрес госпожи де Фаркли.

«Ничего себе! – возмутился он про себя. – Старая карга полагает, что этот весьма безразличный ответ на весьма безразличный вопрос является приглашением? Она хочет сказать, что я могу найти госпожу де Фаркли этой ночью в Опере и, мало того, – мне назначено свидание! Да нет же, не может быть; не существует женщины, способной на подобное бесстыдство! Госпожа де Мариньон ослеплена предубеждением, заставляющим ее придавать гнусный смысл самым невинным словам. Поведение госпожи де Фаркли могло быть довольно легкомысленным, в какой-то мере даже предосудительным, но чтобы бросаться на шею первому встречному – нет, от этого она очень далека! Госпожа де Фаркли и так достаточно молода и элегантна, чтобы быть уверенной в своей желанности и привлекательности. Она никак не заслуживает таких упреков, ибо, в конце концов, она увидела меня в первый раз... Я для нее не более чем ничего не значащий незнакомец...»

Поток благих мыслей, переполнявших разум Луицци, вдруг разом прекратился – он заметил, что все вокруг шушукаются, явно обсуждая именно его, барона, поведение; и мысли его круто повернулись.

«А, черт! – воскликнул он про себя. – Какой я глупец! Неужели я один приписываю женщине скромность, которая вовсе ей не свойственна? Неужели и на этот раз, как уже бывало, я упущу возможность провести несколько часов в свое удовольствие из-за моего слишком доброго мнения о других и боязни дурной славы? Слишком часто я обманывался ложными подобиями добродетели! Хватит щепетильных сомнений, которые исходят от меня самого, ни от кого более! И для полной ясности – марш в Оперу!»

Сколько бахвальства породила в мужских сердцах эта боязнь остаться в дураках! Сколько раз она заставляла мужчин идти на подлое и трусливое предательство там, где они могли не поступаться своей честью! Покинув салон госпожи де Мариньон, Луицци совершил одну из таких низостей, придав нелестным домыслам о женщине определенность и достоверность. Все слышали слова хозяйки гостиной; за Луицци следили, и один из тех хлыщей, что так мило рассуждал о госпоже Фаркли, притворившись, что также покидает вечеринку, пропустил барона вперед и отчетливо услышал, как выездной лакей прокричал кучеру: «В Оперу!» Бездельник тут же вернулся и поведал об этом компании из четырех или пяти близких друзей, захохотавших достаточно громко для того, чтобы общество заинтересовалось причиной столь неуместного веселья. Вначале они отнекивались:



– А, да так, ничего! Глупая шутка, только и всего! Бедный Луицци – у него был столь торжествующий вид... Славный малый, честно говоря, но не более того...

– Что-то случилось? – заинтересовалась госпожа де Мариньон.

– А, да так... Не стоит и повторять.

– Вы говорили о господине де Луицци?

– Не более чем о других.

– Что, он уехал?

Один из весельчаков утвердительно кивнул, столь многозначительно ухмыльнувшись, что вся компания заново покатила со смеху.

– Но в чем дело, в конце концов? – продолжала настаивать госпожа де Мариньон.

– Он отправился на бал в Оперу, – ответил тот же господин, нажимая на каждый слог, чтобы придать своим словам совершенно определенный смысл.

– Какой ужас! – с негодованием воскликнула госпожа де Мариньон. – Какой скандал!

– К тому же дурного тона, – добавил Косм де Марей.

– Да! – обернулась к нему госпожа де Мариньон. – То ли дело вы, вы хоть как-то прикрывались...

– Да что вы! Чистая клевета, истинный Бог! – фатовски подбоченился де Марей.

– Я клеветшу? Вы еще смеете отрицать?

– Ну, нет! – заступился за товарища один из его друзей. – Вы клеветеете на него только в том, что он что-то скрывал: де Марей никогда не прятался!

– Ах, господа, господа! – произнесла госпожа де Мариньон тем тоном, что состоит из показного возмущения и тайного удовольствия, которое доставляет старой притворщице злословие, достигшее цели.

Она вернулась к своим подругам, и между ними завязался оживленный разговор, к которому поспешили присоединиться еще несколько гостей; по мере того как госпожа де Мариньон переходила от бесстыдного приглашения госпожи Фаркли к поспешному отъезду господина де Луицци, удивление выражалось все более резкими восклицаниями. Самые строгие судьи использовали в отношении изгнанной гостьи словечки, которые можно услышать разве что в подворотне. Если бы Луицци стал свидетелем этой беседы, то сделал бы небольшое открытие, а именно он узнал бы, насколько преувеличено мнение о сдержанности в выражениях в определенных кругах. Так, женщина, которая и слушать не станет лишь слегка вольную историю, окутанную туманом самых изысканных слов, снесет и даже сама ввернет куда более крепкие словечки, если нужно оскорбить другую женщину или заклеить порок. В данном случае добродетель госпожи де Фантан позволила ей зайти так далеко, как только возможно.

– Да-да, – поддакнула она госпоже де Мариньон, – похоже, эта дамочка пришла сюда, чтобы заняться делом, привычным для некоторых особ в местах общественных гуляний.

– Но, сударыня... – возразил было мужчина, достаточно немолодой для того, чтобы помнить госпожу де Фантан еще совсем юной.

– Да-да, сударь! – воскликнула госпожа де Фантан, раздраженная тенью несогласия со справедливостью своего приговора. – Да, сударь, госпожа де Фаркли пришла в эту гостиную, чтобы заняться здесь...

– Ой-ой-ой! Не говорите так, – продолжал пожилой мужчина, заглушая своими восклицаниями роковое слово, которое, хотя и не было услышано, было тем не менее произнесено.

Впечатление от этих событий в гостиной госпожи де Мариньон было столь сильным, что, как ни старались певцы, сменявшие друг друга за роялем, их так никто и не услышал. Может ли даже самая чудесная музыка соперничать со злыми языками?

И тем не менее здесь произошло нечто совершенно необычайное.

Когда всеобщие пересуды достигли своего апогея, за роялем появился мужчина, одетый во все черное, с худым и скуластым лицом, выпуклым, узким лбом, тонкими насмешли-

выми губами и глубоко запавшими, хищно блестящими из-под густых бровей глазами. Как только он дотронулся до клавишей, все немедленно обернулись к нему. Словно по струнам инструмента ударили железным когтем, а не молоточками, обитыми войлоком. Рояль кричал и скрежетал под страшными пальцами. Вид пианиста приковал всеобщее внимание, вызванное вступлением; и тут насмешливо-зловещий голос заставил слушателей слегка содрогнуться – он начал арию о клевете из «Севильского цирюльника».

Слово «клевета» прозвучало со столь мощным сарказмом, что все разом, как по мановению руки, умолкли. Певец продолжал с дикой мощью органа и столь язвительной интонацией, что все общество замерло в неподвижности. Во время пения он не сводил пронзительного взгляда с главной троицы, состоявшей из баронессы дю Берг, госпожи де Фантан, снова занявших свои кресла, и госпожи де Мариньон, севшей на место госпожи де Фаркли словно для того, чтобы очистить его от грязи, – так воздвигают крест на месте кровавого преступления.

Этот насмешливый, оскорбительный взгляд, казалось, настолько напугал госпожу де Мариньон, что она вжалась в спинку кресла, судорожно вцепившись скрюченными пальцами в подлокотники. Она как будто опасалась, что грозный музыкант выстрелит в нее из немигающих глаз огненной стрелой, которая пригвоздит ее к месту. Наконец, когда певец перешел к заключительной части арии, последняя фраза которой с такой энергией живописует крик боли оклеветанного и злорадство клеветника, он придал своим словам настолько жуткое выражение, а голосу – настолько потрясающую мощь, что задрожала хрустальная посуда и сердца слушателей затрепетали. Всеми завладело чувство неизъяснимой тревоги и какого-то напряженного ожидания.

Прогремел финал, и в гостиной на несколько мгновений воцарилась мертвая тишина, певец быстро раскланялся и скрылся за дверью.

Вместе с ним улетучились и чары; госпожа де Мариньон вскочила и, обратившись к музыканту, руководившему организацией концерта, спросила, кто выступал. Тот не сказал ничего осмысленного, а только предположил, что этот человек был любителем из гостей самой же госпожи де Мариньон. Тогда хозяйка салона поинтересовалась у присутствующих, не привел ли кто-нибудь из них неизвестного до сих пор артиста, желая вывести его в свет. Но никто его и знать не знал. Бросились за ним – но поиски закончились неудачей, а с пристрастием допрошенные лакеи заявили, что в течение последнего получаса никто из гостиной не выходил. Все встревожились, и, пока гости пребывали в состоянии смутного беспокойства, слуги обыскали весь дом, но безуспешно. Тем временем госпожа де Мариньон не переставала спрашивать у окружающих:

– Но кто же этот странный певец?

– Честное слово, – сказал один из упомянутой выше компании хлыщей, – это, должно быть, какой-то искуснейший мошенник...

– Если только не сам Дьявол! – пытаюсь развеселить компанию, жизнерадостно прокричал старикан, которому недавно никак не удавалось заткнуть поток фантазий госпожи де Фантан.

Простое предположение, такое обыденное и спокойно принимаемое, как правило, в любой беседе, вдруг заставило побледнеть госпожу де Мариньон, и в необычайном волнении она обронила:

– Дьявол? Какая мысль...

И она поспешила удалиться. Минуту спустя дворецкий объявил, что хозяйке нездоровится. Комнаты быстро опустели, и гости разъехались с необычайной тяжестью на душе.

Тем временем Луици оказался на маскараде в Опере – на этом поле битв между красивыми частями тела, ибо где, как не здесь, в самом деле побеждают гибкие и тонкие талии, стройные ножки и изящные ручки.

Создано немало легенд о страстях, порожденных этими второстепенными прелестями и мгновенно скончавшихся при виде малосимпатичного, разрушающего все прекрасные мечты лица. Но, с другой стороны, только на маскараде мужчина может испытать необыкновенные чувства – если раньше он отворачивался от женщины с некрасивым лицом, то теперь он обнаруживает в ней чарующие детали, которых раньше не замечал.

Насколько такая женщина в гостиной уступает соперницам, чьи совершенство и свежесть затмевают неправильные черты или не совсем чистый цвет ее лица, настолько она превосходит их на балу в Опере, где взоры мужчин, не в силах проникнуть сквозь маску, ищут и находят достоинства, которыми, как правило, пренебрегают. Все это в какой-то мере испытал и Луицци. Женщина в домино резко остановилась при встрече с ним и пристально вгляделась в его лицо. Всего несколько секунд, и маска последовала за чередой фланирующих. Луицци стоял у входа в фойе Оперы, а домино прогуливалось по коридору, идущему вдоль лож бенуара. Луицци не спускал с нее глаз, восхищаясь плывущей обворожительной талией. Маска обернулась на Луицци, и гибкий стан женщины мягко изогнулся подобно шелковой нити. Луицци застыл на месте, желая получше рассмотреть маску, когда она будет возвращаться. Нельзя было не залюбоваться ножками женщины: точеные и стройные, они просвечивали сияющей белизной сквозь черный шелк чулок, легко и упруго вышагивая в свободных атласных туфельках; лента, которая обвивалась вокруг лодыжки, открывала плавные округлости ниже колен. Женщина прошла несколько раз перед алчно пожиравшим ее глазами Луицци. Мягкая, слегка покачивающаяся походка, изящная талия, изысканность всей ее внешности настолько поразили барона, что он невольно сделал шаг, чтобы получше все разглядеть. Незнакомка заметила его и, словно опасаясь быть узнанной, резко прижала болтающееся кружево полумаски к лицу. Ее руку стягивала перчатка, но эта белоснежная перчатка, резко выделявшаяся на фоне черного костюма, только подчеркивала утонченность и элегантность ее праздных рук. Луицци, ошеломленно спрашивая себя: «Кто же эта красавица?» – застыл на месте, пока она ходила туда-обратно мимо него. В конце концов до него дошла вся смехотворность такого неприкрытого и нескончаемого внимания, и он собирался уже сдвинуться с места и заняться поисками госпожи де Фаркли, как вдруг маска оставила прогуливавшегося с ней мужчину и быстро подошла к Луицци; приподнявшись на носках, она совсем тихо спросила:

– Вы ведь господин де Луицци, да?

– Да.

– Ровно в четыре я буду ждать вас в фойе под часами; нужно поговорить.

Луицци не успел ничего ответить; знакомка быстро удалилась, а тут как тут возникший Косм де Марей уже ядовито скалил зубы:

– Ну-с, и во сколько же вас ожидает это наслаждение?

– Какое еще наслаждение?

– Черт вас разорви! То самое, что собирается вам дать госпожа де Фаркли.

– Как?! Так это была госпожа де Фаркли?

– Собственной персоной.

– Но в салоне госпожи де Мариньон она произвела на меня более чем спорное впечатление, а здесь...

– Здесь она неотразима, не правда ли? О да, и прекрасно это осознает; потому-то она и назначает свидания в Опере. Вот вы и попались!

– Кто, я?

– Ладно! Не стройте из себя скромника! Похоже, ваши шансы весьма высоки. Госпожа де Мариньон просто в ярости; но поскольку вам все равно уже не бывать у нее, то я бы посоветовал вам соблюдать пунктуальность с Лаурой, она не любит ждать; к тому же она многого стоит, слово чести!

– Вы так полагаете?

– А как же! Все так говорят.

Косм удалился, и Луицци разыскал глазами госпожу де Фаркли. Она спускалась по одной из лестниц, что ведут в зал; свет люстр высветил ее во всем великолепии. Кто-то обратился к ней на ходу; она обернулась для ответа, и в это мгновение Луицци опять изумился гибкости, изысканности и грациозности ее движений. Арман снова повторил про себя: «Да она просто восхитительна!» Затем он взглянул на часы: едва-едва пробило половину второго, и предстояло еще целых два с половиной часа ожидания! Луицци почувствовал нетерпение, удивившее его самого.

«Ну вот! – подумал он. – Что это я так разволновался из-за женщины? Неужели она так крепко забралась в мое сердце? Может, я влюбился? В женщину, принадлежавшую чуть ли не всему свету, так что едва ли не постыдно обладать ею, а впрочем, и не обладать тоже? С ума сойти! А меж тем у меня еще довольно много времени, чтобы стоять здесь, как вкопанному болвану, и смотреть на нее! Нужно найти какое-нибудь занятие».

В это время госпожа де Фаркли вновь прошла мимо него, подмигнув с заговорщическим видом. И снова она показалась ему необычайно грациозной, и сердце его неровно забилося.

«Что ж! – продолжал он диалог с самим собой. – Участь моя решена: фаворит на один вечер. И пусть! Но я не хочу показаться ей таким же неуклюжим, как другие; она крепко запомнит эту интрижку! Мои предшественники едва ли в курсе всех ее приключений; должны же быть у нее и совершенно тайные связи! И я заставлю ее раскрыться, но предварительно позволю ей думать, что она имеет дело с простачком!»

Немедля он выбрался из толпы, достал магический колокольчик, встряхнул, и вот уже с ним под руку идет некий господин в черном...

– Я здесь, – проговорил Сатана. – Что ты хочешь?

– Я хотел бы знать историю женщины...

– Которую с таким позором прогнали из салона госпожи де Мариньон?

– Да.

– И для чего тебе это нужно?

– Для того, чтобы, прежде чем услышать ее собственный рассказ, узнать о ней сначала от тебя. Да и просто интересно, до какой дерзости может дойти женщина в своем стремлении обмануть мужчину...

– Что ж, ты прав; ты сейчас одной ногой в новом для тебя мире; будет весьма бесполезно узнать о нем побольше, чтобы не попадать то и дело впросак; но урок окажется неполным, если сначала я тебе не поведаю историю двух женщин, подстроивших изгнание госпожи де Фаркли.

– Ты, безусловно, наговоришь про них кучу пакостей?

– Я – Дьявол, заруби себе это на носу, и не мне судить, сколько чести или позора принесли им их же поступки; но ты никогда не узнаешь истинную цену госпожи де Фаркли – совершенно пропащей согласно молве, пока не поймешь, чего стоят госпожа де Фантан и баронесса дю Берг, весьма уважаемые в свете.

– Хорошо, уговорил, – согласился Луицци.

Они вошли в пустовавшую ложу; а в это время проходивший неподалеку Косм де Марей сказал своему приятелю:

– Ба! Да ведь это тот самый чудака, что пел на концерте у госпожи де Мариньон; а ведь она так хотела знать, кто же это такой! Вполне возможно, Луицци прекрасно знает его, раз сидит с ним в одной ложе...

– Получается, что барон его и привел?

– Во всяком случае, он вполне на это способен – Луицци ведь понятия не имеет о приличиях!

## IX

### Первое кресло

И Дьявол начал свой рассказ:

– Двадцать пять лет назад госпожу дю Берг величали девицей Натали Фирьон. Она родилась в семье состоятельного, как князь, поставщика, господина Фирьона, обладавшего не только изысканностью манер и утонченностью в речах, но и величайшим искусством всучивать взятки. Я знаю, как этот ловкач покупал все, что ему вздумается, и не только женщин, причем не давая им ни малейшего повода полагать, что они продались. Должностные лица, судьи, генералы, чиновники получили от него миллионы, нимало не сомневаясь, что они заработаны честным путем; ему же в ответ они оказали немало, как они говорили, совершенно бескорыстных услуг, ибо плату за них получали окольными путями.

Не воображайте, мой дорогой барон, что подкуп – дело элементарное. Можно без особых хлопот купить лакея, жандарма или уличную девку за сумму, оговоренную заранее и принимаемую запросто; но депутат, писатель или светская львица требуют деликатного обращения, бесконечного такта, ловкости и настойчивости. Если когда-нибудь вы войдете в общество имперских принцесс, я вам расскажу весьма занятную историю об одной коронованной особе, продавшейся с потрохами торговцу модными товарами. Это лучшая из всех известных мне историй!

– Как-нибудь потом, – прервал его Луици. – А сейчас я хотел бы наконец перейти к госпоже дю Берг.

– Понятно, лишь бы побыстрее добраться до госпожи Фаркли. Как я уже говорил, господин Фирьон был величайшим во Франции мастером по части проталкивания своих проектов; многие чванятся, что могут купить за деньги все, что только душа пожелает, но только он один мог утверждать это без малейшего преувеличения. А потому он с необычайной легкостью обещал, а затем давал то, что у него просили. Чего бы ни пожелала его единственная и ненаглядная дочурка – никогда и ни в чем она не знала отказа. На все ее просьбы господин Фирьон отвечал: «Сделаем!» – и покупал Натали новые наряды и платья, картины и дома, а то и вовсе какую-нибудь заморскую диковину.

Кое-кто порой пытался сопротивляться его способности добиваться всего что угодно, не понимая, что для него это – просто страсть. Стоило ему только ввязаться в борьбу, почувствовать трудности на пути к выполнению своих обещаний – он загорался еще больше. А потому этот человек, который удовлетворял собственные прихоти практически беспрепятственно, добровольно взвалил на свои плечи заботу по выполнению любого каприза Натали. Он любил рассказывать, какие преграды ему пришлось преодолеть, сколько понадобилось ловкости, сообразительности и хитрости для того, чтобы достать своей крошке то, что она требовала. Наивысшим своим достижением, просто шедевром, он называл приобретение мопса – единственной отрады старенькой немецкой баронессы. Некий сиятельный князь, узнав об этой сделке, предложил ему за собачку пост посла в Санкт-Петербурге, но господин Фирьон отказался. «Передайте Его Светлости, – сказал он, – что я не настолько высокороден, не настолько беден и не настолько глуп, чтобы стать хорошим послом». На этом политическая карьера господина Фирьона закончилась.

Меж тем, пока он грезил в сладостном тумане великих достижений, Натали день ото дня впадала в тоску и задумчивость. На место причудливых капризов, выражаемых по любому поводу, словно для того, чтобы испытать отцовское послушание, пришли продолжительные томные взгляды в заоблачные дали, грустные вздохи в лад с дуновением ветерка и беспричинные жалостные восклицания: Натали исполнилось шестнадцать.

Господин Фирьон встревожился и обрадовался одновременно. Встревожился потому, что его ненаглядное чадо сохло на глазах: на бледном личике явно просматривались несомненные круги от бессонницы и следы от слез. Впервые в этой душе, до того невинно-тиранической и своевольной, появилась печаль. Может быть, ею овладела мечта о замужестве? Господин Фирьон лелеял такую надежду: он ожидал, что из дочерней грусти родится весьма необычайное требование, которое он с великим праздником на сердце выполнит.

Вздумай она полюбить принца, то у него вполне, по его расчетам, хватит миллионов, чтобы купить ей коронованного отпрыска. Если же она будет вздыхать по человеку женатому, то у него достанет сил и возможностей, чтобы устроить развод и сделать свободным ее избранника. Я уже говорил, что господин Фирьон явно приболел на этой почве и стремился устроить дочке все желаемое скорее только ради собственного удовольствия, чем к радости Натали. Итак, Фирьон ждал и молча готовился. Достаточно хорошо зная свое чадо, он не сомневался, что ему придется преодолевать определенное сопротивление. Натали, не лишенная изящества рослая красавица, была создана для того, чтобы вызывать любовь и желания, но не для того, чтобы их испытывать. В младенческой голове на не в меру развитом теле не было места ни для всепоглощающих идей, сбивающих разум с правильного пути, ни для приступов нервической горячки, приводящих к тому же результату. Необъятный эгоизм надежно защищал ее от нежных сердечных привязанностей, которые топят холодность самых суровых натур и сгибают самые непокорные. Потому Фирьон был уверен, что ему не миновать амбициозных и тщеславных пожеланий.

Все благие предположения славного папаши были опрокинуты одним-единственным обстоятельством, о котором он и не подумал, – воздействием литературы современной эпохи.

– Неужели? – удивился Луици.

– А вот увидишь, дорогой, – ответил Дьявол, со счастливой ухмылочкой наблюдая за ловкими действиями карманника, который в мгновение ока изъясил золотые часы у щеголя, увлеченно изучавшего сквозь лорнет маску в ложе второго яруса. – Увидишь.

Прокашлявшись, он продолжил:

– Одна из самых изумительных глупостей, выдуманных людьми, звучит так: «Хотел бы я, чтобы меня любили таким, как я есть!» Спросите у тех, кто проникновенным тоном повторяет эту фразу, что они под этим понимают, и после не очень навязчивых настояний с вашей стороны они придут к неслыханно абсурдным выводам:

«Я не хотел бы, – скажут они, – быть любимым за то, что я богат, ибо такая любовь корыстна.

Я не хотел бы, чтобы меня любили за красоту – такая любовь глупа.

Я не хотел бы, чтобы меня любили за ум – такая любовь рассудочна.

О, – кричат они, загораясь энтузиазмом к чистой любви, – я хочу, чтобы любили меня! Да-да! Если бы я был беден, уродлив и глуп – вот тогда я желал бы любви; ибо настоящей любовью является та, что обращена не к деньгам, красоте и уму, но единственно к душе».

Мужчины той эпохи были особенно заражены этой манией, не мешавшей им, впрочем, испытывать глубочайшее презрение к женщине, которая воспыкала бы страстью к именно такому неотесанному пеньку, каким они хотели бы стать.

Начались тупоумные гостинные пересуды, в которых стремление быть любимым по настоящему почиталось за высший писк; я твердо уверен, что именно эта зараза породила на свет сонм романсов, сказок и комических опер, где в качестве главных героев выступали принцы и принцессы, переодетые в пастухов и пастушек. В результате взаимное воздействие общества на литературу и литературы на общество превратило простую манию в бред, психоз, сумасшествие.

Меж тем Натали день ото дня тосковала все больше; господин Фирьон встревожился не на шутку. Хотя малейшее слово Натали было для него непререкаемым законом, он никогда

не спешил предугадывать ее желания; на сей раз, однако, он изменил своему обычаю. Как-то вечером на пышном празднестве, где Натали блистала в окружении самых покорных и льстивых существ мужского пола, она вдруг, без видимой причины, разразилась жуткими рыданиями, а затем бросилась отцу на грудь, громко крича:

«Уведите меня отсюда! Не могу больше! Мне плохо, я умираю!»

Эта шумная истерика напугала Фирьона, он решил, что причиной всему страсть и ревность, и на руках унес в экипаж чуть ли не потерявшую сознание девочку. Но едва Натали осталась наедине с отцом, как, разойдясь пуще прежнего, она первым делом растоптала свой цветочный венок и девичьи украшения, а затем разорвала в клочья шикарное платье из индийского муслина – весьма экзотичного наряда в эпоху континентальной блокады; не переставая буянить, она повторяла:

«О! Как я несчастна!»

«Что с тобой? Чего тебе не хватает?» – спрашивал обеспокоенный папаша.

«Мне не хватает того, чего вы никак не можете дать».

«А именно?»

«Ах, папенька, я хочу истинной любви!» – воскликнула Натали с торжествующим видом.

Господин Фирьон опешил – ответ сводил на нет все его расчеты. Невозможно купить душу, любящую бескорыстно. Нельзя заплатить за вещь, которая просуществует не больше секунды после продажи. Все финансовое искусство господина Фирьона пропадало втуне при таких условиях, и, отлично это понимая, он опустил до самых тривиальных уговоров:

«С чего ты взяла, что по-настоящему тебя никто не любит? Тебя, такую юную и милую... умную и богатую!»

«Потому-то я так и мучаюсь, – вздохнула Натали. – Сын герцога де... надоед мне своими ухаживаниями; он всего-навсего рассчитывает на приданое, с помощью которого сможет вновь подзолотить свой заплесневевший герб. Полковник В... меня просто обожает. Пожалуй, он бескорыстен... Но он будет выгуливать будущую жену с тем же чувством гордости, с каким носит новенькую гусарскую форму – лишь бы его супруга была эффектнее жены презируемого им генерала Б..., – этого ему вполне достаточно. Еще куча поклонников усердно увивается за мной, отчего я краснею и за них, и за себя, ибо ни один не испытывает той истинной страсти, что идет от сердца к сердцу, у каждого есть та или иная причина, чтобы якобы любить меня, постыдная или просто легкомысленная. Вот если бы я родилась в нищете, вот тогда бы нашлась у меня родственная душа! О! Как счастливы неимущие! Вот кто по-настоящему уверен в чувстве, которое внушает любящему сердцу!»

Натали еще долго продолжала в том же духе, и впервые Фирьон, совершенно выбитый из колеи неожиданным капризом дочери, не мог ответить, что все пустяки и завтра же он достанет ей желанную штуковину.

И все-таки отец надеялся, что это всего-навсего очередной каприз, который пройдет так же, как и большинство ее мимолетных фантазий. Но, к удивлению господина Фирьона, Натали, которая раньше никогда долго не мечтала об одном и том же, вбила себе в голову эту дурацкую манию и вскоре уже ни с кем не могла общаться без отвращения. Здоровье девушки ухудшалось, вплоть до опасности для жизни. Господин Фирьон, вложивший в ненаглядную наследницу все свои чаяния и сладкие грезы о ее будущем знатной дамы, забыл обо всем ради спасения дочери и решил сыграть в поддавки с ее влечением к чистой и настоящей любви.

Он тайно вывез дочку на воды в Б..., где под именем Бернара поселился в более чем скромном домике. Здесь они не имели ни роскошного выезда, ни прислуги. Одна-единственная женщина обслуживала отца и дочь; одевшись попроще, они гуляли пешком, и если бы какой-нибудь парижский щеголь и обратил на них внимание, то наверняка сделал бы вид, что не узнал. Впрочем, никто и не думал их замечать, и то, что Фирьон считал подходящим лекарством для дочери, вызвало только резкое ухудшение.

– Вот видите, – твердила Натали отцу, – вот вам очевидное доказательство лживости всех этих прилипал! Я не стала ни дурнее, ни глупее, чем была в Париже, но никто и не думает за мной ухаживать, потому что теперь я с виду небогата. О! Какое же это страшное несчастье – с созданным для любви сердцем не найти никого, кто мог бы его понять!

Фирьон не знал, что и сказать, ибо на этот раз, как ни крути, дочка говорила истинную правду. Тем не менее он старался воспользоваться каждым удобным случаем, чтобы выставить ее в выгодном свете, и загорался неподдельной признательностью к любому мужчине, едва бросившему сколько-нибудь благосклонный взгляд на Натали, угодливо улыбался и надоедал бедняге на каждом шагу. Он так бездарно играл эту новую для себя роль, что вызвал только нелестные толки. Дошло даже до того, что окружающие стали избегать их общества, считая за низкопробных интриганов. Вскоре отец и дочь утратили уверенность в себе; Фирьон даже поглупел с виду, а Натали как-то подурнела и потеряла былую ловкость движений.

Знай же, мой дорогой барон, что успех окрыляет, подобно вину: благодаря успеху мужчины становятся умнее, а женщины – красивее. Некоторые же мужчины и женщины умеют жить, только если все хорошо: малейшая неудача отупляет первых и малейшее невнимание обезображивает вторых. Эти люди похожи на беговых лошадей: как только им не удастся пробежать за три минуты вокруг Марсова поля, они из классных скакунов превращаются в старых кляч.

Меж тем сезон подходил к концу, а ни один мужчина не перекинулся с Натали и словом; и тут в Б... появился некий дворянчик из Керси, барон дю Берг, решивший растратить на водах остатки немалого состояния и хилого здоровья.

Круглый сирота, барон посвятил свою хрупкую и нежную натуру разгулу и страстям за игорным столом. Еще совсем молодой – ему едва стукнуло двадцать пять, он плутовал в картах и завоевывал женщин без малейших признаков переживаний; сердцебиение его не учащалось ни от стыда, ни от любви – порочность его не знала предела. В то же время дю Берг являлся человеком достаточно незаурядным, ибо при первой же встрече проявил к Натали особое расположение. Завязать знакомство оказалось делом нетрудным: он представился и был принят.

Миловидная, небогатая и страдающая девица – вот единственно возможная победа, на которую дю Берг мог рассчитывать в качестве совершенно разоренного человека. Он принялся усердно ухаживать за Натали, окружив ее заботами и знаками внимания, и вскоре девушка решила, что она наконец нашла то, о чем так долго мечтала, – неподдельную любовь к ней самой. Она вновь расцвела, лучилась счастьем и резвилась вовсю; теперь отца страшила ее восторженность. Дю Берг сопровождал ее повсюду, она думала и говорила только о нем. Мысленно она уже вступила в брак с бароном, связывая только с ним все свое счастье, величие и торжество. Фирьон, ясно понимавший, чего стоил дю Берг в нравственном, физическом и денежном отношениях, делал вид, что ничего не видит и не слышит. Но поскольку он так и не постиг нравственную и физическую ограниченность собственного чада, то не знал, до какого градуса может дойти ее экзальтация. Бедный добрый папаша! Напрасно он беспокоился!

Обожать существо с таким характером, как у Натали, означало любить ни за что. Она требовала любви безоговорочной, совершенно бескорыстной, напрягаясь, даже когда дю Берг говорил обычные слова о ее красоте. А поскольку у нее не возникало ни малейшего желания уродовать свою внешность для того, чтобы испытать на прочность любовь дю Берга, она изо всех сил выказывала дурной характер, дабы установить всеобъемлющее господство над будущим мужем, что, впрочем, в той или иной степени делают все женщины. Само собой, дю Берг недолго терпел ее капризы, и вскоре его частые исчезновения ясно показали, что и он предпочитает любить женщин за что-то. Это невнимание вызвало у Натали повторный приступ недуга – ведь она любила дю Берга не столько из тщеславия, сколько от отчаяния.

– Да ну?! – удивился Луици. – Разве можно любить от отчаяния?



– Безусловно. Натали сбилась на ложную дорогу и с упрямством неразумного ребенка, свойственным недалеким умам, шла по ней напролом, несмотря на пыль и ухабы; тем не менее она была рада встретить человека, который помог ей свернуть с гибельного пути. Потому она так разъярилась, когда дю Берг посмел отвернуться от нее. Это был удар по самолюбию – нет ничего более страшного для женщины, и Натали заболела не на шутку. И тогда Фирьон отправился к врачу.

– Чтобы излечить Натали? – спросил Луицци, зевая.

– Да нет – дю Берга.

– Дю Берга?

– Да-да, он нанес визит к одному из тех эскулапов, что славятся умением помочь пациенту поскорее переправиться на тот свет.

Фирьон с наивным видом поведал доктору всю правду – и о собственных миллионах, и по какому капризу любимой дочки он их скрывал. В данном случае Фирьону понадобилась вся его находчивость, ведь обманывать с помощью истины – дело непростое. Затем, не давая времени собеседнику на то, чтобы прийти в себя, он рассказал ему, что дочка наконец встретила именно такого мужчину, о котором мечтала, и назвал его имя.

«Как? Дю Берг?!» – поперхнулся от изумления эскулап.

«Да-да, – не краснея, врал дальше Фирьон. – Он смертельно болен! И я дам сто тысяч франков тому, кто вылечит его!»

«Что-что? Смертельная болезнь? – сразу наострил уши доктор, услышав про сто тысяч. – Какая еще смертельная болезнь? Легкое воспаление в груди – не более того. И если он будет следовать моим предписаниям, то через пару месяцев будет как огурчик!»

«Что ж, – сказал Фирьон, – действуйте. Лечите его как хотите, но сохраните мой секрет. Я в вашей власти...»

«Доверьтесь мне. Тайна пациента – закон для истинного целителя!»

«Очень на вас надеюсь...»

Мудрый Фирьон был прав: его откровенность оправдала себя на все сто процентов. Едва он ушел, как врачеватель, свято хранящий тайны больных, рванул к дю Бергу и пересказал ему все, что узнал от мнимого господина Бернара.

В эту минуту Дьявол умолк, пристально взгляделся в Луицци и, казалось, совершенно отвлекся от собственного рассказа.

– Вы, дорогой мой Луицци, человек рассудительный и, как все разумные люди, согласитесь только с тем, что вполне объяснимо логически, – величайшая тайна интуитивных озарений вам неведома. Вы отнесете к фантастике чудесные открытия, совершенные с помощью незнакомого вам чувства, которое есть не что иное, как инстинкт. А потому вы вряд ли поймете, как дю Берг воспринял эти новости.

– Они должны были показаться ему по меньшей мере неправдоподобными, – решил Луицци. – Дю Берг конечно же отверг предположение, что существует мультимиллионер, который прячется из-за такой безделицы...

– Да ничего подобного! – с усмешкой прервал Луицци Дьявол.

– Однако он, несомненно, удивился, что столь влиятельный и богатый человек, как Фирьон, соглашается выдать за него свою дочь...

– Неплохо подмечено! Ну, а дальше?

– Дальше? Он подумал, видимо, что родительская любовь настолько ослепила доброго папашу, что он решил пойти дочурке навстречу и...

– Плохо! – оскалился Сатана. – Просто безобразно!

– В конце концов, – разозлился Луицци, – я тебя не затем сюда звал, чтобы ты загадывал мне ребусы! Ну-ка выкладывай, что было дальше!

– Дю Берг, не будучи таким обалдуем, как ты думаешь, – я ведь говорил тебе, что порочные инстинкты были у него на высоте, тут же, и абсолютно верно, предположил, что Фирьон обратился к сомнительному врачевателю только затем, чтобы наверняка избавиться от нежелательного женишка...

– Что?! – ужаснулся Луицци.

– Дю Берг нашел положение вещей весьма остроумным и привел в боевую готовность свою артиллерию. Предупрежденный о роли, которую должен был играть, он вновь приударил за Натали, убедив ее в конце концов, насколько это только возможно, что любит ее по-настоящему, то есть исключительно за ее драгоценную душу. Натали, совершенно осчастливленная этой победой, пришедшей, когда она уже забыла и думать об успехе, решила достойным образом вознаградить столь бескорыстную, истинную и сильную любовь и объявила отцу, что дю Берг – единственный мужчина, с которым она согласна связать свою судьбу.

Против всякого здравого смысла, Фирьон не сказал ни слова против, отложив только бракосочетание на два месяца – за это время, согласно его расчетам, стараниями подобранного им палача дю Берг должен был благополучно отойти в мир иной. И действительно, барон день ото дня бледнел, заметно слабел и, несмотря на все старания, никак не мог скрыть от Натали истинное состояние своего здоровья. Бедняжка отчаивалась от всего сердца, обвиняя злой рок; она весьма забавно и изобретательно, на мой взгляд, кляла судьбу, которая ополчилась на несчастную девушку, лишь бы отнять у нее единственную надежду на счастье в этом мире. Впрочем, – обронил Сатана, взяв щепотку табака, – вы, люди, очень часто прибегаете к словам абсолютно бессмысленным и употребляете их с восхитительной легкостью! Например, судьба. Так вот! Объявляю во всеуслышание, что если кто-нибудь объяснит мне, что именно род людской подразумевает под словом «судьба», то я буду ему верным слугой, даже если он никогда не имел прислуги или сам ходит в лакеях – два верных шанса, чтобы я почувствовал себя последним негром!

Дьявол напустил на себя задумчивый вид, а Луицци, до сих пор так и не проявивший интереса к его рассказу, с досадой проронил:

– Твое Сатанинское высочество сегодня явно не в ударе; никак не возьму в толк, какие выводы можно сделать из твоих дурацких рассказов.

Дьявол, жестко уставившись на Луицци, усмехнулся:

– Ты что, веришь в добродетель госпожи дю Берг?

– По меньшей мере до сих пор ты не сказал ничего, что могло бы заставить в ней сомневаться.

– А ты поверишь, если я скажу, что женщина, так бесцеремонно обидевшая сегодня вечером другую женщину, повинна в отравлении и прелюбодеянии?

– Кто? Госпожа дю Берг? Быть такого не может!

– Ха! Все происходило не совсем обычным образом... и осталось в тайне между ней и мной. Потому-то я и хочу, чтобы ты все узнал.

– Что же получается – нет правды в этом мире?

– Нет правды, кроме истины.

– Но кто знает ее, Господи?

– Я! – вскричал Дьявол. – Я знаю истину, и я открою ее тебе. Слушай же меня внимательно, постарайся не упустить ни слова.

Так вот, дю Берг собирался вот-вот отдать концы, Натали горевала, а Фирьон поздравлял себя с успехом; но новый каприз Натали приставил нож к горлу отца. К несчастью, Натали вычитала в романе еще одну готовую формулировку для выражения своих чувств. Вот она: «О! Если уж мне не суждено принадлежать ему, то я хочу носить его имя! Оно будет вечно ублажать священными звуками мой слух! Каждый раз, когда ко мне будут обращаться, я буду вспоминать о потерянном сердце и о счастье, на которое могла рассчитывать».

Большого Натали и не требовалось; она мигом испекла новую прихоть, с которой не могли справиться никакие укоризненные увещевания батюшки:

«Если он умрет, не обвенчавшись со мной, то я покончу с собой на его могиле... Я хочу носить его имя... Я хочу его имя! Пусть оно останется как залог истинной любви!»

Натали настолько воспламенилась этой идеей, что поспешила запастись ядом, дабы быть во всеоружии для ее осуществления. Фирьон, после некоторых консультаций с самим собой, обратился, в обход шарлатана, которому доверил заботы о здоровье дю Берга, к известному и умелому врачу. Знаменитый доктор, разузнав через местного аптекаря о предписаниях и рецептах коллеги несчастному барону, без малейших колебаний заявил, что дю Берг – труп.

С радостью на сердце и вероломными слезами на глазах Фирьон поспешил объявить Натали, что согласен на все.

«Черт возьми! – рассуждал Фирьон. – Женщина, ставшая вдовой через два дня после венчания, вдовой-девственницей, – это как раз то, что нужно Натали!»

Короче говоря, в назначенный для бракосочетания день дю Берг, которому открыли настоящее имя невесты, но который якобы не подозревал о размерах ее приданого, прибыл в церковь на носилках. Умиравшего поместили в свадебное кресло, где он и получил благословение кюре в тот момент, когда всем казалось, что он вот-вот испустит дух. Однако у него вполне еще хватило сил на дорогу в жилище Фирьона, где его брненное тело возложили на ложе Гименея (в стиле той эпохи), которое должно было стать его смертным одром.

В глазах Натали все происходившее казалось не лишено определенной поэзии, которой она отдалась всем сердцем, а потому батюшка счел нужным удалить ее из комнаты умирающего, опасаясь вредного воздействия на рассудок дочери агонии новоиспеченного муженька, хотя кончина одного и была заранее предопределена. Но как только Натали почуяла его намерение запретить ей вернуться в комнату больного, она заверещала столь жутко, что Фирьон счел за лучшее оставить ее в покое.

Освободившись от родительских пут, Натали сразу же направилась к роковой комнате, объявив, что останется там наедине с мужем. Наступил вечер. Какая прелестная ночь предстояла молодоженам! Поймешь ли ты чувства юной и прекрасной девушки перед лицом первой и святой любви, готовой вот-вот упорхнуть на небеса? Ты только представь себе такую сцену: она стоит на коленях у постели обожаемого существа, последним усилием выдыхающего: «О, Натали, как я люблю тебя!» Какой душещипательный спектакль! Ты видишь, как счастлив этот человек подле милой женушки? Она скрашивает последние мгновения его жизни, рассказывая, как богата на самом деле и как он мог бы жить, купаясь в роскоши и уладах? Что может сравниться с таким драматическим наслаждением – развивать тему прекрасных чаяний у ложа полутрупа по мере того, как он с каждым мгновением теряет надежду на их осуществление? Клянусь преисподней, которой я правлю, то была бы самая прекрасная и желанная для Натали развязка! Какой эффект рассказ об этом спектакле произвел бы по ее возвращении в Париж! И этот спектакль был рядом, за дверью спальни дю Берга...

Ох уж эта женская ненасытность! Неутолимая жажда женской природы – вытряхнуть из любой ситуации все ужасающее и злое, что только можно, подталкивала Натали; она открыла дверь и захлопнула ее за собой. Дю Берг...

– Отдал душу? – с проницательным видом спросил Луицци.

Дьявол посмотрел на него жалеючи.

– Дю Берг, – проронил он с расстановкой, – развалившись в глубоком кресле, потягивал из бутылочки бордо, дымя толстенной сигарой и одновременно насвистывая арию «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный...».

«Какая неосторожность!» – воскликнула Натали, увидев вино...

«Превосходное вино! – Дю Берг встал и выбросил окуроч в окно. – Это лучшее, что есть у моего дорогого тестя, если, конечно, не считать вас и его миллионов...»

Развязность и жизнерадостность дю Берга ошеломили Натали; пока она недоумевала, барон решительно обнял ее за талию:

«Неплохой сюрприз я тебе приготовил, ангелочек ты мой! Ну-ну, не надо строить из себя недотрогу, крошка! Я женился не для того, чтобы со мной обращались хуже чем с любовником. Будь умницей!»

«Ах! – прорезался наконец голос у Натали. – Вы предали моего отца!»

«Я предал вашего отца? Что вы хотите этим сказать, малышка? Разве не вы категорически требовали от него дохлятину вместо мужа? Или вы с ним в сговоре?»

«Каким еще сговоре?»

«А, черт! Так вот... – Дю Берг умолк на мгновение и сделал еще один глоток. – Так вот, буду говорить начистоту, дабы не омрачать в дальнейшем жизнь нашего семейства. Во-первых, ваш батюшка, будучи весьма неглупым и благоразумным человеком, не стал бы отдавать единственное чадо за такого проходимца, как я, без яростного противодействия. Да кто я такой, чтобы жениться на его дочери? Игрок, развратник, мошенник!»

«Мошенник?» – вскричала Натали.

«Да, вот совсем недавно я провернул небольшую аферу на пару тысконок гиней, и ваш отец слишком дрожит за честь своего имени, чтобы не замять это дело. У нас есть еще время – переводной вексель попадет на глаза господину Э... не раньше чем через месяц, и наш общий теперь уже папенька погасит все протесты, оплатив эту несчастную бумажку».

«Жулик!» – прошептала Натали; все услышанное настолько шокировало ее, что она с трудом воспринимала происходящее.

«Не думаю, что ваш отец в курсе этого последнего обстоятельства; но, как бы то ни было, он знает обо мне достаточно и ни за что не выдал бы вас за меня, если бы не надеялся, что смерть избавит его от такого зятя вскоре после свадьбы».

«Батюшка предвидел вашу смерть?» – спросила Натали, по-прежнему не в силах двинуться с места.

«Он не только предвидел, старый лис! Он весьма ей способствовал».

«Что, он хотел вас убить?»

«Нет, нет, я этого не говорил. Он слишком хорош, чтобы влипнуть в такую гадость; но он нанял лекаря, который все взял на себя. Весь ассортимент лекарств, прописанных этим недочкой, хранится у меня. А если я что позабыл, то мне поможет аптекарь... Так что, полагаю, господин Фирьон не откажется оплатить небольшой счет, если только он дорожит честью...»

«Получается, – пробормотала Натали, – что ваша болезнь, слабость и упадок сил...»

«Неплохо ведь было сыграно, а, малышка?»

«И вы знали, кто я?»

«Почти что, мой ангелочек».

«И что я богата?»

«Еще как богата, куколка ты моя!»

«И вы посмели!»

«Ха! – фыркнул дю Берг. – Еще как посмел, женушка ты моя...»

Натали отвернулась и закрыла лицо руками. Дю Берг с силой раздвинул их и внимательно посмотрел на нее. Она плакала.

«Вы плачете, потому что я воскрес из небытия? О! А если бы я сдох, вы бы смеялись?»

Натали содрогнулась от сдвоенных рыданий.

«Так вот, – уже грубым тоном продолжал дю Берг, – давайте же объяснимся. Это так вы понимаете настоящую любовь? Вы, с дикими воплями требуя истинной любви во что бы то ни стало, хотели обожать только труп? Слава Всевышнему, госпожа баронесса дю Берг, я еще немножко жив. Так радуйтесь! У меня еще хватит сил, чтобы растратить состояние вашего папаши, если только удастся его раскрутить. Мерзкий злодей! Ну и рожу он состроит завтра

поутру, когда, вместо того чтобы найти зятя при последнем издыхании, он увидит его в жарких объятиях ненаглядной дочурки! Уж я ему нарисую эту картинку!»

Захмелевший дю Берг обнял Натали. От него разило вином, и она отстранилась, объятая ужасом и отвращением.

Дю Берг бросился закрывать ставни и шторы, не прекращая бормотать:

«Ах, старикашка Фирьон, ты хотел уморить меня по-научному законно и безнаказанно...

Милый тесть! Что ж, посмотрим, кто кого переживет...»

Натали устремилась к выходу.

«Ну уж дудки, голубка ты моя», – рассмеялся дю Берг, вставая у нее на пути.

«Сударь, я сейчас закричу!»

«И что? Признаетесь во всеуслышанье, что не рады чудесному выздоровлению обожаемого супруга? Эх, папаша! Дочурка вполне достойна отца!»

Словно луч адского огня промелькнул перед Натали при этих словах; содрогнувшись, она отвернулась, как бы прячась от его света.

«Сударь, – прошептала она, – нам нужно расстаться».

«Что вы сказали? Это еще почему?»

«Мы не можем жить вместе».

«Это как раз обратное тому, на что я рассчитывал».

«Никогда...»

«Есть законы, по которым жены принадлежат своим мужьям».

«Что ж! Тогда, сударь, давайте уедем, покинем Францию...»

«Дитя мое, – оскорбительно-покровительственным тоном произнес дю Берг, – все случившееся несколько замутило ваше сознание, право. Так вот, завтра мы уедем... в Париж. В глубине души я человек не злой; и если только папенька обеспечит нам с вами две-три сотни тысяч ренты, дом, загородную виллу и т. д., то я отнесусь к нему с должным уважением и даже не заговорю с ним о его недавних прожектах на мой счет».

«Вы твердо решили?»

«Совершенно. Подумайте, Натали, ведь добрых два месяца я спал и видел только это. Ну-с, дитя мое, уже ночь на дворе... Ты же любишь меня, крошка? Иди ко мне...»

«Сейчас», – почти нежно ответила Натали.

«Что ты там делаешь?»

«Ничего... Это у меня такая привычка... Я обычно прячу на ночь серьги в этот секретер...»

«Рядом с мужем можно не бояться воришек...»

«Да, конечно». – Натали улыбнулась и позволила поцеловать себя в лоб. Ее рука уже сжимала маленький флакон.

«В добрый час, сердце мое, – сказал дю Берг, – ты увидишь сейчас, как я тебя люблю...» – И он дотронулся до белоснежной шейки Натали.

«Ой! – вскрикнула она. – Посмотрите, нет ли кого за дверью...»

«Ну-ну, малышка...»

«Прошу вас».

Он отошел к двери, приоткрыл ее и вернулся к Натали; она так и стояла у секретера, бледная и дрожащая...

«Что с тобой?»

«Что-то мне дурно; подайте воды, умоляю».

«Вот же прекрасное бордо вашего папеньки; выпейте, это придаст вам сил».

«От вина мне будет еще хуже, – возразила Натали. – Но раз здесь нет другого бокала, я его вылью, а потом...»

«Ну вот еще! Переводить такое добро! Я не столь расточителен, когда хочу!»

И, схватив бокал, он осушил его одним махом.

«Ну, а теперь?»

«Теперь я твоя...»

– Как! – прервал Дьявола Луици. – Так она отдалась этому прохвосту, и юный дю Берг, ее отпрыск, не кто иной, как сын...

– Ее отпрыск, – ухмыльнулся Дьявол, – это совсем другая история; ибо трех капель синильной кислоты из флакончика Натали вполне хватило для того, чтобы барон дю Берг отбросил копыта, не сделав и шагу.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.